

М.А.АЛДАНОВ

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

ТОМ II



ТОМ ВТОРОЙ

М. А. АЛДАНОВ

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Р о м а н

ТОМ II.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1952

Copyright, 1952, by
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Printed in the United States of America

ЧАСТЬ ТРЕТья

I

Альфред Исаевич подписал договор с Делаваром и из корректности больше не ругал его, хотя попрежнему недолюбливал. Под Парижем была снята мастерская для постановки нескольких фильмов. В этой студии небольшой кабинет был отведен Яценко, с которым также был подписан договор. Виктор Николаевич теперь ездил туда каждый день и там работал над пьесой. Альфред Исаевич просил его возможно скорее сдать то, что в кинематографическом мире называлось экспозе.

— Но только не длинное, дорогой мой, — сказал Пемброк. — Не более двадцати страниц. Если вы напишете длинно, то боюсь, что Делавар и его группа и читать не станут: там ведь сидят не интеллигенты, как мы с вами, а дельцы. Может быть, мы устроим общее чтение, с режиссером, а может быть, каждый из нас будет читать отдельно, это вам ведь все равно.

Яценко попробовал еще раз высказать свои мысли: в фильме часть действия должна быть заменена рассказом. Пемброк слушал его рассеянno и уныло.

— Да, да, это довольно интересная мысль. В сущности это сводится к тому, чтобы спикеру было отведено больше места, чем обычно делают... *That's right*, не объясняйте, я вполне понял ваш замысел. Но пока дело до этого еще не дошло и говорить об этом преждевременно. Я уже веду для вас переговоры с Луи, это самый передовой и культурный меттер-

ан-сцен во Франции. Он в принципе уже согласился. Автор сдает экспозе, меттер-ан-сцен делает декупаж. Разумеется, в тесном сотрудничестве с автором, не спешите волноваться... Ох, трудный вы народ, господа писатели, — сказал Альфред Исаевич и простился: «Надо еще заехать в министерство». Он всегда ссылался на то, что ему надо заехать в министерство. В отличие от Ниццы, в Париже Пемброк действительно не имел ни одной свободной минуты: «Просто рвут на части!» — говорил он. Но Альфред Исаевич к этому привык и любил это. Может быть, больше всего любил в жизни ложную занятость своего дела. Каждый день он встречал множество людей, при чем с маленькими бывал почти так же ласков и любезен, как с известными. Он по природе был устроен так, что при встрече даже с малознакомым человеком не мог не спросить его о здоровье жены. Часто рассказывал, что сам в юности зарабатывал гроши. В отличие от Делаваара, Альфред Исаевич ничего актерского в характере не имел и рассказывал он о своем прошлом с искренним стариковским умилением; слушали же его и восторженно, как, например, могли бы слушать рассказ престарелого Эдисона о том, что он мальчишкой продавал на железнодорожной станции газеты. В студии и у себя в гостинице Пемброк ласково принимал всех, говорил костюмерам или гримировщикам, что слышал много хорошего об их работе, и даже статистам объяснял, что, хотя их прием на работу зависит исключительно от режиссера, он о них «замолвит словечко». Люди это ценили.

Яценко с волнением послал Пемброку черновую рукопись в новой, третьей по счету, редакции, которая довольно сильно отличалась от второй. Два дня о ней ничего не было слышно, а на третий Альфред Исаевич позвонил Яценко по телефону и осыпал его похвалами (договор уже был подписан):

— Я в восхищении, просто в восхищении! —

говорил он. — Так у вас все культурно и оригинально! Эти две легенды: ожидание трагедии! Прелесть. Все это это новая, свежая струя. Разумеется, нужны будут и переделки.

— Какие переделки? — спросил Яценко. Он был очень доволен, но понимал, что этого показывать не надо.

— По-моему, барон должен ее отравить. Поговорим обо всем в самое ближайшее время. Сейчас у меня нет буквально ни одной свободной минуты. Сердечно вас поздравляю, Виктор Николаевич, а главное поздравляю самого себя, что нашел такого золотого сценариста!.. Не гневайтесь, я знаю, вы не любите, чтобы вас называли сценаристом, для вас это, кажется, что-то вроде вора или убийцы. Но поверьте, ваша новая пьеса много лучше «Рыцарей Свободы». «Рыцари» тоже очень хорошая вещь, однако эта еще лучше, вы сделали огромные успехи, не смею приписывать это своим советам... Кстати, поздравляю вас, контракт с Луи подписан! Луи самый культурный меттер-ан-сцен во Франции. Я просил его набросать начало декупажа... Что?.. Не ругайтесь, он сделает только первый набросок, мне надо кое-кому показать в той финансовой группе... Ничего окончательного Луи, конечно, и не мог бы сделать, ведь он сам не знает, что будет дальше. Будьте совершенно спокойны, без вас ничего делаться не будет, даю вам слово Пемброка... Что?.. Не волнуйтесь, умоляю вас!.. Но мы должны торопиться, вы понимаете, что такое в нашем деле хотя бы один потерянный день!

И действительно случилось то, что часто бывает в кинематографическом деле: вдруг началась необыкновенная спешка. Рукопись была немедленно размножена. Вместо своих листов, дурно переписанных, с многочисленными поправками на полях, Виктор Николаевич получил прекрасно, без единой ошибки, отбитую на машине тетрадку. Одновременно было достав-

лено страниц двадцать пробного декупажа. Читая его, Яценко морщился и вскрикивал, хоть ему говорили, что введены только технические приемы, нужные актерам для усвоения его идей. Все было с необычайной быстротой переведено на три языка для рассылки разным агентам. А еще дня через два Яценко, приехав в студию, застал на столе в своем кабинете присланное с рассыльным письмо. «Дорогой друг и шэр мэтр (потому, что вы уже мэтр), — писал Альфред Исаевич, — Луи почти в таком же восторге от вашей пьесы, как и я. Я надеюсь, что через несколько дней будут законтрактованы самые лучшие ведетты Франции и весь персонал. Мы из этого фильма сделаем hit! Но, ради Бога, введите в экспозе Объединенные Нации (сначала было написано «Разъединенные»). У вас этот Макс говорит, что пробовал там свой Lie Detector. Помилуйте, это надо не сказать, а показать! Что может быть благодарнее такой сцены! Ручаюсь вам, что весь зал будет хохотать до упада! И на фоне этого здорового смеха будет показана мировая трагедия! Браво, дорогой мой, поздравляю вас и благодарю за этот gag!».

За английской подписью «Альфред Пемброк» с таким замысловатым росчерком, который подделать на чеке было бы чрезвычайно трудно, был еще постскрипtum. Альфред Исаевич обычно писал с постскриптумами и с пост-постскриптумами, всегда обозначая их: “P. S.” и “P. P. S.”. В первом постскриптуме было сказано, что начало декупажа уже отослано по воздушной почте нью-йоркской экипе. Во втором Пемброк сообщал: «К вам на днях зайдет некий Макс Норфольк, очень способный и интересный человек. Та финансовая группа назначила его своим представителем в студию, он будет, так сказать, «око Москвы».

Почти всё в этом письме было неприятно Виктору Николаевичу. Он не ожидал такой спешки: хотел

отделывать пьесу. Еще неприятнее было что, несмотря на его решительный отказ писать об Объединенных Нациях, Пемброк продолжал на этом настаивать, точно и никакого разговора у них об этом не было. Особенно же его огорчило то, что, без его участия, намечались и приглашались артисты. «Что же я скажу Наде? И как мне быть со Стариком?»

В пьесе главное мужское действующее лицо, то самое, которое выражало идею снисходительности к людям, еще не было названо (говорилось просто: «Старик»), да и его характер пока не вполне определился. Женских ролей было, как он говорил Яценко, две с хвостиком: роль французской горничной в счет не шла. Между тем он понимал, что Альфред Исаевич не предложит Наде ни роли Марты, ни роли Баронессы. «Это будет горе, обида, трагедия», — уже наперед со скукой думал Виктор Николаевич.

С Надей в Ницце дело шло не очень хорошо. Несмотря на любовь, несмотря на то, что Наде была дана роль Лины, несмотря на то, что она была в восторге и от этой роли, и от драмы, они от безделья немного скучали. По ее просьбе, он остался лишний день: сослуживец, с которым он снесся по телефону, согласился его заменить в понедельник. Надя о ч е н ь просила его остаться еще хоть на день, — но было совершенно ясно, что она и не могла не просить его остаться, как не могла не поцеловать его в восторге после его согласия. Она и в самом деле была рада, и он был рад, — однако к вечеру они уже не знали, что с собой делать. Решили на следующий день съездить в Канн; там завтракали, вместе гуляли по Croisette, вместе смотрели на витрины известных всему миру магазинов, — он с сочувственным интересом, Надя с грустным восхищением. Иногда они встречали людей, которых она знала. «У нее совсем нет бриллиантов!..» «У него совсем нет денег!», — говори-

ла она, и это означало, что у встреченной дамы есть необыкновенные драгоценности и что встреченный господин чрезвычайно богат. «Да, в ней, к сожалению, все усиливается элемент *terre-à-terre*. Она Лина, Лина без заговора, без шифрованных писем, правда и без Лиддеваля», — думал он, поглядывая на часы. Простились они на ниццком вокзале трогательно, Надя прослезилась, да и ему было очень жаль уезжать от нее. Но в поезде он все время себя спрашивал: «Что же будет, когда мы женимся?..» От адвоката все не было известий о разводе.

В письмах он о «Рыцарях Свободы» писал уклончиво, так что ему самому было совестно: не любил и не умел лгать, даже лгать посредством умолчания. «К тому же, она умна, и сразу догадается, да и не так трудно догадаться». От Нади в самом деле скоро пришло печальное письмо:

«Я вижу, что дело с «Рыцарями» отложено *ad calendas graecas*, — писала она. — Что же делать? Я не хочу тебе мешать. Это твое дело. Ты меня зовешь переехать в Париж. Но это так говорится, будто мы в Париже вдвоем будем проживать меньше, чем живя в разных городах. Одна моя поездка обойдется тысяч в десять, и я знаю, что такое парижская жизнь. Ты мне сто раз предлагал деньги, но мне так, так не хочется их брать у тебя. Правда, у тебя их теперь гораздо больше, чем было. Кстати будь сказано, я догадываюсь, что ты бросил ОН ради меня, и ты понимаешь, как я это ценю. Но мне попрежнему хочется жить на свои средства. Даже в том случае, если мы и в самом деле поженимся, я хочу иметь свой заработок и не быть тебе в тягость. «Приданого» же у меня, сам знаешь, только зеркальце, как у царевны в пушкинской сказке. Теперь не те времена, когда работал один муж, а жена занималась хозяйством и детьми, которых у нас и не будет... Не скрываю, что я возлагала много надежд на «Рыцарей Свободы».

Я так люблю эту пьесу, люблю тебя в ней, люблю свою роль, т. е. ту, что мне обещана. Теперь все надолго отложено. Разумеется, ты нисколько не виноват. Не виноват даже и милейший Альфред Исаевич: до своего возвращения в Нью-Йорк он естественно не может заниматься делами театра. А теперь, оказывается, он ставит во Франции фильмы. Своей второй пьесы ты мне не прислал, но я понимаю, что я не могу играть главную роль (кстати, кто же именно будет играть ее?). Если есть вторая хорошая роль и если ты можешь добиться того, чтобы она была мне предоставлена, то надо ли говорить, что я приеду тотчас! Ехать же на авось, с риском нарваться на отказ, было бы и мне, и даже тебе слишком тяжело».

Он ответил длинным, очень горячо написанным письмом. Говорил, что пока в студии хаос, что Пемброк ставит одновременно два фильма. «Так или иначе, роль для тебя должна найтись и найдется, но для этого необходимо, совершенно необходимо, чтобы ты была здесь. Умоляю тебя приехать возможно скорее. Ты не можешь себе представить, как я по тебе соскучился, как мне тяжело без тебя! Не скрою, я был изумлен и чрезвычайно задет словами «е с л и (!!!) мы поженимся», как и словами о детях. Все это так странно. Теперь ты д о л ж н а приехать. Говорить же о деньгах просто стыдно».

Это было почти правдой. Легкая натяжка (несмотря на три восклицательных знака) была только в словах о женитьбе: они его действительно задели, но не изумили. Верно было, что ему без нее тяжело, но он знал, что будет нелегко и с ней. «Пишет почти с колкостями: «Было бы и мне, и даже тебе слишком тяжело... Уже ревнует к еще не выбранной артистке! Если она окажется в Париже без роли и без дела, а я буду проводить с артистками целые дни в студии, ей «и д а ж е мне» будет мучительно. Но я люблю ее как прежде. Что ж делать, если ее развод

еще не оформлен? Нет, нужна совершенная определенность, необходимо жить вместе, уж это совсем вздор, будто она не может жить на мои деньги! Зачем она пишет «ad calendas graecas»? ... Приятны в ее письме были только слова о том, что он бросил ОН ради нее.

Через два дня от Нади пришло нежное письмо. Она сообщала, что приедет, как только получит платье от портнихи и закончит другие дела в Ницце. Не спрашивая ее о согласии, он тотчас перевел ей по телеграфу пятьдесят тысяч франков. В первый раз давал ей деньги; это именно закрепляло отношения. Надя кратко и смущенно написала, что он угадал: денег у нее почти не оставалось.

В ожидании ее приезда он работал еще больше прежнего. Ложился спать поздно и спал плохо. Иногда ему снились какие-то связанные с пьесой происшествия. Во сне казалось, будто явилась превосходная мысль; потом она оказывалась вздором. Порою он уже мысленно почти соглашался на то, что предлагал Пемброк: «Сдам им проклятое идиотское экспозе. Пусть они, руководясь стилем первого действия, пишут сценарий сами. Этот Луи в самом деле талантливый человек. Конечно, тут «линия наименьшего сопротивления», но, по крайней мере, так моя ответственность меньше».

Ему казалось, что против него, как писателя, кем-то составлен заговор. В той спешке, в которой вначале приходилось работать, он дурел к вечеру не меньше, чем прежде после нескольких часов перевода. Яценко больше не ездил на понедельник Дюммлера и смутно чувствовал, что дело не только в усталости: ему было бы совестно рассказывать старику о своей нынешней работе.

«Быть может, есть и некоторое преимущество в том, что я начал писать поздно, — думал Виктор Ни-

колаевич. — Мы в России были положены в холодильник: кто не сгнил, тот законсервировался. Другие, как я, не писали, а думали, думали о том, что можно было бы писать и как можно было бы писать, если б вообще там можно было писать. Это не значит, что из России посыпятся шедевры, как только она станет свободной. Огромное понижение умственного и морального уровня скажется на всех, даже на самых лучших. Но все-таки я лет пятнадцать ничего не писал и напряженно думал об искусстве, это случай довольно редкий в истории литературы. Дюммлер прав: вечно только д о б р о е искусство, вернее то, которое прошло через анализ зла и достигло мудрости в добре. Мне казалось даже, что в этом одна из особенностей русской литературы, точнее ее вершин, так как ни в одной другой литературе нет такой разницы между верхами и средним уровнем. Толстой недосыгаем: кроме, быть может, Пруста, да и то нет, нет равного ему романиста в мире. Средний же наш уровень гораздо ниже европейского и особенно американского. Западная литература за последние полвека, скажем от Зола до нынешних Сартров, шла по пути анализа зла, и тут уже больше почти нечего делать. Наши великие писатели сознательно или бессознательно шли от зла к добру. Главное заключается в том, чтобы, видя зло, изображая зло с полной ясностью, преодолеть в себе злобу против зла. И зло ведь покроеся смертью, которая все «облагораживает», делая все одинаково безобразным и бессмысленным... Да, я знал, Лина поэтичнее Нади и большего хочет в жизни. Надю я и не мог бы себе представить в ордене «Рыцарей Свободы». В Лафайетта и Бернара я вложил лучшее, что мог сыскать в себе, но здесь сублимирование было всего труднее, так как человек себя слишком хорошо знает, и уважать себя ему трудно. Громадное большинство людей выходит из этого положения тем, что

об этом думают мало и меньше всего занимаются самоанализом. И хуже всего то, что они меня хвалят!»

Пемброк теперь при каждой встрече осыпал его комплиментами.

— Вы внесли новую, свежую струю, — неизменно говорил он.

«Главное в том, чтобы художественное творчество было адекватно жизни, — думал Виктор Николаевич. — Но, разумеется, пьеса не может быть вполне адекватна, хотя бы уже потому, что приходится думать о всяких постыдных мелочах, надо чтобы публике ни на минуту не было скучно, надо, чтобы каждая картина могла быть разыграна в такое-то число минут. Правда, эти постыдные ограничения относятся и к самому высокому искусству: если бы Бетховен хотел выразить свои чувства в симфонии, которая продолжалась бы семь или восемь часов, то он не мог бы это сделать. Пьеса же условна по самой своей природе. Роман другое дело, особенно если объединить его с драмой. Полной адекватности с жизнью не может быть и в нем, но в нем по крайней мере можно не считаться с предписаниями теории словесности. В нем может быть и триста страниц, и три тысячи. Роман, самый свободный из всех видов искусства, должен был бы включать в себя все: политические, философские, метафизические рассуждения, мог бы менять форму, мог бы переходить из одного периода времени в другой. Французская идея романа, построенного по всем правилам композиции, так же устарела, как три единства классической трагедии. На беду ею дорожат именно издатели и, быть может, они одни. Еще не устарели, но очень скоро устареют все новые выверты. Романист, потрясенный творчеством Кафка, скоро станет забавной фигурой прошлого. Быть может, и театр вернется к старой

вечной формуле Стендаля: действие, характеры, стиль. К ним надо прибавить главное, то, что Стендаль, вероятно, подразумевал: идеи»...

Но в худшие свои часы, в опровержение своих же мыслей, Яценко думал, что все-таки пятнадцать лет в советском холодильнике погубили и его жизнь, и его талант. «Какое критику или читателю дело до того, что в России я не мог писать, не мог просто по чувству собственного достоинства, которое там так старались из нас всех вытравить. Я там переводил, и для этого также приходилось лгать, скрывать, гнуть спину, подличать. Мы все там были связаны круговой порукой низостей, мы д о л ж н ы были их совершать, чтобы жить. Они отчасти в нас собственное достоинство и вытравили, как гитлеровцы у людей в концентрационных лагерях. Я делал меньше низостей, чем многие другие, но и мне иногда было стыдно смотреть людям в глаза. И так было со всеми, с самыми лучшими из нас, особенно с людьми старшего поколения. Мы даже и не посмеивались как авгуры, глядя друг на друга, — настолько все это было привычно. Да и посмеиваться было бы опасно. Я нашел выход в том, что ни в чем не участвовал, ни к чему не пристаивал, все надеялся на будущее и утешался горделивыми афоризмами, вроде “Der Starke steht am mächtigsten allein”^{*)}). Если б все можно было забыть, вычеркнуть из памяти! И вот почему мне были неприятны эмигранты, покинувшие Россию в начале революции. Они через все это не прошли и верят или делают вид, будто верят, в чувство своего достоинства».

Он действительно со старыми эмигрантами сходился плохо; говорил, что они ничего не знают и потому ничего не понимают. Однако при редких

^{*)} Сильный человек сильнее всего в одиночестве.

встречах оказывалось, что ничёго особенно новёго он им сообщить не может. «Дело не в том, чтобы з н а т ь, дело в том, что мы п р о ш л и через эту грязевую ванну: она оставляет не и з г л а д и м ы й след на душе, как на руке клеймо гитлеровского концентрационного лагеря.» Не любил он и эмигрантских публицистов. Ему казалось, что число доступных им понятий невелико, что весь их кругозор очень ограничен. «В сущности, большевики оказали им большую услугу: если бы большевиков не было, им было бы решительно нечего сказать». Но Яценко с неудовольствием замечал, что такое же чувство холодной враждебности испытывали по отношению к нему самому эмигранты, бежавшие из России во время второй войны. «У них тоже какая-то привилегия по знанию чего-то. Верно, от их дополнительной н е м е ц к о й линии. И, быть может, это одна из причин, по каким нам трудно писать о с е б е, как всю жизнь о себе писал Толстой в своей почти наивной уверенности гениального человека, что все в его жизни интересно другим людям, даже его успехи или неудачи по сельскому хозяйству в «Анне Карениной». Грешил же он против с е б я тем, что, будучи пожилым, даже просто старым человеком, избирал всегда главными героями молодых людей... Ужасное это слово «герой»! Всякий раз, как я встречаю в романе слова «наш герой», мне хочется бросить роман в печку... У меня «герой» будет пожилой человек, я сам, и писать о себе я буду, если не всю правду, — это почти невозможно, — то во всяком случае только правду. Теперь иные писатели, называющие себя реалистами, лгут о себе как в некрологах... И надо следовать правилу доктора Джонсона: выбрасывать каждую фразу, которая покажется автору красивой.»

Раза три или четыре он обедал с Пемброком в дорогих ресторанах. Эти обеды считались деловыми.

Однако, к некоторому удивлению Виктора Николаевича, о делах на них почти не говорилось: он еще не знал, что они нужны больше для подготовки дела, для создания нужного настроения. На одном из этих обедов Пемброк неожиданно сообщил ему, что теперь можно и не так торопиться: главная из приглашенных артисток, от участия которой больше всего зависел успех и которая тоже была в восторге от его пьесы, была занята еще на два месяца. «Так что крутить мы раньше января не начнем, работайте не волнуясь, — сказал Альфред Исаевич и тотчас пожалел о своих словах: так неприлично обрадовался Яценко. — Хотя нет, он не лентяй, он будет работать и дальше», — подумал Пемброк.

После этого жизнь стала легче. Денег у Виктора Николаевича теперь было много. Не было обязательных часов работы, какие тяготили его в Организации Объединенных Наций. Он приезжал в студию и уезжал из нее, когда хотел, пользуясь автомобилями общества. Все были с ним чрезвычайно предупредительны и любезны: Пемброк при первом своем приезде в студию отрекомендовал его: «Уолтер Джексон, наша находка и гордость!» К тому же он был а м е р и к а н е ц, единственный, кроме самого Пемброка, американец в деле. Беспредметная расточительная суэта кинематографа теперь распространилась и на него. Он встречался с артистами, известными всей Франции, а может быть и всему миру, участвовал в деловых завтраках и обедах, где никакого дела не было, но всегда бывали икра и шампанское. Платил обычно Пемброк, иногда Яценко от этого отказывался и вносил свою долю, составлявшую три-четыре тысячи франков. Некоторые люди на этих завтраках раздражали его своей некультурностью, суетливостью, жадностью, манией величия, — и все же в общем новая среда казалась ему своеобразной, забавной, часто по-детски милой. Понемногу его втя-

гивала эта жизнь. Он начинал чувствовать, что и сам принимает какое-то участие в заговоре успеха против искусства. Случалось ему испытывать и то же чувство, которое он испытывал во дворце Шайо: «Чем бы это могло быть, и что такое выходит из столь могущественного, самого могущественного в мире способа воздействия на людей!»

II.

— Мосье Жаксон, вас желает видеть один господин... Нофо или как-то так. Я просил его дать визитную карточку, но у него не было, — сказал консьерж. По его пренебрежительному тону можно было догадаться, что господин не из важных. Как почти весь низший персонал студии, консьерж сочувствовал коммунистам, но он был человек благодушный и поддерживал самые лучшие отношения с начальством. Настроение в деле было вообще мирное, товарищеское, приятное; труд оплачивался отлично, денежные споры возникали редко и почти всегда разрешались легко: в кинематографе деньги тратились на все, особенно на знаменитостей, так щедро, что претензии низшего персонала не имели большого значения. Техники и статисты знали или догадывались, что главные артисты получают по несколько миллионов франков за два-три месяца работы, но и это их не раздражало. На Пемброка же они смотрели с любопытством и благожелательно: им лестно было видеть живого американского миллиардера.

— Попросите его войти, — сказал Яценко. Через минуту в комнату вошел незнакомый ему старик, действительно одетый довольно бедно. Он с любопытством оглядел Джексона, комнату, письменный стол, на мгновение задержавшись взглядом на книгах.

— Мистер Вальтер Джексон? Разрешите представиться, Макс Норфольк, — по-английски сказал он.

— Садитесь, пожалуйста. Мне сообщил о вас

мистер Пемброк. Кажется, мы с вами будем вместе работать?

— Так точно, и я этому очень рад, — сказал старик. — Говорят, вы написали превосходный сценарий. Это тем более приятно, что я за всю свою жизнь не видел ни одного хорошего фильма.

— Вот как? Такие вещи редко приходится слышать от людей, работающих в кинематографическом деле.

— Я в нем работаю с позапрошлой недели. Я был изобретателем, журналистом, ходатаем по делам, судомойкой, консьержем гостиницы, революционером, сыщиком.

— Что ж, это полезная школа, — с недоумением сказал Яценко.

— Была бы очень полезная школа, — подтвердил старик, — если б не то, что мне пользоваться учением осталось уже не так долго.

— Мистер Пемброк сообщил мне, что вы представляете интересы финансовой группы, с которой он заключил соглашение. Чем я могу быть вам полезен?

— Мне прежде всего хотелось бы ознакомиться с вашей пьесой и сценарием. Когда работаешь в каком-либо деле, то не мешает знать, что именно в нем делается. Это не обязательно, громадное большинство людей не понимают, что они делают и для чего они это делают. Но именно, как я сказал, не мешает. Не могли ли бы вы дать мне пьесу?

— Если вы разрешите, я ее вам дам через три дня, — сказал он, подумав. Его вдруг осенила мысль: этот старик как будто очень подходил для пьесы, по крайней мере по наружности. «Да и имя очень подходящее: Макс. Неопределенное интернациональное имя... Так, понемногу, достаешь материал. Ведь я и идею ведьмы заимствовал из рассказа Тони. Впрочем, только то, что у человека наших дней прабабкой

была ведьма. С бароном, конечно, у Тони ни малейшего сходства быть не может, разве только в маленьких деталях». — К сожалению, моя пьеса еще не совсем готова, — сказал Яценко.

— Расин говорил о «Федре»: “C’est prêt, il ne reste qu’à l’écrire”^{*)}). Но тем более лестно, что Пемброк ее принял. Он, так сказать, Гёте этого веймарского театра. Мой босс в художественную часть не вмешивается.

«Право, он годится и не только по наружности, — с восторгом подумал Яценко. — Мой Старик верно сказал бы что-либо вроде этого!»

— Через три дня я вам дам первые три картины, они почти готовы, — смущенно сказал он.

— Но ведь кажется, «экспозе» уже написано?

— Да, но в первой редакции, а это, как вы верно знаете, не означает почти ничего. У меня некоторые действующие лица еще и не названы. Кстати, главное из них носит то же имя, что вы: Макс. Никакой фамилии я ему не даю, как и некоторым другим персонажам.

— Вот как? В старых пьесах в перечне действующих лиц о них сообщалось решительно все: возраст, наружность, родственные отношения, даже характер. А то читатель, ознакомившись с пьесой, еще мог бы ошибиться: вдруг он подумал бы, что маркиза де Санта-Фе очень глупа, а на самом деле она должна быть умницей. Теперь другая крайность: автор не дает даже фамилий.

«Совсем мой Старик! — подумал Яценко. — Надо с ним познакомиться поближе».

— Нам предстоит вместе работать. Не хотели ли бы вы сегодня со мной пообедать? Вы свободны?

— Как птица, — весело сказал старик. — Мне нравится, что вы не генерал. Вы, кажется, русский? Я

^{*)} «Трагедия готова. Остается только написать ее.»

люблю русских. Люблю и американцев. Я сам американец по паспорту, но не по крови. У меня тоже псевдоним и вдобавок идиотский: я сто лет тому назад из озорства взял себе имя первого пэра Англии!

«Положительно, «жизнь подражает искусству», — подумал Яценко. — Теперь моя пьеса готова. Макс Норфольк в действии, как Лина, по крайней мере по замыслу, была Надя в действии».

Они вместе пообедали в тот же день, затем встречались и обедали почти ежедневно. Яценко нарочно выбирал недорогие рестораны, так как старик непременно хотел платить свою долю и говорил неизменное *“Dutch treat”* *). Его разговоры, наблюдения над ним оказались чрезвычайно полезны Виктору Николаевичу. После каждой встречи он переделывал и дополнял свою пьесу. «Странные вещи происходят в искусстве: сначала выдумываешь человека, а позднее находишь его в жизни!» Яценко впрочем понимал, что не выдумал Макса Норфолька. Его «Старик», выражавший идею снисходительности к людям, первоначально был даже не очень похож на этого старика. Но теперь главное действующее лицо пьесы стало казаться ему живым. «В *“Lie Detector”* я его активизирую: он попадает не в историческую трагедию, как было в «Рыцарях Свободы», а в водоворот событий бытовой пьесы с напряженной фабулой. Жаль, что я уже показал пьесу Пемброку. Впрочем, он будет помнить только их глупое «экспозе» и верно даже не заметит, что я образ Старика переделал. Лишь бы только этот Норфольк не узнал себя и не обиделся. Хотя за что же ему тут обижаться? Мой Макс очень привлекателен.»

Через неделю переделанная пьеса была отдана в переписку. Вместо «Старик», везде значилось «Макс». А на следующий день, когда Норфольк зашел в его

*) Угощение, при котором каждый платит за себя.

кабинет, Яценко смущенно отдал ему новую тетрадку.

— Прошу вас сказать мне свое мнение совершенно откровенно.

— Разумеется, разумеется. Сейчас же и начну читать. Кажется, в вашей студии есть бар? Нет, не провожайте меня, я найду.

— И еще одно, — сказал Виктор Николаевич. — Я вам даю французский перевод. Пьеса написана мною по-русски, но предназначается она для американцев, и я некоторые фразы или отдельные слова вставил в свою рукопись по-английски, по-русски вышло бы хуже. Французский переводчик их не перевел. Это произведет на вас впечатление некоторой недоделанности. Сделайте на это мысленную поправку... Как и на кое-что другое. На известную условность положений... Быть может, кое в чем вы найдете и некоторую фальш. Но она ведь есть почти во всех драмах.

«Лишь бы только его пьеса не оказалась совершенной дрянью, как громадное большинство пьес и как все сценарии, — думал Норфольк по дороге. — Теперь, вероятно, направо?» Он только во второй раз был в студии, но обычно легко находил дорогу в заведения, где продавались спиртные напитки; шутил, что в этом, как во всем в жизни, руководится простым правилом: «Надо исходить из того, что люди неизменно поступают вопреки требованиям здравого смысла: женятся на тех женщинах, на которых им жениться не надо; объявляют войны, когда их поражение математически неизбежно; строят большие города на болоте, как Петербург, на лагунах, как Венецию, или по соседству с вулканом, как Помпею; бар открывают в самом неподходящем месте, в темной тесной комнате, и у стойки ставят неудобные узенькие высокие стулья без спинок, так что ни сидеть, ни пить нет охоты»... Он шел по длинным коридорам

студии, с любопытством поглядывая по сторонам, останавливаясь у объявлений и фотографий.

Кофейня, в которую он вошел, не была ни темной, ни тесной, но Макс Норфольк говорил, что о своих несбывшихся предсказаниях забывает с такой же легкостью, как государственные люди. У стойки он заказал Мартини и тотчас вступил в разговор с барманом. Спросил, завтракают ли здесь в кофейне и хороша ли у них кухня, при чем добавил, что задает идиотский вопрос: служащие ресторанов редко отвечают, что у них кухня плохая. Спросил, почему сейчас никого нет, и, узнав, что в три часа все на работе, неодобрительно покачал головой. Спросил, приходят ли сюда знаменитости и что они едят и пьют. — «Так, так, салат, фрукты, чай с лимоном без сахара», — повторял он с отвращением. Барман отвечал ему охотно. Он не мог понять, что это за человек: не француз, не артист, не техник, — верно из свиты американского миллиардера. Старик, однако, барману понравился: по тому, как он пил, было видно, что он понимает дело, и хотя он был одет бедно, чувствовалось, что это хороший клиент. Выпив первый коктейль, Норфольк заказал второй по своему рецепту. Барман выслушал внимательно и нашел идею интересной.

— Только эту штуку вы уж подайте мне вон туда, — сказал Норфольк, указав на столик в углу. Устроившись на жестком диване, он заглянул в окно. Во дворе стояло несколько автомобилей. «Вот этот очень недурен, Делаэ последнего образца»... Затем пробежал забытый на столе засаленный листок с меню завтрака и узнал, что за двести франков можно было получить *hors d'oeuvres variés*, затем на выбор бифштекс или жареную рыбу, салат, сыр и фрукты. «Расчитано на низших служащих. Знаменитости сюда приходят потому, что в город далеко ехать, и еще из демократического чувства: играют, конечно, в про-

стые, чисто-товарищеские отношения с низшим персоналом и серьезно уверены, что такие отношения возможны между телефонисткой и звездой, получающей десять миллионов за фильм»... Карты вин не было; на листке указывалось только, что графинчик красного стоит шестьдесят франков. Норфольк был доволен. Цена завтрака была для него вполне приемлема; он мысленно сосчитал, сколько будет тратить на еду в месяц, — оставалось немало и на все другое, — думал об этом с приятным чувством много голодавшего на своем веку человека. «Что бедно одет, это вздор. Умные люди понимают, что заштопанная, но чистая одежда это теперь безошибочный признак некоторого аристократизма. Ну, не безошибочный, а все-таки признак»...

Когда барман принес новый коктейль, Норфольк его попробовал, удовлетворенно кивнул головой и вынул из оттопыренного кармана старенького пальто обе тетрадки. («Значит, сценарист», — подумал барман).

THE LIE DETECTOR

БАРОН
 БАРОНЕССА
 МАКС
 МАРТА
 АПТЕКАРЬ
 ГОРНИЧНАЯ БАРОНЕССЫ
 СЛУГА В ГОСТИНИЦЕ

Действие происходит в наше время, осенью, на протяжении нескольких дней, в очень хорошей нью-йоркской гостинице. Декорация, в сущности, одна. Барон и баронесса снимают в гостинице апартамент из шести комнат, включающий два салона. Они обставлены одинаково;

только в салоне барона группа из стола и кресел находится справа, а диван слева; а в салоне баронессы — наоборот: диван справа, стол и кресла слева. Кроме того, картины на стенах другие: в одном виды охоты, в другом портрет какой-то по-старинному одетой дамы. Во всем остальном — одна и та же обстановка салона в дорогой гостинице; ковры поверх бобрика, шкафчики, золоченая мебель, камин в глубине, над ним зеркало. Под зеркалом на камине в салоне барона какой-то восточный фарфоровый бюст. Впрочем, он виден только тогда, когда у зеркала освещаются лампочки.

Действие всех картин происходит вечером при электрическом освещении.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Салон барона. За столом сидят барон и Макс. На столе телефон, бутылка и два бокала. Барон очень красивый тридцатилетний человек, одетый по самой последней моде. На лице у него скучающее выражение. Говорит с очень легким иностранным акцентом. Макс — старик лет семидесяти. Оба они выпили немного больше, чем следовало бы. Девятый час вечера.

МАКС: Ведь первый муж вашей жены был маркиз?

БАРОН: Да.

МАКС: После его безвременной кончины она вышла за вас. Вы только барон. Значит, брак с вами был не только чудовищной глупостью с ее стороны, но и социальным понижением?

БАРОН: Да.

МАКС: И вы твердо решили развестись с ней?

БАРОН: Да.

МАКС: И вы твердо решили получить с нее при этом деньги?

БАРОН: Да. *(Зевает).*

МАКС: Говорят, у Шекспира было пятнадцать тысяч

слов. У вас, повидимому, сегодня есть только одно... Вы хотите получить с нее пятьдесят тысяч долларов?

БАРОН: Нет.

МАКС: Слава Богу, второе слово! Чего же вы хотите?

БАРОН: Я хочу получить с нее сто тысяч долларов.

МАКС: Почему так много, young rascal?*

БАРОН: Мне очень нужны деньги, old fool.**

МАКС: Это, конечно, серьезный довод, но может быть, все же недостаточный... Кстати, довожу до вашего сведения, что настоящие, т. е. умные, циники всегда говорят не как циники, а как идеалисты: это им выгоднее.

БАРОН: Я не циник. Но что ж делать, деньги вещь совершенно необходимая.

МАКС: Неужели? У вас страсть к каким-то изощренным парадоксам... Нет, ста тысяч она вам никогда не даст. Если б вы еще были герцогом! Но вы просто захудалый барон.

БАРОН (*обиженно*): Почему захудалый? Мой род восходит к пятнадцатому веку. Один мой предок был казнен в 1609 году.

МАКС: Иметь казненного предка это, конечно, социальная distinction. При условии, что он был казнен не менее двухсот лет тому назад. За что его казнили, young rascal?

БАРОН: За пустяк, old fool. Он сошелся с женщиной, которая оказалась ведьмой.

МАКС: Это бывает и в наше время. И что же?

БАРОН: Раз вечером мой предок шел лесом к своим друзьям. К нему внезапно подбежала волчица. Он выхватил меч и отрубил ей лапу. Она завизжала человеческим голосом и убежала. Дойдя до замка друзей, барон с тревогой и гордостью показал им свой трофей. (*В его голосе проскальзывает ужас. Макс с любопытством на него смотрит*). Вдруг из окровавленной лапы выпала кисть женской руки! Оказалось, что колдунья по ночам уходила в лес,

*) Молодой мошенник.

**) Старый дурак.

напяливала на себя волчью шкуру и бегала по лесу на четвереньках.

МАКС: Что ж, каждый проводит время как ему нравится. И что же?

БАРОН: Власти произвели расследование. Колдунью с отрубленной рукой нашли — и оказалось, что она была любовницей барона. Думаю, что просто его выслеживала из ревности. Он был очень красив... Я точная его копия, судя по его портрету. В гневе она прокляла его и весь наш род. Ее пытали. Она показала, будто он знал, кто она. Колдунью сожгли, а моего предка только обезглавили.

МАКС: Как приятно быть дворянином!

БАРОН: С тех пор над нашим родом повисло проклятие волчицы.

МАКС: И, разумеется, все ваши другие предки с той поры погибали трагической смертью, young rascal?

БАРОН: Нет, old fool, все они жили очень счастливо, служили верой и правдой своим королям. Но я погибну трагически.

МАКС: Вы непременно, рано или поздно, выдадите чек без покрытия. Проклятие волчицы исполнится, но вас не обезглавят. Вы только посидите несколько месяцев в тюрьме. Что ж тут такого? С кем это не случилось?

БАРОН: Я не хочу сидеть в тюрьме.

МАКС: Я знаю, что вы оригинал.

БАРОН: Что до проклятья, то... дураки никогда не бывают суеверны.

МАКС: Это сказал Байрон. Дорогой друг, неужто вы читали Байрона?

БАРОН: Нет, я прочел эту цитату в какой-то газете.

МАКС: То-то... А достать для вас у вашей жены сто тысяч я все-таки не могу.

БАРОН (*уверенно*): Можете. Вы имете огромное влияние на мою жену. Сам не знаю — почему. Человек вы не далекий, и скорее пошлый, хотя и не лишенный остроумия.

МАКС: Не засыпайте меня лестью: я о ста тысячах даже не заикнусь.

БАРОН: Это печально.

МАКС: Очень. Чувствуете ли вы, по крайней мере, что ваша жена имеет большие достоинства? Правда, как женщина, она, хотя еще очень привлекательна, но для меня чуть-чуть уже стара. Я как-то случайно видел ее бумаги: ей тридцать восемь лет. Впрочем, она своего возраста не скрывает: говорит, что ей тридцать два, это вполне корректная и приличная скидка — меньше двадцати процентов. Конечно, у нее есть маленькие недостатки. Она скуповата, или по крайней мере не щедра. Она бывает и грубовата. Светская дама, баронесса и говорит *go to hell!* Вероятно, это вы ее научили? Она нервна, но не сумасшедшая. Вы не очень нервны, но вы имете все задатки сумасшедшего.

БАРОН: Это ваш комический Lie Detector обнаружил мое сумасшествие?

МАКС: Отчасти и он, хотя не только он.

БАРОН (*неуверенно*): Надеюсь, вы не думаете, что я верю в ваш прибор? Это просто какой-то трюк, и не очень трудный. Ведь вы были в молодости фокусником.

МАКС: Всего полтора года. Я был в жизни изобретателем, сыщиком, фокусником, психологом, переводчиком в покойной Лиге Наций, комиссионером по продаже бриллиантов, управляющим гостиницей, наблюдателем при игорном доме...

БАРОН: Вы можете сократить вашу автобиографию... На каком принципе, вы говорите, основан ваш прибор?

МАКС: Это очень просто. (*Врет первое, что ему приходит в голову*). Как вы знаете, субстратом душевной жизни является кора головного мозга. Она цитоархитектонически делится на одиннадцать областей. Из них Гиппокампова область испускает альфа-лучи скоростью в два ноль шесть помноженных на десять в девятой степени сантиметров в секунду. Они действуют на мембрану моего аппарата с энергией в один тридцать один помноженных на десять в минус пятой степени эргов...

БАРОН: Не продолжайте, ваше объяснение совершенно

понятно каждому ребенку. Говорите, лучше не об эргах, а о долларах моей жены.

МАКС: Слушаю-с. Я буду просить вашу жену дать вам пятьдесят тысяч. Сделаю это против убеждения. Я на ее месте не дал бы вам ни одного сента. Но что ж мне делать? У меня к вам симпатия.

БАРОН: Mutual.*

МАКС: Конечно, вы son of a bitch.** Но если судить о вас, исходя из этой аксиомы, то станет ясно, что вы породистый son of a bitch, приятный son of a bitch и даже добрый son of a bitch. Знаете ли вы сами, что у вас есть еще одно довольно редкое достоинство? Вам совершенно все равно, что о вас думают люди.

БАРОН (*Очевидно, в первый раз об этом подумавший*): Люди? Современные люди? Совершенно все равно.

МАКС: Да, да, современные: ваши предки с вами не были знакомы, а потомство едва ли будет вами много заниматься. И это ваше достоинство тем более удивительно, что по наружности и по манерам, вы даже не фат, а пародия на фата... У вас, как писалось в старых романах, «ледяной холод в душе»?

БАРОН (*очень довольный*): Именно.

МАКС: Впрочем, это моя специальность находить в людях скрытые достоинства. Ваша жена теперь в вас никаких достоинств не находит.

БАРОН (*обиженно*): Почему она не дает мне развода?

МАКС (*успокоительно-благодарно*): Даст, даст. И денег даст. К полному моему изумлению, она еще немного вас любит. Кстати, ваш предшественник маркиз тоже женился на ней ради ее богатства?

БАРОН: Я не знал покойника, но это действительно весьма вероятно.

МАКС: Странно. Она хорошая женщина.

*) Это взаимно.

**) Ругательство.

БАРОН: Она прекрасная женщина, damn her.

МАКС (*невольно смеется*): Может быть, вы пересмотрите ваше решение о разводе? Подумайте, как вам теперь хорошо: она платит по всем счетам, денег у вас сколько угодно... Вы не были прежде в нее влюблены хоть немного?

БАРОН: Очень немного.

МАКС: Странно. Вы ведь ни одной женщины не можете видеть равнодушно. Это, впрочем, симпатичная черта характера. Когда вы разговариваете с мужчинами, у вас обычно такой вид, будто вы только что узнали, что ваш отец, мать и все предки погибли в концентрационном лагере. Но стоит показаться хорошенькой женщине, и вы совершенно преображаетесь: у вас блещут глаза, вы болтаете без конца, вы становитесь даже умны! А может быть эта женщина на вас и смотреть не хочет?

БАРОН: Нет, этого не может быть.

МАКС: Вот, вот, пародия на фата, несмотря на «холод в душе». (*меняет тон. Очень серьезно*). А что же будет с Мартой?

БАРОН: Это не ваше дело.

МАКС: Других доводов вы не понимаете, но позвольте вам сказать следующее. Марта, конечно, прелестная девочка, но она зарабатывает, как стенографистка этой гостиницы, долларов семьдесят в неделю. А вы всю жизнь ничего не зарабатывали, вы даже не знаете, как это делается... Вы сделаете большую ошибку, женившись на Марте.

БАРОН: Кто же не делает ошибок? Зачем Гитлер объявил войну?

МАКС: Быть может, его недостаточно предостерегали, а я вас предостерегаю в десятый раз. Хорошо, поговорим о другом... Зачем вы стали писать книгу о старом фарфоре? На какого чорта вам старый фарфор?

БАРОН: Вы ошибаетесь, я знаток. Я с первого взгляда могу отличить Севр от Мейссена, а мейссенский от китайского.

МАКС: С первого взгляда на метку. На Севре изобра-

жены две буквы, на мейссенском два меча, а на китайском, кажется, какие-то рыбки.

БАРОН: Другие и этого не знают. Книгу же я пишу потому, что нужно ведь занять как-нибудь пять-шесть часов в день, остающиеся от ресторанов и ночных клубов.

МАКС: Кроме того, под предлогом диктовки вы вызываете к себе Марту на несколько часов. *(Саркастически)*. Для работы. Имейте в виду, что, если я и достану вам пятьдесят тысяч...

БАРОН *(вставляет)*: Сто тысяч.

МАКС: Если я и достану вам пятьдесят тысяч, то о ресторанах и ночных клубах все равно придется забыть. Вы будете иметь где-нибудь в Бруклине две комнаты с ванной, рефрижератором и телевижен. Это вам скоро надоест.

БАРОН: Увидим. Я обожаю Марту.

МАКС: Вы наверное ни одну женщину не обожали больше трех месяцев.

БАРОН: Неправда, случилось и шесть! Кроме того, повторяю, это вас совершенно не касается, old fool.

Он встает, подходит к зеркалу над камином и зажигает сильные лампы. (Освещается фарфоровый бюст). Прихрамивается. Пробует несколько поз и жестов: Цезарский, Наполеоновский).

МАКС: Ave Caesar!.. Vive l'Empereur!

БАРОН: Я похож на Роберта Тэйлора.

МАКС: Зачем вы скромничаете? Роберт Тэйлор похож на вас.

БАРОН *(возвращается к столу, наливает себе еще виски)*: Может быть, я уеду в Холливуд. А может быть, уйду в монастырь. Или же стану коммунистом. Вы и не представляете себе, как мне скучна вся современная жизнь и, в частности, демократия. Я и газет не читаю, кроме светской хроники и театральных объявлений.

МАКС: Вы даже не знаете, как зовут президента Соединенных Штатов.

БАРОН: Согласитесь, что я человек, не похожий на других людей.

МАКС: Все люди, говорящие, что они не похожи на других людей, очень похожи друг на друга. И таких тоже миллионы.

БАРОН: Я все презираю в современном мире! Ни о чем даже не могу говорить серьезно.

МАКС: Современный мир это переживает, хотя и с душевной болью.

БАРОН (*нъет*): Если вы мне достанете от баронессы сто тысяч, я вам уплачу десять процентов комиссии.

МАКС (*очень сердито*): Идите к чорту! Я с вас ни гроша не возьму! Я это делаю не для вас, а для Марты, чтобы вы не жили на ее заработки.

БАРОН: Я знаю ваше ласковое отношение к хорошеньким барышням вчетверо моложе вас.

МАКС: Не вчетверо! Марте двадцать два года.

БАРОН: Значит, в три с половиной раза.

МАКС: Нет, не в три с половиной, а в три! (*Успокаивается*). Выясним, чего мы хотим, а? Вы хотите развестись с баронессой, получить от нее деньги и затем каждые три месяца менять любовниц. А я хочу... (*думает*). Чего я хочу? Я хочу, чтобы вы не губили Марту и поскорее уехали куда-нибудь в Сахару или на северный полюс. Нельзя же вас кастрировать!

Звонит телефон. Барон берет трубку аппарата.

БАРОН: Да, да, пожалуйста, скажите мисс Марте, что я жду ее для диктовки. Пусть она поднимется тотчас, у меня масса работы. Благодарю вас. (*Кладет трубку*). Сейчас придет мисс Марта, я буду ей диктовать. (*Смотрит на Макса многозначительно. Тот делает вид, будто не понимает. Пауза. Барон начинает напевать песенку «Whether you young, whether you old»... У него приятный баритон. Макс вторит фальшивым баском. Стук в дверь*).

БАРОН и МАКС (*одновременно*): Войдите.

Входит Марта. Барон и Макс сразу очень оживляются. Она очаровательна. Одета она «как все», т. е. как все небогатые барышни, но мило и со вкусом. Хорошо причесана, как будто сейчас от парикмахера. Ногти выкрашены и отделаны, как будто она сейчас и от маникюрши. У нее в руках пишущая машинка.

БАРОН и МАКС (вместе, радостно): Добрый вечер!

МАРТА (тоже радостно): Добрый вечер, сэр. Добрый вечер, Макс.

Барон поспешно берет у нее машинку и ставит на столик. Макс так же предупредительно пододвигает ей стул, но не к столику с машинкой, а к столу, на котором стоят напитки. Она садится.

МАРТА (оглядываясь на Макса): Я не мешаю?

МАКС (невозмутимо): О, нет, что вы!

БАРОН: Нет, вы не мешаете. (Тоже оглядывается на старика). Макс протягивает ей бумажный пакет с папиросами, а барон золотой, украшенный бриллиантами портсигар.

БАРОН: Parliament?

МАКС: Old Gold?

МАРТА: (нерешительно): Я предпочитаю Parliament. Сама я их никогда не покупаю, они слишком дороги. (Берет у барона папиросу. Макс подает ей спичку и не без удовлетворения смотрит на барона, опоздавшего со своей золотой зажигалкой).

БАРОН: Хотите виски, мисс Марта?

МАРТА: Хочу.

МАКС: Нет, не пейте виски. Это не ваш стиль. Теперь не время для коктейлей, но я хочу угостить вас коктейлем моего изобретения (Берет со столика с напитками «шэкер», лед, бутылки). Беру одну долю зеленого шартреза...

БАРОН: Желтый гораздо лучше.

МАКС: Вы смеете спорить со мной? Зеленый крепче

на двенадцать градусов. Затем две доли водки, две доли виски и три доли Поммери.

БАРОН: Какой вздор! Вы и в напитках ничего не понимаете, как ни в чем другом. Шампанское и водка. Это так же безграмотно, как, например, параллельные квинты в музыке.

МАРТА (*примирительно*): Мне тоже кажется, Макс, что шампанское не вяжется с водкой. Я обожаю шампанское! Я пила его всего месяц тому назад!

МАКС: Ни в музыке, ни в коктейлях нет вечных истин. Вдруг какой-нибудь новый Бетховен покажет, что параллельные квинты и есть верх гениальности? А я показал, что водку можно и должно сочетать с шампанским, которого кстати у вас здесь нет.

МАРТА (*смеется*): Водка, виски, шампанское! Назовите ваш напиток Big four cocktail.

МАКС: Нет, я назову его Hydrogen Bomb cocktail... Его надо долго взбалтывать и подавать очень холодным. Разумеется, никакой вишни! А того человека, который положил бы сюда кусочек апельсина, надо немедленно четвертовать. Дорогой барон, преодолите вашу ненависть ко мне и попробуйте. После трех бокалов вы будете дивно спать.

БАРОН (*сердито*): Благодарю вас, я всегда сплю как сурок.

МАРТА: Я тоже. Я засыпаю через минуту после того, как ложусь. Не успеваю даже прочесть заголовки Daily Mirror.

МАКС: Как я вам завидую. (*Барону, очевидно нарочно дразня его*). Вы не закажете бутылку Поммери, дорогой друг?

БАРОН (*еще сердитее*): Нет. Нам надо работать.

МАКС: В таком случае мы обойдемся без шампанского. (*Протягивает Марте бокал. Она робко оглядывается на барона, затем пьет*).

МАКС: Ну, как вы находите?

МАРТА (*нерешительно*): Недурно.

МАКС (*передразнивает ее*): «Недурно»!.. Это лучше нектара!

МАРТА (*смеется*): Я никогда не пила нектара.

МАКС: И никогда не будете пить, так как вы меня не слушаетесь и поэтому попадете в ад.

МАРТА (*испуганно*): Не говорите таких вещей!

БАРОН: Мисс Марта, нам пора сесть за работу.

МАРТА: Да, разумеется. (*Вскакивает и переходит к столику с машинкой. Макс пытается было встать с кресла, чтобы подать ей стул, но, повидимому, признает это усилие необязательным и остается в кресле. Марта сама переносит стул. Барон достает из ящика листки и приводит их в порядок, все время злобно оглядываясь на Макса. Старик попрежнему делает вид, будто не замечает*).

БАРОН: Мы сегодня кончим вступление к моей монографии о ффранкентальском ффарфоре. Вы помните, что мы остановились на ффарфоре древнего Востока.

МАРТА: Да, вы сказали, что кончите вступление какой-то страшной легендой. Я ждала с нетерпением!

БАРОН: Это легенда острова Маури-Га-Сима.

МАКС: Еще одна легенда! Вы злоупотребляете легендами, дорогой друг.

МАРТА: Я обожаю все страшное!

Барон садится рядом со столиком Марты и в упор смотрит на Макса, все более явно показывая, что его уход был бы весьма приятен. Макс разваливается в кресле.

МАКС: С удовольствием послушаю вашу ффарфоровую легенду.

БАРОН (*диктует*): Легенда, о которой я упомянул выше, связана с азиатским островом Маури-Га-Сима. На нем в древности была найдена самая лучшая в мире глина. Этим островом правил царь Перуун, известный и своим светлым умом, и беспорочной жизнью, и тесным общением с богами. Этот царь получил от богов секрет изготовления

бесценного фарфора из глины острова. Его открытие обогатило жителей. Для них настала пора необычайного процветания. Но, богатея с каждым днем, они утратили прежнюю простоту нравов, потеряли веру в своего мудрого правителя, стали его критиковать, развратились. И вот однажды ночью было у Перууна видение: боги сообщили ему, что их терпение истощается. В тот день, когда хотя бы один из жителей острова замыслит преступление, окрасится в кроваво-красный цвет фарфоровая статуя Перууна, стоящая на главной площади. И тогда остров погибнет.

Марта испуганно перестает писать и расширенными глазами смотрит на барона.

МАКС: Это были, право, не очень интеллигентные боги. Во-первых, что же дурного в том, что жители острова, разбогатев на фарфоре благодаря своему трудолюбию, коммерческим способностям и know-how, стали жить лучше прежнего? С нами, американцами, было собственно то же самое. Правда, мы всегда слепо верим нашим мудрым правителям и никогда их не критикуем. А во-вторых, почему весь остров Маури-Га-Сима должен отвечать за одного человека? Что, если бы нас всех истребили, скажем, за Лепке?

МАРТА (*горячо*): Вы таких вещей не понимаете!.. Ах, какой таинственный рассказ я читала в прошлом году! Кажется, это было в True Story...

МАКС (*не слушая*): А в-третьих, думать о преступлении совершенно не то же самое, что совершить его.

БАРОН: Разница действительно большая. В виде редкого исключения вы иногда высказываете разумные мысли. Но что если б вы перестали нам мешать? Я продолжаю, Марта. (*Диктует*). И вот одному юноше пришло в голову убить Перууна. А чтобы вдобавок сделать его общим посмешищем в глазах соотечественников, которым царь сообщил о своем видении, юноша, не веривший в богов, ночью выкрасил в кроваво-красный цвет фарфоровую статую на площади. (*Эти последние слова барон произносит торже-*

ственно, с искренним волнением. Марта вскрикивает).

МАКС (*пьет*): Марточка, не падайте в обморок: Перуун, я уверен, спасется, а все остальные — Бог с ними! Они теперь все равно уже давно бы умерли.

БАРОН (*так же*): В ту же ночь Перуун, узнав о знамени богов, бежал со своей семьей с острова в Китай, где и передал секрет изготовления фарфора. На утро произошло наводнение: холодные волны поглотили остров и все его жители погибли.

МАРТА: Это поэтическая и страшная легенда!

БАРОН (*серьезно*): Очень!

МАКС: Я знаю, вы оба легковерны и суеверны, как дикари из центральной Африки. Я уверен, что вы, барон, бледнеете, если за столом рассыпается соль из солонки. А вы, Марточка, быть может, опускаете половую щетку в ведро с водой, чтобы вызвать дождь. В Африке так принято.

МАРТА (*смеется*): В этом сейчас нет надобности: третий день дождь льет как из ведра.

МАКС: А уж туфли вы утром надеваете не иначе, как сначала на левую ножку... Сказав это, я невольно взглянул на вашу левую ножку, Марточка, и должен огорчить вас: на ней только что побегал нейлон.

МАРТА (*поспешно проверяет*): Да... (*Огорченно*). Я позавчера купила три пары по доллару девяносто девять!

МАКС: Несчастья надо переносить мужественно... Вы, кажется, делаете перерыв после легенды?

БАРОН: Больше пока ничего не написано. Только отдельные мысли.

МАКС: И какие!.. Марточка, видели ли вы уже мой Lie Detector? (*Вынимает из ручного чемоданчика, который стоял на полу около его кресла, небольшой складной прибор с рупором, составляет его и включает штепсель. Публике виден экран со стрелкой и шкалой*). Сейчас я наведу мембрану на вас и включу ток. Если вы солжете, стрелка отклонится на экране. Я на днях пустил в действие мой прибор на сессии ООН во время речи Вышинского.

Стрелка прыгала как бешеная. Включаю ток. Отвечайте на мои вопросы. Вы влюблены?

МАРТА (*смеется счастливым смехом*): Нет.

Макс незаметно на что-то надавливает. Стрелка передвигается на экране до конца скалы.

МАКС: Видите, вы солгали. Опишите наружность человека, в которого вы влюблены.

МАРТА: Это 20-летний юноша, брюнет, невысокого роста, полный.

Стрелка передвигается на экране.

МАКС: Вы опять лжете. (*Смотрит на барона*). Он высокий, худой красавец, блондин, ему тридцать пять лет, хотя он уверяет, что ему всего тридцать.

Телефонный звонок. Барон берет трубку.

БАРОН: Алло. (*Холодно*). Да, этот глупый вечно острящий старик здесь. Послать его к вам? (*Радостно*). Отлично, он сейчас к вам зайдет. (*Кладет трубку*). Баронесса просит вас сейчас, сию минуту, зайти к ней, в ее салон. Я могу только поддержать ее просьбу.

МАКС (*с видимым неудовольствием встает*): Я надеюсь скоро вернуться.

БАРОН: Пожалуйста, не торопитесь. Будет очень приятно, если вы проведете остаток вечера у моей жены.

МАКС (*допивает бокал*): До скорого свиданья, друзья мои.

БАРОН: До завтра, дорогой друг.

Макс уходит. Марта вдруг заливается веселым смехом.

Барон с недоумением на нее смотрит.

МАРТА: Ты ревнуешь меня к этому старику! Тебе не стыдно! Ах, как я рада!

БАРОН: Какой вздор!

Марта вскакивает и бросается ему на шею.

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Салон баронессы. Тот же вечер. Баронесса, довольно привлекательная женщина лет 37-38. Лицо у нее усталое, болезненное и раздраженное. Она в пеньюаре. Полулежит на диване. В момент поднятия занавеса она кладет трубку стоящего около нее на столике телефонного аппарата. На столике бутылочки с разными лекарствами, стаканы, рюмка, минеральная вода. Горничная, говорящая по-английски с сильным французским акцентом, поправляет подушки на диване.

БАРОНЕССА (*устало и капризно*): Не так, Жюли, не так! Что это с вами сегодня? Верхняя подушка должна быть поверх спинки дивана!

ГОРНИЧНАЯ: Может быть, прикажете принести белую подушку из спальни?

БАРОНЕССА: Да, принесите... Или нет, не надо. Я не люблю белых подушек в гостиной. Но эту положите выше и очень ровно: чтобы она была как раз посередине спинки (*Встает не без усилия. Горничная хочет ей помочь, но она с досадой, жестом и гримасой показывает, что не нуждается в помощи. Пока горничная поправляет подушки на диване, баронесса проходит раза два по комнате, видимо не зная, чего хочет*). Почему этот диван стоит не у стены, а под углом к стене? Это какая-то... Какая-то линия. (*Спрашивает не горничную, а себя*). Диагональ?

ГОРНИЧНАЯ: Не знаю, сударыня.

БАРОНЕССА: Как это вы не знаете самых простых слов? Я отлично помню, что такая линия называется диагональю. Это неправда, будто я стала что-то забывать!

ГОРНИЧНАЯ: Прикажете передвинуть диван, сударыня?

БАРОНЕССА: Не надо. Сейчас придет старик Макс. Он верно захочет пить. Пододвиньте тот столик с напитками. (*Горничная придвигает столик*). Когда я в последний раз принимала Квиеталь?

ГОРНИЧНАЯ: Ровно в семь вечера, сударыня.

БАРОНЕССА: Да, да, я помню. Налейте мне еще десять капель. Я приму в десять часов. (*Горничная наливает в рюмку десять капель. Стук в дверь*). Войдите.

Входит Макс.

МАКС: Добрый вечер, дорогая (*учтиво и ласково кланяется горничной*).

БАРОНЕССА (*другим тоном, с видимым облегчением*): Добрый вечер, дорогой друг. Как я рада вас видеть! Вы всегда на меня действуете успокоительно. Вы очень... Как это говорят немцы? Вы очень *gemuetlich*... Вы можете идти, Жюли. (*Горничная уходит*).

МАКС: Как вы себя чувствуете?

БАРОНЕССА: Плохо... Впрочем, нет, теперь хорошо. Отчего вы долго не заходили?

МАКС (*садится*): Помилуйте, я у вас был два часа тому назад. Вы хотели отдохнуть и прочесть газету.

БАРОНЕССА: Два часа тому назад? Да, да, я помню. Это неправда, будто я вас забываю... Она у него?

МАКС (*как бы не расслышав*): Как вам идет этот пеньюар! Он из Парижа?

БАРОНЕССА: Да, от Кристиан Диор... Она у него?

МАКС (*нехотя*): Кто она? Мисс Марта? Да, барон ей диктует. Слава Богу, что он придумал себе эту книгу о фарфоре. Он ведь тоже так угнетен и расстроен.

БАРОНЕССА (*подозрительно*): Будто? Но почему вы говорите «тоже»? Я нисколько не угнетена и не расстроена.

МАКС: Вы меня вызвали *так*, или же вам нужно поговорить со мной?

БАРОНЕССА: Не знаю, зачем я вас вызвала. Мне просто хотелось вас видеть.

МАКС (*целует ей руку*): Благодарю вас, я очень тронут. Я вас сердечно люблю.

БАРОНЕССА: Если б я не знала, что вы сейчас находитесь у моего мужа, я, вероятно, вызвала бы кого-либо другого. Я не могла оставаться одна.

МАКС (*веселым тоном*): Этим я уже тронут меньше.

БАРОНЕССА: Извините меня, дорогой друг, вы не так меня поняли. Вы отлично знаете, что для меня есть огромная разница между вами и другими моими знакомыми.

МАКС: Огромной разницы нет. Кроме, конечно, имущественной.

БАРОНЕССА: Вы единственный человек, кому я верю и кто меня любит. Всем другим нужны мои деньги. Забавно, я им никаких денег не даю, не дам, и им отлично это известно. Они любят мои миллионы *бескорыстно*. Когда я чувствовала себя лучше, они меня возили в ночные клубы. Прежде платил барон, то есть я. Теперь платят они, так что моя «дружба» стоит им денег. Но я совершенно уверена, что они никогда меня никуда не приглашали бы, если б у меня не было миллионов.

МАКС (*смеется*): Это возможно. Что ж делать, принимайте ваших приятелей как существующий факт. Принимайте вообще все как существующий факт. Но вы преувеличиваете. Что это вас так сегодня взволновало?

БАРОНЕССА: Не знаю. Кажется, чтение газеты. Опять было что-то об этой атомной бомбе, о надвигающейся войне. Если на Нью-Йорк будет сброшена бомба, я сойду с ума!.. Когда, по-вашему, начнется война?

МАКС: Это знают каких-нибудь десять человек на земле: члены Политбюро, да и то, вероятно, не все. Президент Трумэн знает об этом столько же, сколько мы с вами... Успокойтесь, скорее всего никакой войны не будет. А если будет, то вы уедете к себе в Южную Америку, где об атомных бомбах вы будете узнавать только из газетных телеграмм. На расстоянии в несколько тысяч миль это будет не такое уж страшное чтение. Во всяком случае занимательное.

БАРОНЕССА (*раздражительно*): Почему вы вечно шутите? Это утомительно.

МАКС: Это даже просто глупо. Я это делаю по пятидесятилетней плохой привычке, от которой уже поздно отучиться.

БАРОНЕССА: Или от неврастения.

МАКС: Неврастению выдумали психиатры для увеличения своих заработков. Хуже психиатров есть только психоаналитики. И у вас тоже никакой неврастении нет.

БАРОНЕССА (*с надеждой*): Вы думаете? А мне иногда кажется, что я медленно схожу с ума, что я все забываю. Это неверно?

МАКС: Даже следа этого нет. Вы все ваши дела помните не хуже вашего управляющего. Я как-то присутствовал при том, как он, в докладе вам, ошибся в дивидендах Мидлэнд Стил, и вы тотчас его поправили.

БАРОНЕССА: Свои дела я помню хорошо. Это у меня от отца. Он сам нажил свои миллионы в Южной Америке... Да, о чем же мы говорили? Я знаю, что *вы* меня любите не за богатство. Я десять раз предлагала вам место секретаря с хорошим жалованьем, и вы наотрез отказывались. Между тем мне известно, что вы сейчас без работы.

МАКС: И я очень этому рад. Мое главное достоинство: я ленив, т. е. люблю делать только то, что мне нравится, и, еще лучше, ничего не делать. Очень приятно пожить год без всякой работы. У меня есть две тысячи сбережений. Кроме того, я получаю в течение 26 недель пособие для безработных. Вы скажете, что не совсем прилично получать пособие для безработных, когда я могу поступить на службу? Но, во-первых, я не такой уж совестливый человек, каким вы меня считаете. А во-вторых, я всю жизнь честно платил налоги казне Соединенных Штатов, и нет никакой беды в том, чтобы казна Соединенных Штатов в течение полугода платила мне. Это не самая глупая из всех ее трат. Чем, например, я хуже Чан-Кай-Ши?

БАРОНЕССА: Допустим. Но чем же в таком случае моя «казна» хуже казны Соединенных Штатов?

МАКС: Вам я никогда никаких налогов не платил... А что, если б вы меня чем-либо угостили? Я с молодыми красивыми женщинами люблю говорить за вином.

БАРОНЕССА (*Она польщена*): Я, разумеется, угощу вас, но этого не следовало бы делать. Вы слишком много пьете, милый друг. Вы спаиваете и моего мужа.

МАКС: *Его* спаиваю! Он сам спойл бы Фальстафа. *(Наливает себе виски)*. Чего налить вам? Хочу с вами чокнуться.

БАРОНЕССА *(смотрит на часы)*: Ровно десять. Я выпью с вами Квиеталья. *(Протягивает ему рюмку Квиеталья, чтобы чокнуться. Он сердито отдергивает руку)*.

МАКС: Не хочу! Вы злоупотребляете этой дрянью! Она в сто раз хуже всех крепких спиртных напитков. Квиеталь новое средство, очень сильное и еще плохо изученное. Мне знакомый врач сказал, что от больших доз Квиеталья люди теряют память!

БАРОНЕССА *(тревожно)*: Неужели?.. Впрочем, что же тут страшного? Потерять память, забыть обо всем, что было!.. Хорошего было так мало. Детство в Южной Америке в доме отца! Он был недурной человек, но я знаю, как создаются богатства. Где миллионы, там грязь и скандал.

МАКС: Так говорят социалисты. А вам неудобно, милая, быть социалисткой, имея восемь миллионов долларов.

БАРОНЕССА *(поправляет)*: У меня нет восьми миллионов. Самое больше шесть с половиной... После дома отца эти два брака!

МАКС: Вы сами виноваты: зачем вы выходили замуж за каких-то экзотических аристократов? Вы не янки по крови, но во всем остальном вы почти американка, и гораздо лучше сделали бы, если б вышли замуж за настоящего американца. Не могу простить вам эту вашу несчастную любовь к титулам... *(После некоторого колебания)*. Слава Богу, что вы решили развестись с бароном.

БАРОНЕССА *(тоже после колебания)*: Я еще не совсем решилась. Хотя я отлично знаю, что он подлец.

МАКС *(недовольно)*: «Подлец» слишком сильное слово. Что же бы вы тогда сказали о шпионах, об изменниках, о гангстерах? Он просто очень слабый человек, еще более слабый, чем большинство людей.

БАРОНЕССА: Он поступил со мной подло! Притворялся влюбленным, а я, дура, поверила! Разве в миллионеров влюбляются?

МАКС (*уклончиво*): Вероятно, он был влюблен в вас. Он сам мне говорил, что никого никогда не любил больше, чем полгода.

БАРОНЕССА (*раздраженно*): Это, конечно, очень лестно для моего самолюбия! Впрочем, мне он изменил еще раньше. Как только мы вернулись в Нью-Йорк после свадебного путешествия, он сошелся с этой женщиной. (*С бешенством*). Что он в ней нашел? Она даже не так красива! У нее наружность манекена из модного дома в провинции. В Нью-Йорке или в Париже ее не взяли бы в манекены! Она *покупает* мужчин своей молодостью. Пользуется тем, что я старше ее, для того, чтобы отобрать у меня мужа! (*Нерешительно смотрит на Макса*). Она ведь моложе меня лет на пять. Ей верно двадцать шесть или двадцать семь?

МАКС (*с полной готовностью*): Если не больше!

БАРОНЕССА: И как гадко все это было сделано! Сошелся с переписчицей нашего отеля, которую я же, идиотка, ему рекомендовала для книги! Он ведь пишет книгу! Хорош писатель! Хемингуэю и Фаулкнеру не придется повеситься от зависти. Он даже не образован. Отнимите у него титул — и он никто! (*подозрительно*). Я знаю, вы только что подумали, что если отнять у меня деньги, то я тоже никто.

МАКС: Я этого не подумал. Но это можно сказать почти обо всех людях вашего круга. Все вы какой-то анахронизм. Нельзя жить ресторанами, ночными клубами и туалетами... Я всегда говорю вам правду, дорогая, не сердитесь. Отчего бы вам не заняться каким-либо полезным благотворительным делом?

БАРОНЕССА (*Скучающим тоном*): Каким?

МАКС: Мало ли каким. (*Старается придумать*). Например, Society for Advancement of Colored People? Или общество помощи беженцам из Уругвая? Верно, есть какие-нибудь беженцы из Уругвая, правда? Да и не все ли равно кому помогать? Все нуждаются, а у вас миллионы.

БАРОНЕССА (*с легким раздражением*): Я каждый день

получаю десять просьб о пожертвованиях из разных обществ и посылаю, по крайней мере, половине. А если я буду ходить на их заседания, и подписывать какие-то их бумаги, то, во-первых, это будет совершенно бесполезно, а во-вторых, я тотчас по насмешке в их глазах увижу, что им нужна только моя подпись на чеках. Я пробовала.

МАКС: Ну, так займитесь собиранием коллекций. Вас не интересует, например, французская мебель восемнадцатого века?

БАРОНЕССА: Нисколько. Дом в моем имении полон всевозможных коллекций, и я ни в чем ничего не понимаю, как мой муж ничего не понимает в фарфоре. Он выбрал Франкенталь, потому что ему нравится это слово, да и Севр или Мейссен для него слишком банальны. *(Со все возрастающим раздражением)*. Хорош эстет! Сошелся с полуграмотной стенографисткой! Я ей прежде диктовала письма, этой вашей Марте. Она пишет с грамматическими ошибками. Я ей давала хлеб, а она украла у меня мужа! Подлая, подлая женщина, без стыда, без совести!

МАКС *(тоже с раздражением)*: Вот она, психология богатых людей! Вы думаете, что вы «даете хлеб» всем, кто на вас работает. Бросьте это!

БАРОНЕССА: Да, да, ведь вы хотите, чтобы я дала на прощанье пятьдесят тысяч долларов этой труженице? Никогда!

МАКС *(так же)*: Не ей, а вашему мужу. Она ваших денег и не взяла бы, она с шестнадцати лет живет своим трудом. Но он, если вы ему ничего не дадите, будет жить на ее заработки. Вы ей создадите этим выигрышную роль. Барон уже почти падший человек. Если вы откажете ему в деньгах, он станет совершенно падшим.

БАРОНЕССА *(плачет)*: И пусть!

МАКС *(тотчас смягчается от ее слез, ставит свой бокал на стол и берет ее за руку)*. Нет, дорогая моя, вы этого не думаете. По вашей доброте и благородству, вы дадите ему пятьдесят тысяч.

БАРОНЕССА (*вытирает слезы*): Он их истратит на нее в один год!

МАКС: Не на нее, а на себя, и не в один год, а в три. Он не так беззаботен, как вы думаете. Быть может, он даже немного прикидывается беззаботным. А Марту он бросит через три месяца.

БАРОНЕССА (*с надеждой*): Вы думаете?

МАКС: Я в этом уверен.

БАРОНЕССА: Да, я знаю, он только делает вид, будто влюблен в нее. (*Нерешительно*). Но если так, то зачем нам собственно разводиться?

МАКС (*вздыхает и разводит руками*): Как знаете. Я сам долго колебался, что вам посоветовать. (*Приводит свой последний довод*): Вы знаете, дары не облагаются налогом. Вы вычтете эти пятьдесят тысяч из вашего income tax return.

БАРОНЕССА (*очевидно, уже об этом справлявшаяся*): Я не уверена, что это возможно... А что будет с ним через три года?

МАКС: Дорогая моя, я так далеко никогда вперед не заглядывал. Даже до изобретения атомной бомбы... Все-таки вы, во всяком случае прежде, очень его любили. Дайте ему на прощанье денег.

БАРОНЕССА (*сердито*): Не отдать ли ему половину моего состояния?

МАКС: Нет. Пятьдесят тысяч долларов это меньше одного процента вашего состояния. Вы могли бы дать ему и больше.

БАРОНЕССА (*не сдержавшись*): Go to hell!.. Если б я вас не знала, я подумала бы, что вы получаете от него комиссию!

МАКС (*очень холодно*): Видите, до чего вы договорились. По привычке богачки, вы считаете, что всё и все продаются, вопрос только в цене. Вы преувеличиваете. Наш разговор кончен. (*Встает*).

БАРОНЕССА: Милый друг, простите меня. Я ведь сказала: «если б я вас не знала».

МАКС: Да, вы это *сказали*, но подумали вы другое.

БАРОНЕССА: Ради Бога, не сердитесь! Я отлично знаю, что вы бескорыстнейший из людей.

Звонит телефон. Баронесса берет трубку.

БАРОНЕССА (*удивленно*): Кто? Аптекарь Тобин? Не знаю, кто это... На минуту?.. Хорошо, пусть поднимется. (*Кладет трубку. Макс*). Умоляю вас, не уходите! Выпейте еще чего-нибудь. У меня есть Наполеоновский коньяк.

МАКС (*садится*): Вы знаете, чем меня соблазнить... Я никогда не был пьяницей. Я и пьян бывал лишь очень редко.

БАРОНЕССА: Но я всегда по вашим глазам вижу, что вы пили. И это случается чаще, чем я хотела бы. Вот вы и сегодня выпили чуть больше, чем нужно.

МАКС (*серьезно*): Вино — последняя радость, которая остается у человека в жизни... Женщины... Ах!.. (*Вздыхает*).

БАРОНЕССА (*смеется*): Вы всегда меня успокаиваете.

МАКС: Пользуйтесь мною вместо Квиеталя.

БАРОНЕССА: У вас всегда такой вид, точно с человеком в жизни ничего особенно худого случиться не может.

МАКС: И ничего особенно хорошего.

Стук в дверь. Входит аптекарь Тобин, очень мрачного вида, небрежно одетый старик. Макс смотрит на него удивленно.

АПТЕКАРЬ: Добрый вечер. Я аптекарь Тобин.

БАРОНЕССА: Добрый вечер. Чем могу вам служить?

АПТЕКАРЬ (*мрачно*): Ничем решительно.

МАКС: Мои сомнения рассеялись от вашего ответа! Ведь вы доктор Тобин? Страшно рад вас видеть! Мы не встречались лет сорок! Вы меня узнаете?

Аптекарь тоже на него смотрит, хотя и без большого интереса.

АПТЕКАРЬ (*равнодушно*): Да.

МАКС (*несколько обиженно*): Как вы поживаете?.. Но прежде всего почему вы *аптекарь* Тобин?

АПТЕКАРЬ: Потому что я аптекарь Тобин.

МАКС: Ведь вы были доктором медицины и даже подавали большие надежды, как врач по душевным болезням. Вы переменили профессию?

АПТЕКАРЬ: Переменил. Быть аптекарем менее неприятно, чем быть врачом. Врачи губят людей, а мы только их соучастники. Кроме того, как аптекарь, я зарабатываю больше. По крайней мере пока. Скоро, верно, нас разорят налоги.

БАРОНЕССА (*без восторга*): Быть может, вы присядете, доктор? Если вы нашли старого приятеля...

АПТЕКАРЬ (*садится*): Собственно мы приятелями не были. Но я, конечно, рад, что вы живы. Вы *были* умным человеком.

МАКС: Спасибо на добром слове. Позвольте на-радо-стях угостить вас Наполеоновским коньяком. (*Смотрит на баронессу, у нее лицо ледяное*). Позволяете? Или, еще лучше, превосходным виски?

АПТЕКАРЬ (*Больше на зло баронессе*): Я предпочитаю коньяк.

МАКС (*Наливает ему коньяку, несколько смущенно поглядывая на баронессу*): Как же вы поживаете, Тобин?

АПТЕКАРЬ: Очень плохо. (*Баронессе*). Ваш муж сегодня заказал у меня Квиеталь, обещал за ним зайти и не зашел. Между тем, он сказал, что ему необходимо иметь это еще вечером, у него сильнейшая бессонница. Я ждал, мой рассыльный давно ушел. Так как мне это по дороге, то я занес сам. (*Вынимает бутылочку*).

БАРОНЕССА: Ах, это моему мужу?

АПТЕКАРЬ: Да, я попросил швейцара позвонить в его комнату, никто не отвечал. Швейцар предложил оставить у него, но я не имею на это права: Квиеталь опасная вещь.

БАРОНЕССА: Разве мой муж тоже принимает Квиеталь?

АПТЕКАРЬ: Так он мне сказал. Рецепт, впрочем, был на ваше имя, и я предпочитаю отдать вам.

МАКС (*С любопытством*): Так это в самом деле опасное лекарство? Что, например, произойдет, если сразу принять всю эту бутылочку?

АПТЕКАРЬ (*Радостным тоном*): Только то, что вы через час будете в мире, который принято считать лучшим.

БАРОНЕССА: А если принять чайную ложку?

АПТЕКАРЬ (*Скорее грустно*): Тогда вы не умрете, но потеряете память. Я об этом предупредил барона. Один мой клиент принял верно столовую ложку и впал в состояние полной амнезии.

БАРОНЕССА: И останется в нем навсегда?

АПТЕКАРЬ (*С сожалением*): Врач говорит, что это может пройти. (*С надеждой*). Я этого не думаю.

БАРОНЕССА: Как же врачи дают легко такое лекарство?

АПТЕКАРЬ: Между врачами бывают и идиоты. Но обычно и они дают Квиеталь не так легко. Мне же, конечно, все равно: я выдаю лекарства по рецептам, а что с ними делают покупатели, не мое дело.

МАКС: И дела вашей аптеки, тем не менее, идут недурно?

АПТЕКАРЬ: Они идут скверно, но они не были бы лучше, если б я делал вид, будто меня интересует здоровье моих клиентов... Мне следует два доллара восемьдесят.

БАРОНЕССА: Дорогой друг, заплатите ему. У меня деньги в спальней.

МАКС (*смущенный ее нелюбезностью, поспешно*): Сейчас (*вынимает деньги*). У меня только десять долларов.

АПТЕКАРЬ: У меня нет сдачи (*Смотрит с отвращением на баронессу*). Впрочем, это не важно: барон имеет в моей аптеке счет. (*Встает*). Имею честь кланяться. Баронесса только кивает ему. Макс нарочно, чтобы загладить ее нелюбезность, провожает его.

МАКС (*у дверей*): Мы так случайно встретились после сорока лет! Я очень хотел бы вас повидать, вспомнить молодость, выпить.

АПТЕКАРЬ (*Равнодушно*): Отчего же нет? Вы знаете, где моя аптека?

МАКС: Нет, я не знаю.

АПТЕКАРЬ: Найдете в телефонной книжке. Прощайте (*Выходит*).

МАКС с недовольным видом возвращается к баронессе: Надеюсь, что мне вы разрешите выпить еще этого драгоценного коньяку? Веселенький старичок, правда? Он, впрочем, всегда был такой. (*Не без беспокойства*). — Ведь он на вид много старше меня?

БАРОНЕССА: Вероятно, одних лет с вами? (*тотчас поправляется*). На вид, вы, конечно, лет на десять моложе. Пожалуйста, отдайте барону это лекарство. (*Со злобой*) «Никто не отвечал»! Юные любовники не хотели для телефона отрываться от любовных излияний!.. Но в одном вы правы: барон, очевидно, не так уж легко перенес эту драму, если страдает бессонницей? Он всегда спал как сурок.

МАКС (*вдруг с изумлением*): Как вы сказали?

БАРОНЕССА: Я сказала, что он всегда спал как сурок.

МАКС (*Не сразу*): Да, он сам мне это сегодня сказал: «я сплю как сурок»...

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Тот же вечер. Одиннадцатый час. Когда занавес поднимается, слышны звуки рояля. Кто-то играет (очень хорошо) фантазию из «Кармен». Салон барона. Дверь соседней комнаты отворена. Играют именно там. Сцена остается пустой минуты две. Затем музыка обрывается на звуках арии торреадора. В салон из соседней комнаты входят барон и Марта.

МАРТА (*испуганно*): Нельзя играть так поздно в гостиной! Уже скоро одиннадцать. Соседи могут пожаловаться.

БАРОН (*Он выпил еще больше обычного*): Справа до спальни моей жены еще три пустые комнаты. Она ничего слышать не может. Я велел поставить рояль туда (*показы-*

вает на соседнюю комнату), чтобы не мешать соседям слева. Впрочем, там сейчас никого нет.

МАРТА: Зачем вы взяли такой огромный номер?

БАРОН: Она велела соединить два номера. В мелочах она очень бережлива и расчетлива, но платить сто долларов в день, чтобы пускать людям пыль в глаза, ей ничего не стоит. У нас своя столовая, куда мы никогда не заходим, и вот эта комната с роялем, которая никакого назначения вообще не имеет.

МАРТА (*грустно*): Я покупаю платья у Клайна на 14-ой улице, а она заказывает свои в Париже, у... (*выговаривает с трудом*) у Кристиан Дайор. Говорят, это самый лучший портной в мире?

БАРОН: Не волнуйся, ей не поможет и Кристиан Диор.

МАРТА (*смеется*): Я засмеялась, но это очень нехорошо. Все-таки мы перед ней виноваты (*Думает*). Виноваты, но заслуживаем снисхождения. Нельзя покупать мужей как платья у этого Дайор.

БАРОН: Меня она купила по случаю, second hand, за бесценок. Я не требовал, чтобы она положила на мое имя капитал.

МАРТА (*Вспыльчиво*): Я ненавижу, когда ты так говоришь! Зачем тебе ее деньги? Только добейся у нее развода, и все будет чудно. Я зарабатываю семьдесят долларов в неделю. Какое для меня будет счастье работать на нас обоих! Говорят, скоро дактилографкам увеличат тариф и мы будем получать на двадцать процентов больше со страницы. Тогда я буду зарабатывать девяносто. Я всегда могу иметь и сверхурочную работу. Я делаю на машинке 150 слов в минуту, это могут очень немногие. Я могла бы перейти в Юнайтед Нэшнс хоть сегодня. На четыреста долларов в месяц можно иметь решительно все!

БАРОН: Н-да. (*Напевает начало арии торреадора*). (*Марта смотрит на него подозрительно. Он спохватывается*): Разумеется, можно иметь решительно все. Но мужчины, на которых работают жены, имеют, к сожалению, в обществе неблагозвучное название.

МАРТА (*Горячо*): Как тебе не стыдно говорить такие гадости! Что мое, то твое! К тому же ты скоро начнешь зарабатывать много денег. Твоя книга об этом эмментальском фарфоре...

БАРОН: Франкентальском. Эмментальский — это сыр.

МАРТА (*Смущенно*): Я обмолвилась. Эта твоя книга будет, наверно, иметь громадный успех... Может быть, ее возьмет Book of the Month?

БАРОН (*Очевидно не исключая такой возможности*): Ты думаешь? Это в самом деле было бы очень хорошо. Надо найти туда протекцию.

МАРТА: Я у них подписчица, но верно этого недостаточно... А не это, так будет что-либо другое. Главное, что мы оба молоды и не боимся бедности.

БАРОН: Н-да. (*Продолжает напевать ту же арию*).

МАРТА: Если Book of the Month или Literary Guild возьмет твою книгу, ты меня повезешь в Париж, и я там буду заказывать платья у этого француза. Ты повезешь меня в Париж? Ах, как это будет хорошо! Мне так хотелось бы увидеть Эйфелеву башню! (*С гордостью*). Но наш Эмпайр Стэйт Билдинг выше!.. Впрочем, ты не думай, что я растрачу все твои литературные заработки и потом сяду тебе на шею. Я и дальше буду зарабатывать, я только возьму в гостинице отпуск. Я уже имею право на шесть недель... Только, ради Бога, ради Бога, возможно скорее получи развод! За чем теперь остановка?

БАРОН (*Уклончиво*): Ты же знаешь, что придется съездить в Рино.

МАРТА: Так отчего же вы не едете? Ведь она согласилась?.. Старик говорит, что она хорошая женщина и что я очень перед ней виновата. Но я все-таки ее не люблю. Она слишком много имела от жизни: в сто раз, в тысячу раз больше, чем я до того, как я тебя встретила. Почему? За что? Надо же жить и бедным девушкам... Непременно верни ей все подарки, которые она тебе давала. Слышишь?

БАРОН: Разумеется. В первый же день.

МАРТА: Мне всегда так неприятно смотреть на твой золотой портсигар и на это кольцо.

БАРОН (*не подумав*): Я ей тоже делал подарки. Я подарил ей серьги.

МАРТА (*удивленно*): Те бриллиантовые, которые она носит?

БАРОН: Да.

МАРТА (*грустно*): Мне ты ничего не дарил. Мне не нужны бриллианты, но я так хотела бы иметь что-нибудь от тебя!

БАРОН: Все будет. Мы ведь еще не женаты. Если она вернет мне эти серьги, я, разумеется, отдам их тебе.

МАРТА (*вспыльчиво*): Очень тебя благодарю! После нее! Нет, не надо!.. Ты бы мог этого не говорить!

БАРОН (*смущенно*): Я просто не подумал. А если их продать и на вырученные деньги купить себе *pink sare*?

МАРТА (*после легкого колебания, с сожалением*): Нет, это тоже совершенно невозможно.

БАРОН: Я сам так думаю.

МАРТА: Старик говорил мне, что ты... Как это называется? Что ты циник. Но это неправда! Ты так говоришь *нарочно*, и я этого так не люблю! А иногда ты говоришь совершенно иначе, ты говоришь как великий поэт! Как если б ты был Шекспир... Ты говоришь как Ромео! У тебя сверкают глаза. Ах, как я люблю тебя в эти минуты! Или когда ты играешь на рояле. Ты играешь божественно!

БАРОН: Мне говорили знатоки, что если бы я специально занялся музыкой, то из меня вышел бы новый Рахманинов или Падеревский. (*Скромно*). Впрочем, это преувеличение.

МАРТА (*смеется счастливым смехом*): Ты знаешь, когда я была девочкой, я читала книгу одного русского писателя, ее тогда, во время войны, читали все. Она называлась «Мир и Война»... Нет, «Война и Мир»... Это чудная книга! Войну я всегда пропускала, я терпеть не могу читать о войнах. Но мир, ах, как там описан мир! Там есть девочка Наташа. И ее хочет похитить один князь. Я забыла

его фамилию, эти русские имена!.. Он должен ее похитить, увезти ее от родителей и тайно жениться на ней... И мне так хотелось, так хотелось, чтобы и меня кто-нибудь похитил! Этот князь был красавец! Как ты! *(Смеется)*. Похитить меня!.. Но он был женат!

БАРОН: Какое совпадение.

МАРТА: Этот князь был недостойный обманщик!

БАРОН: Н-да. Очень печально. *(Телефонный звонок)*. Опять телефон! Мы опять не подойдем. *(Звонок продолжается. Марта сидит с видом заговорщицы, приложив палец ко рту, точно их могут слышать. Лицо ее выражает полноту человеческого счастья. Телефон еще звонит, затем обрывается)*. Слава Богу, кончено! *(Сажает Марту к себе на колени)*. Как я люблю тебя! *(Его лицо в самом деле преображается. Глаза у него блестят)*. В жизни есть только одно счастье: любовь!

МАРТА: Это правда! Вот теперь ты такой, каким я обожаю тебя! Говори, говори!

БАРОН: Я никогда не видел таких прекрасных глаз, как твои! Они отражают твою прекрасную доверчивую душу. Тебя так легко обманывать, тебя будут обманывать всю жизнь. *(Искренно)*. На свете так много подлых людей. Может быть, я и сам нехороший человек. Даже наверное. Но я знаю, что моя любовь к тебе святыня. Это единственное чистое, святое место в моей душе. Мне иногда так стыдно перед тобой, так стыдно за себя... Я люблю тебя... Что по сравнению с этим все неприятности, все огорченья, даже преступления!.. Если я когда-нибудь кого-нибудь убью, я перед эшафотом подумаю о тебе и тотчас забуду все! Меня утешит то, что на свете существует Марта, эти глаза, это лицо, эти волосы! *(Страстно целует ее. Она отвечает ему долгим поцелуем)*. Какой-то поэт сказал, что хотел бы окунуть вековой дуб в пламя вулкана и огненными буквами написать на небе имя своей возлюбленной. Этот поэт был циник, но он не лгал. Он лгал, когда был циником, и говорил чистую правду в этих словах. Я сам такой, не смейся, Марта...

МАРТА (*шопотом*): Нет, я не смеюсь... Говори, говори!

БАРОН: Я больше ничего не скажу. Но помни, всегда помни то, что я только что сказал! Помни это, что бы со мной ни случилось!

МАРТА (*так же*): Что бы с нами ни случилось.

БАРОН: Быть может, исполнится проклятие волчицы...

МАРТА (*так же*): Что ты говоришь? Я не понимаю. Все равно: пусть исполнится проклятие волчицы!

Барон сажает ее на стул, вынимает из ящика фотографию и ставит ее на комод.

МАРТА: Это тот твой предок, на которого ты похож? Дай, я опять взгляну. Он такой красавец!

БАРОН: Не подходи! (*Внезапно выхватывает из кармана маленький револьвер и стреляет в фотографию с расстояния в несколько шагов. Марта в ужасе вскрикивает. Он подходит к фотографии и смотрит на нее*). Не попал! Прежде я попадал с десяти шагов в туза!

МАРТА (*еле прийдя в себя*): Что с тобой! Да ты просто сошел с ума!.. Что такое случилось? Ведь пуля могла пробить стену и ранить кого-нибудь!

БАРОН: Нет, ей пришлось бы пробить не одну стену, а каких-нибудь семь или восемь, а револьвер слабый.

МАРТА (*с ужасом, но и с восторгом*): Да ведь могли слышать в коридоре, вышел бы скандал на всю гостиницу! (*Тревожно прислушивается*). Кажется, никто не слышал. Слава Богу!..

БАРОН: Плохой револьвер старого образца. Звук очень слабый. (*Садится в изнеможении*).

МАРТА: Ну, что это? Что это значит? Зачем ты это сделал?

Стук в дверь. Марта мгновенно садится за пишущую машинку и стучит, хотя в машинке нет бумаги. Макс входит. У него в руке чемоданчик с Lie Detector-ом.

БАРОН (*со страшным выражением на лице*): Опять этот глупый старик!

МАКС: Как приятно, когда друзья встречают тебя так радостно. *(Смотрит на них. Взгляд его на мгновение задерживается на машинке, на диване с скомканными подушками)*. Я, конечно, не мешаю.

МАРТА: О, нет.

Барон с бешенством встает и уходит в соседнюю комнату. Марта смущенно молчит. Макс смеется.

МАКС: Кажется, он чем-то недоволен. Чем бы это?

Из соседней комнаты слышатся звуки рояля. Барон играет интермеццо из «Cavaleria Rusticana». С минуту длится молчание. Дальнейший разговор на сцене ведется под звуки рояля.

МАРТА: Как он чудесно играет!

МАКС: Да. Но вкус у него вульгарный, как и все другое. «Cavaleria Rusticana»!.. Я не большой музыкант. Люблю музыку. Однако слух у меня плохой, а голос маленький, зато очень гадкий. *(Наливает себе виски)*.

МАРТА: Вы слишком много пьете. Вы его спаиваете!

МАКС: Как? И *вы* это говорите?

МАРТА: А кто еще?.. Она!

МАКС *(пропуская это мимо ушей)*: Я действительно много выпил. У баронессы был изумительный коньяк. Ей продали его как Наполеоновский, на самом деле ему лет семьдесят, но коньяк изумительный. Тем не менее я не пьян или разве только чуть-чуть. Я могу принести: антиконституционный. Антиконституционный *(запутывается в словах)*. Впрочем таких трудных слов я себе не позволяю и в трезвом виде.

МАРТА: Вы дружны и со мной, и с ней! Я знаю, вы мне говорили, будто я перед ней виновата. Что ж делать, она сделала его несчастным. Она старше его лет на десять. Ведь ей сорок лет?

МАКС *(с полной готовностью)*: Если не больше.

МАРТА: А он так несчастен, так нервен! Знаете, что с ним только что произошло?

МАКС: С ним может произойти что угодно.

МАРТА (*взволнованно*): Он стал говорить что-то непонятное, о каком-то проклятии, о какой-то волчице...

МАКС (*подавляя зевок*): Да, да, проклятие волчицы, знаю, знаю... Отчего это мне так хочется спать?

МАРТА (*оскорбленно*): Спать! (*С плохо скрытым восторгом*). Так вот, представьте, как раз перед тем, как вы пришли, он вдруг выхватил револьвер и выстрелил в фотографию своего предка! Я чуть с ума не сошла!

МАКС (*морщась*): Какая безвкусица!.. Демонический выстрел, потом вдохновенная музыка! Кстати, я не знал, что у него есть револьвер. Не бутафорский ли? Он не попал, конечно?

МАРТА (*с возмущением*): Он с десяти шагов попадает в туза!

МАКС: Фотография — шесть дюймов на четыре... Конечно, она с портрета в их замке? Зачем он валяет дурака?

МАРТА (*с негодованием*): Он сама естественность!

МАКС: Все не могу решить, помешался ли он в самом деле на каких-то легендах или только притворяется? Никакого предопределения в их роду, конечно, нет, а вот, может быть, дурная болезнь есть... Ну, не буду, не буду... Бросьте его, моя милая девочка! Зачем он вам?

МАРТА: Я люблю его!

МАКС (*вздыхает*): Да, конечно, это серьезный довод, хотя люди, особенно молодые барышни, приписывают ему преувеличенное значение. Я был влюблен семнадцать раз в жизни, из них восемь без взаимности. Меньше половины, это honorable. И, как видите, я и в восьми неудачных случаях не покончил с собой. (*Шутливо*). Теперь я немного влюблен в вас, тоже без взаимности, и тоже не покончу с собой.

МАРТА (*с улыбкой*): Я только на пятьдесят лет моложе вас.

МАКС (*сердито*): Неправда. Всего на сорок семь. Вы начали лгать, Марточка. Мы сейчас пустим в ход мой "Lie Detector". (*Открывает чемоданчик, достает свой аппа-*

рат, включает штенсель и наводит «мембрану» на Марту). Вы с ним счастливы?

МАРТА (*восторженно*): Это мало сказать: «счастлива»! (*Стрелка на экране неподвижна*).

МАКС (*опять вздыхает*): Плохо дело. Вы уверены, что этот проклятый барон на вас женится?

МАРТА (*не совсем уверенно*): Да. (*Стрелка передвигается*).

МАКС: Видите, стрелка передвинулась.

МАРТА (*она уже верит в его аппарат*): Это оттого, что вы назвали его «проклятым»! Он изумительный, очаровательный человек!

МАКС: Он изумителен и даже очарователен только по своей совершенной бессовестности.

МАРТА: Не смейте так о нем говорить!

МАКС: Он бросит вас через два-три месяца. (*Стрелка стоит неподвижно. Марта с ужасом на нее смотрит*). Я знаю, что мои слова бесполезны, но моя дружба обязывает меня говорить вам правду. И мой возраст тоже: я на сорок (*скороговоркой*) на сорок с лишним лет старше вас. Звук музыки обрывается. Появляется барон. Музыка его успокоила. Он напевает что-то из «Cavaleria Rusticana»: «Сантуцца, не раздражай меня, я не твой раб»...

МАРТА: Какой у тебя голос! (*Поспешно оглядывается на Макса*). Какой у вас голос, сэр!

МАКС: У сэра голос как у Карузо. Но голоса великих певцов портятся от алкоголя.

БАРОН: С вашего позволения, Карузо был тенор, а у меня баритон. Отчего бы вам не уйти, глупый старик?

МАКС: Уйти надо не мне, а ей. В этой гостинице может не понравиться, что она у вас сидит до одиннадцати вечера и что, вместо стука машинки, в коридоре слышится ваш дивный голос. Ее могут уволить.

МАРТА (*испуганно вскакивает*): Это правда, я уйду... Когда прийти завтра, сэр?

БАРОН: Я вас вызову по телефону.

МАРТА: Добрый вечер. (*Уходит. Из дверей бросает*

на барона нежный взгляд. Макс с досадой отворачивается).

МАКС: Вам не стыдно, сэр?

БАРОН: Идите к чорту.

МАКС: Уйти к чорту, не сказав вам о результате моих переговоров с вашей женой?

БАРОН: Нет, сначала это сообщите: чорт вас подождет. Что же слышно на фронте?

МАКС: All quiet on the Western Front... Но прежде всего, чтобы потом не забыть, вот вам какое-то лекарство. (*Смотрит на него*) Его принес вам аптекарь Тобин и просил меня вам отдать еще сегодня. Я кстати позвонил вам с четверть часа назад и вы не изволили подойти к аппарату. (*Небрежно*). Что это за лекарство? Разве вы больны?

БАРОН (*не сразу*): Это какое-то снотворное (*Кладет бутылочку в карман*).

МАКС: Вот как... А мне казалось, будто вы еще сегодня сказали, что вы спите как сурок.

БАРОН: Перейдем к делу. Она дает сто тысяч?

МАКС: О ста тысячах не было и речи. Но я надеюсь, что она вам даст пятьдесят тысяч.

БАРОН: Пятьдесят тысяч это для меня мало.

МАКС: Конечно, за ваши заслуги перед ней и за ваши добродетели вообще, вам полагалось бы гораздо больше. Но так и быть, великодушно согласитесь принять пятьдесят тысяч.

БАРОН: Что я с ними сделаю? У меня девяносто тысяч долгов.

МАКС (*с изумлением*): Девяносто тысяч долгов! Каких долгов? Кому?

БАРОН: Не стоит перечислять. Долгов портным и т. п. я, разумеется, не считаю. Все старые долги. Векселя переписывались, пока кредиторы знали, что она моя жена. Но как только газеты объявят о нашем разводе, на меня набросится вся свора кредиторов.

МАКС: Так... (*Думает с минуту. С все возрастающей*

яростью). — Что же вы намерены делать, высокопочтенный представитель Синг-Синга?.. Вы видите, я говорю, как в британском парламенте.

БАРОН: Я еще не знаю.

МАКС: Я тоже не знаю, сэр!

БАРОН (*после некоторого молчания*): Если она не даст мне денег, я покончу с собой.

МАКС (*не совсем уверенно*): Так говорят все подобные вам люди.

БАРОН (*вынимает из кармана ту же бутылочку*): Вот вам доказательство. Это лекарство, но в большом количестве это смертельный яд. Я его достал по чужому рецепту.

Макс смотрит на него растерянno. Затем вдруг заливается смехом.

БАРОН: Вы, кажется совершенно пьяны.

МАКС (*пнемногу успокаивается*): Пьян, но не совершенно. Я мысленно оклеветал вас, высокопочтенный джентльмен!.. Даже совершенные шалопаи лучше, чем они кажутся!.. Даже вы!.. Но самоубийством вы не покончите.

БАРОН (*серьезно*): Вы ошибаетесь. Я не дам опозорить имя, которое получил от предков.

МАКС: Пожалуйста, бросьте этот вздор из светских мелодрам девятнадцатого века. Вы не покончите с собой: вы слишком любите красивых женщин и сухое шампанское!

БАРОН: Едва ли у меня будет много красивых женщин и сухого шампанского, если меня посадят в тюрьму.

МАКС: За долги в тюрьму не сажают. Вы заплатите кредиторам пятьдесят сентов за доллар... Кстати, что же вам дали бы и сто тысяч? У вас, значит, осталось бы десять. Это мало для обеспечения блестящего будущего?

БАРОН (*смеется*): Мое будущее! Похож ли я на человека, который думает о том, как бы обеспечить свою старость?

МАКС: Нет, вы все-таки не отравляйтесь. Прежде всего, химические самоубийства не очень эстетичны. Пла-

тон слишком красиво описал смерть Сократа. Я не знаю, что такое цикута, но, верно, она действовала не совсем так... Ну, что будет хорошего, если вам сделают промывание желудка? Нет, бросим это и подумаем, как вам заплатить долги.

БАРОН: Она *наверное* не даст больше пятидесяти тысяч?

МАКС (*подумав*): Почти наверное. Я еще поговорю, но, кажется, не даст. (*Решительно*). Не даст! Она не очень скупа, но и не очень щедра. Как большинство людей. Мы все середка на половину... У вас, однако, есть ценные вещи, она вам много дарила. Подарков она назад не потребует. Покажите это кольцо, я знаю толк в бриллиантах. (*Барон подает ему свое кольцо*). Оно стоит три тысячи долларов. Если продавать, то вам дадут две. Ваши часы? Триста долларов. И того не дадут. Портсигар, запонки, еще тысячи две. Мало... Позвольте, но ведь вы ей купили к свадьбе прекрасные серьги. Сколько вы за них дали?

БАРОН: Семь тысяч двести.

МАКС: Отдаю вам справедливость, вы гораздо щедрее ее. Правда, вы покупали ей подарки на ее же деньги.

БАРОН: Нет, я выдал ювелиру вексель на семь тысяч двести.

МАКС: Я именно это и говорю. Серьги она вам вернет. Если сама не догадается, я ей напому. А вы верните ей часы, чтоб было совершенно благородно. Они стоят всего триста долларов. Кольца, портсигар и запонок не возвращайте: мы сделаем вид, что о них вы забыли. За серьги вам дадут тысяч пять. Итого (*считает*): пять, и две, и две: девять. И ее пятьдесят: пятьдесят девять. (*Соображает*). Мало. Пятидесяти процентов кредиторы не возьмут. Они, к несчастью, догадаются, что на баронессу можно подействовать скандалом. Она больше всего на свете боится, как бы из светской хроники не попасть на первую страницу газет... Первая страница газеты это вообще великое сдерживающее моральное начало в мире... Попробуйте предложить кредиторам шестьдесят процентов. Шестьдесят сен-

тов за доллар это совершенно джентльменский расчет. (*Сображает*). Шестьдесят процентов с девяноста тысяч это будет...

БАРОН: Чтобы быть совершенно точным, у меня девяносто шесть тысяч долга.

МАКС (*Яростно*): Вы могли бы сказать это сразу, а не подавать мне по столовой ложке! Наверное, не больше девяноста шести?

БАРОН: Наверное.

МАКС: Шестьдесят процентов от девяноста шести это будет почти пятьдесят восемь тысяч. У вас ничего не останется. Чем же вы будете жить?

БАРОН (*Нерешительно*): Может быть, мою книгу о франкентальском фарфоре возьмет Book of the Month или Literary Guild?

МАКС: Непременно, непременно. Или даже оба эти клуба. Кроме того, ее перепечатает Readers Digest, и в Холливуде вам за фильмовые права заплатят миллион долларов. Но если ваш писательский гений не будет сразу признан, что тогда? Что тогда?

БАРОН: Не знаю. ,

МАКС: Ну, хорошо, вы забудете отдать этой скряге и часы. (*Все более яростно*) Вы не подрядились быть джентльменом! (*Почти кричит*). Ну хорошо, я вам дам полторы тысячи займы! Разумеется, без отдачи! Это половина моих сбережений.

БАРОН (*Он тронут, но говорит иронически*): По какой причине такая милость, old fool?

МАКС: По той причине, именно, что я old fool!.. Кроме того, я сегодня чувствую себя перед вами виноватым... Все равно в чем, это не ваше дело!

БАРОН: Кстати, вы мне как-то говорили, будто у вас всего две тысячи сбережений.

МАКС: Я на всякий случай обычно говорю немного меньше. У меня есть три тысячи. Я вам отдам половину! Вы мне вернете, когда женитесь на другой богатой южно-

американке!.. Больше я вам не дам! И не просите! Почему я вам должен отдавать мои трудовые сбережения?

БАРОН: Да я ничего у вас и не возьму. Я очень тронут, но это для меня не выход.

МАКС (*Кричит*): Какое мне дело до того, что вы тронуты? Если кредиторы не согласятся, то кончайте с собой! (*Орет диким голосом*). Или идите ко всем чертям! (*Успокаивается*). Дайте мне еще виски.

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Салон баронессы. После продыдущей картины прошло несколько дней. Восемь часов вечера. За столом Макс и Аптекарь. На этот раз и у Макса вид необычно мрачный и озабоченный.

АПТЕКАРЬ: Что вы вообще можете понимать в болезни этой баронессы? Какое право вы собственно имеете говорить о психиатрии? Знаете ли вы, что такое кататония?

МАКС (*потягивая коньяк*): Нет.

АПТЕКАРЬ: Знаете ли вы, что такое экопраксия?

МАКС: Нет, и горжусь этим.

АПТЕКАРЬ: Знаете ли вы, что такое дезоксикортикостерон?

МАКС (*возмущенно*): Такие слова должны быть запрещены Конгрессом! Но до психиатрии мы говорили о политике и литературе, Знаете ли вы, в каком году был заключен Утрехтский мир? Читали ли вы полное собрание сочинений болгарского поэта Петко Рачева Славейкова? Какое же вы имете право говорить о политике и литературе?

АПТЕКАРЬ (*смотрит на него*): Вы болели раза два воспалением легких. У вас расстроенная печень. Вам, верно, уже вырезали желчный пузырь?

МАКС: Воспалением легких я болел только один раз.

Печень у меня действительно не в порядке, но желчного пузыря мне не вырезывали. Вы угадали на пятьдесят процентов. Если бы я пытался угадывать болезни знакомых по их лицу, то, по теории вероятности, быть может, на пятьдесят процентов угадал бы и я, не имея глубоких медицинских познаний и вашего пронизывающего душу и тело взгляда... Вероятно, вы, как все старые психиатры, считаете всех людей психически ненормальными? (*подливает ему коньяку*).

АПТЕКАРЬ: Разумеется... Нет, я больше пить не буду. Я выпил три стакана. Этого совершенно достаточно для того, чтобы жизнь казалась несколько менее отвратительной, чем она есть.

МАКС: Вы и в молодости не были весельчаком, но с годами это у вас, повидимому, очень усилилось. Хорошо, что вы стали аптекарем. Не знаю, как другие люди, а психиатры действительно с годами понемногу сходят с ума. У вас, повидимому, мания в том, что вам кажется, будто вы всех людей видите насквозь. А какая мания у меня?

АПТЕКАРЬ: У вас явно выраженная форма Дон-Кихотизма.

МАКС: Это излечимо?

АПТЕКАРЬ: Нет.

МАКС: Опасно для окружающих?

АПТЕКАРЬ: Опасно только для вас самих и особенно для вашего кармана.

МАКС: Может быть, вы и правы... Так вы думаете, что баронесса не поправится?

АПТЕКАРЬ: Это скоро выяснится. Сейчас у нее полная амнезия. Все зависит от того, какую порцию Квиеталя ей подлили.

МАКС (*очень сердито*): Вы сегодня уже во второй раз намекаете, что ей кто-то подлил Квиеталя! Что за вздор! Она просто ночью, в полутьме, сама, вместо десяти капель, налила себе гораздо больше.

АПТЕКАРЬ: Ее горничная однако сказала, что в буты-

лочке баронессы оставалось разве только капель тридцать. Такая доза не могла вызвать длительной амнезии.

МАКС (*еще более сердито*): «Капель тридцать»! Кто их считал? Может быть, их было шестьдесят? Скажите прямо, на что вы намекаете?

АПТЕКАРЬ: Я ни на что не намекаю, и вообще все это меня совершенно не интересует. Я отпускал Квиеталь по рецептам, рецепт у меня, конечно, сохранился. Какое же мне дело до того, сама ли отравилась эта малопривлекательная женщина или ее отравили?

МАКС (*быстро*): Так что вы *никому* о вашем подозрении не сообщали?

АПТЕКАРЬ: Никому, кроме вас. Да и вам я сказал больше потому, что вы об этом, как будто незаметно, меня расспрашивали. И вдобавок я выпил слишком много коньяку. Я не думал, что это такой крепкий коньяк... А *знаю* я только то, что барон несколько дней тому назад купил у меня бутылочку Квиеталья.

МАКС (*очень серьезно*): Теперь вы прямо назвали барона. Это не шутка! Нельзя говорить такие вещи, доктор Тобин!

АПТЕКАРЬ (*поправляет*): Аптекарь Тобин.

МАКС: Напоминаю вам, что вы отдали лекарство баронессе, а не барону. (*Смущенно*). Может быть, она ему этой бутылочки не отдавала? Может быть, она оставила ее себе, и именно из нее по ошибке налила себе много больше, чем было нужно.

АПТЕКАРЬ: Тогда и эта бутылочка должна была бы остаться на ее ночном столике. А на нем оказалась только старая, с другим номером.

МАКС (*так же*): Вы сами сказали, что если б человек выпил всю бутылочку, то он умер бы. Уж если бы предположить такую нелепую чудовищную мысль, что барон хотел отравить свою жену, то он вылил бы в *ее* рюмку *все*.

АПТЕКАРЬ: А чем же ему плохо так? Над его женой будет устроена опека. Скорее всего, опекуном назначат именно его. Или же, в крайнем случае, он будет получать

от опеки большую часть дохода. Так даже гораздо лучше: будет меньше того, что называется «угрызениями совести». Я за свою долгую жизнь, впрочем, никогда не видел, чтобы люди *очень* страдали от угрызений совести. Кажется, угрызения совести вообще выдумал Шекспир. Или же еще до него какой-либо другой искавший сюжета писатель.

МАКС (*нерешительно*): Стыдно даже обсуждать серьезно такое предположение!.. Ведь у властей могли возникнуть подозрения, тогда барона предали бы суду.

АПТЕКАРЬ: Как видите, ни у кого никаких подозрений не возникло.

МАКС (*так же*): Да и зачем бы он это сделал! Он и так пользовался богатством своей жены... Кроме того, у него есть собственное родовое состояние.

АПТЕКАРЬ: Этого я не знал. (*С отвращением*) Но, может быть, он влюбился в другую женщину?

МАКС: Чего же он тогда добился? Вы сами сказали, что жизни баронессы опасность не грозит. Значит, он жениться на другой не может и будет до конца дней состоять при больной жене?.. Лучше все-таки иметь здоровую жену, чем сумасшедшую!

АПТЕКАРЬ: Не знаю. не знаю. Не всегда... Значит, *есть* другая женщина?

МАКС: Я отвечаю на *ваше* предположение.

АПТЕКАРЬ: И отвечаете не очень убедительно. Может быть, *жениться* на другой барон совершенно не собирается? Но при невменяемой жене он может завести себе хотя бы целый гарем, и так называемое «общественное мнение» даже не очень его за это осудит... Впрочем, почему вы так об этом беспокоитесь? Не все ли равно? Ну, отравил, не отравил. При условии полной безопасности, очень немногие люди отказались бы совершенно от убийств. Будьте спокойны, я властям ни о каких подозрениях не сообщу.

МАКС: Позвольте, почему вы говорите «будьте спокойны»? Мне-то что?

АПТЕКАРЬ: Я говорю потому, что вы его приятель. И добавлю, что, в некотором противоречии с самим собой,

я стараюсь предостеречь вас от этого приятеля: будьте от него подальше. У вас, повидимому, слабость к людям несколько более преступным, чем другие. Но он при случае может отравить и вас.

МАКС: Какой вздор! (*Без уверенности*). Ваши подозрения бред! Барон в конце концов не очень дурной человек. Хуже Ганди, лучше Гитлера.

АПТЕКАРЬ: Это очень ценное определение. Вы слишком снисходительны к людям.

МАКС: С каждым годом все больше. Послушайте, с той поры, как появились в мире Гестапо, Чека, Сигуранца — скажем в одном сокращенном слове Гестачекаранца, — вообще очень трудно карать обыкновенных уголовных преступников. Теперь на свете безнаказанно гуляют тысячи самых страшных людей в истории, проливших и проливающих моря крови. Некоторые из них *были* министрами. Повешены в Нюрнберге очень немногие, да и те по случайному отбору. Другие министрами остались, с ними встречаются, им улыбаются, им жмут руки. Когда они умрут спокойной естественной смертью, им устроят пышные похороны и над ними будут произноситься трогательные надгробные речи... Видите ли, мы с вами родились в девятнадцатом столетии, а это было единственное цивилизованное столетие в истории. Теперь пошел снова пятнадцатый век или даже десятый. И не знаю, как вы, а я себя чувствую в нем каким-то вырожденком. Нет, меня несколько не соблазняет мысль посадить в тюрьму обыкновенного уголовного преступника. Теперь надо *прощать* гораздо больше, чем полвека тому назад. Просто по чувству справедливости. Все люди ведь слабы.

АПТЕКАРЬ: Я исхожу из противоположного принципа: все люди стоят того, чтобы их повесили. Но так как это, к сожалению, невозможно, то в *выводах* между нами большой разницы нет.

МАКС (*успокаивается*): По этому случаю надо выпить еще! (*Наливает себе коньяку*): Баронесса очень дорожила этим коньяком, но, если она, бедная, оправится, как я надеюсь, от своей амнезии, то верно она не будет помнить,

что у нее здесь была бутылка с этим божественным напитком. Я непременно выпью все и выброшу бутылку. Я ведь теперь провожу здесь целый день и пользуюсь ее салоном, как своим собственным.

АПТЕКАРЬ: Почему у вас красные пятна на руке?

МАКС (*смотрит*): Да. Шерлок Тобин, вы правы: это кровь, я тоже сегодня совершил убийство!.. Начните психологическое расследование. Нет? Тогда поговорим о баронессе. Как лечат от амнезии?

АПТЕКАРЬ: Амнезия бывает полная или локализованная, т. е. такая, когда человек не помнит только какой-либо определенной группы фактов. Происходит амнезия от старости, от тяжелых ранений головы, от некоторых видов отравления. В том числе и от отравления Квиеталем. Если действие не проходит само собой, то врачи пользуются гипнозом.

МАКС: Да, оба врача так и сказали, что они попробуют гипноз. Это помогает?

АПТЕКАРЬ: Нет. Но так лечат. Знаменитый Шарко так лечил... Он все виды психоза впрочем приписывал *libido*. Эту идею у него, мягко выражаясь, заимствовал Фрейд. Слава Фрейда пройдет, как слава Калиостро. Все пройдет: пройдет даже Кока-Кола... По-моему, кроме отравления Квиеталем, баронесса страдала и страдает от неудовлетворенной любви.

МАКС: Как же, к черту, тут может помочь гипноз?

АПТЕКАРЬ (*с усмешкой*): Гипнотизеры очень изобретательны. Одни действуют на дам грубостью, другие лаской. Эти идут иногда даже дальше, чем допускают приличия. В общем, все шарлатаны. Что же касается лекарств, то они тут совершенно бесполезны. Тот же Шарко, умнейший человек, на старости лет говорил, что в результате своей долгой врачебной практики, верит только в одно лекарство: в хинин. Да и то больше потому, что *повредить* оно никак не может.

МАКС: С такими взглядами вам неудобно быть и апте-

карем. Перемените опять профессию. Вы могли бы, например, стать судебным следователем.

Входит горничная баронессы.

МАКС (*Встает. Как Людовик XIV, он с горничными так же учтив, как с дамами из общества. Жюли видимо его обожает. Аптекарь смотрит на нее с таким же отвращением, как во второй картине на баронессу, переводит взгляд на Макса, и отвращение на его лице еще усиливается*): — Добрый вечер.

ГОРНИЧНАЯ: Добрый вечер. Я хочу убрать комнату мадам. Мадам пока перейдет сюда. Можно?

МАКС: Конечно, можно (*На всякий случай прячет на нижнюю полку передвижного столика почти опорожненную бутылку коньяка и заслоняет ее другими бутылками, чтобы ее не было видно*).

АПТЕКАРЬ (*встает*): Прощайте. (*Уходит, стараясь из отвращения не смотреть на горничную*).

МАКС: До свиданья, Тобин. Никогда не забывайте, что жизнь прекрасна! (*Смеется, когда дверь затворяется за аптекарем. Жюли тоже смеется*).

ГОРНИЧНАЯ: Он не очень веселый человек, этот аптекарь!

МАКС: Веселый, но не очень... Вы сегодня особенно хорошенькая, мадмуазель Жюли. Как вы это делаете? Можно поцеловать вас в лобик?

ГОРНИЧНАЯ (*весело*): Можно, если это вам доставляет удовольствие.

МАКС (*обиженно*): А вам? (*Целует ее*). Это все, что я теперь могу вам предложить.

ГОРНИЧНАЯ: Этого совершенно достаточно... Так я переведу сюда мадам. (*Выходит в спальную. Макс прохаживается по салону, фальшиво напевая: Whether you young, whether you old. Что-то обдумывает. Через минуту горничная вводит под руку баронессу и уса-*

живает ее в кресло. Вид у баронессы измученный и растерянный. Она, видимо, почти ничего не соображает.

МАКС: Здравствуйте, дорогая. О, у вас вид сегодня неизмеримо лучше, чем был вчера!

ГОРНИЧНАЯ: Так мосье теперь посидит с мадам? Минут через пять спальная будет убрана. А я, если вы разрешите, еще отлучусь на минуту, выпью Tomato Juice.

МАКС: Разумеется, разумеется. Только вместо Tomato Juice выпейте Scotch and soda. *(Горничная уходит)*. — Как же вы себя чувствуете, дорогая?.. Вы меня не помните?

БАРОНЕССА: Не помню... Ничего не помню... Что такое диагональ?

МАКС: Нашли, о чем думать! Я тоже этого не помню. Какая-то линия. Но вы наверное помните, сколько вам лет?

БАРОНЕССА *(без запинки)*: Тридцать два года.

МАКС: Кто бы подумал! Вам на вид нельзя дать более двадцати семи... Ваше состояние составляет восемь миллионов долларов, правда?

БАРОНЕССА *(так же)*: Нет, у меня не более шести.

МАКС: Вот видите, вы многое отлично помните... А кому вы это оставляете? У вас наверное есть завещание? Кому вы завещали ваше богатство? Вашему мужу? *(Ждет)*. Не помните? Это скоро пройдет. Я вам дам Квиеталья... Когда вы в последний раз принимали Квиеталь?

БАРОНЕССА: Не помню.

МАКС *(очень внушительно)*: Постарайтесь вспомнить, дорогая. *(Баронесса молчит)*. Не помните?.. Так я сам вам скажу! Три дня тому назад ночью кто-то к вам зашел в спальную и налил вам чего-то в рюмку. *(Смотрит на нее. Баронесса отвечает ему непонимающим взглядом. Продолжает еще энергичнее и настойчивей)*. К вам зашел ваш муж и подлил в вашу рюмку Квиеталья! Правда это?.. Отвечайте!.. *(Баронесса удивленно на него смотрит и не отвечает. Он думает с полминуты и, вдруг меняя тон, пробует совершенно ему не свойственную грубую манеру, о которой говорил аптекарь)*. Глупая женщина, сейчас же вспомните, я вам приказываю! Отвечайте!

БАРОНЕССА (*как будто что-то припоминая*): Go to hell.

МАКС (*Опять принимает самый ласковый тон*): Отчего же вы сердитесь, дорогая? Я должен это знать, ведь я ваш друг.

БАРОНЕССА: У меня нет друзей.

МАКС: Ну, как нет? (*Вкрадчиво*). А вот враг у вас действительно есть. Я уверен, что кто-то вам чего-то подлил. К вам никто не входил ночью три дня тому назад? (*Не сводит с нее глаз. Она молчит. Он подсаживается к ней ближе. Тоном влюбленного*). Я ведь не только ваш друг. Я ваш горячий поклонник! Я люблю вас! Вы так красивы, так умны! (*Баронесса как будто оживляется и слушает внимательно. Лицо у нее светлеет. Он все внимательнее на нее смотрит*). Как могли другие мужчины не оценить вас! Мне не нужны ваши деньги. Пожертвуйте все ваше состояние на благотворительные дела (*Баронесса без колебания энергично мотает отрицательно головой*). Я женюсь на вас без всяких денег. Мы будем очень счастливы! Но для этого надо убрать ваших врагов. Кто заходил к вам ночью три дня тому назад? Кто? (*Баронесса молчит. Он безнадежно машет рукой*). Проклятые психиатры! Все шарлатаны!

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Салон барона. Поздно вечером. Барон сидит за столом с Максом. Как всегда, они пьют. Но оба трезвы. Радио передает музыку «Девятой Симфонии». Минуты две они не разговаривают. Затем барон резким движением закрывает радиоаппарат.

БАРОН: Скверно играют!

МАКС: Не могу понять, почему вы музыкальны. Вам полагалось бы иметь слух как у глухаря.

БАРОН: Вы вообще в людях разбираетесь плохо, а меня

вы совершенно не знаете. Есть у меня Эдипов комплекс?

МАКС: Его не было и у самого Эдипа. Это сочинил Фрейд. Я отроду не видел человека, который был бы влюблен в свою мать... Однако других комплексов Фрейд не сочинил. У вас комплекс предопределения.

БАРОН (*зевает*): Может быть (*полминуты молчания*). Очень может быть.

Еще пауза.

МАКС: Отчего бы вам не съездить за границу?

БАРОН (*удивленно*): За границу? Зачем?

МАКС: Так, просто, без всякой причины. Вы никогда не бывали в Южной Америке?

БАРОН: Нет, никогда.

МАКС: Там есть чудесные страны. Например, Венецуэла. Никогда там не были?

БАРОН: Если я не был в Южной Америке, то, очевидно, не был и в Венецуэле.

МАКС: Вы рассуждаете очень правильно. Прекрасная страна... Три миллиона жителей... Анды чудесные горы... Ориноко прекрасная река... Там растет какао, кофе... Какие хорошие напитки! А индиго, какая превосходная краска, а? Среди минеральных богатств есть золото и серебро. Вы так любите золото и серебро. Столица Венецуэлы Каракас. Вы никогда там не были?

БАРОН (*терпеливо*): Если я не был в Венецуэле, то, очевидно, не был и в Каракасе.

МАКС: Совершенно верно, я просто об этом не подумал. Жители Венецуэлы занимаются земледелием, скотоводством и государственными переворотами.

БАРОН (*зевая*): Вы глупеете не по дням, а по часам.

МАКС: Кроме того, как я где-то слышал, у Венецуэлы есть еще хорошая особенность. (*Значительным тоном*). — Она никогда не выдает людей... Как бы сказать? Людей слишком верящих в предопределение... Людей, которых в других странах несправедливо хотят посадить в тюрьму... С Венецуэлой очень удобное сообщение на аэропланах. Ка-

жется, аэропланы улетают из Нью-Йорка каждый день. Кажется, свободные места есть всегда.

Пауза.

БАРОН (*очень спокойно*): Судя по вашей сегодняшней болтовне, по всем вашим глупым намекам, я предполагаю, что вы подозреваете меня в убийстве моей жены, которая, кстати сказать, жива и здорова?

МАКС (*все же несколько ошарашенный*): Еще не здорова, но выздоравливает. Сегодня оба доктора мне сказали, что через несколько дней она совершенно оправится от амнезии.

БАРОН: Как я им благодарен. Я переходил от отчаянья к надежде.

МАКС (*смеется*): Вы сами видите. У вас, значит, иногда бывала мысль, что было бы недурно, если бы она скончалась? Так, просто в порядке wishful thinking?

БАРОН: У меня иногда бывали мысли, что было бы недурно, если б я был Карлом Великим.

МАКС (*вкрадчиво*): Собственно ведь ваш предок был убийцей колдуньи: именно он отправил ее на эшафот... Вы, быть может, подумали, что вашей бедной жене будет много лучше, если она лишится памяти. А заодно лишится гражданской правоспособности, а?.. Я в мыслях не имею допрашивать вас, и вам *от меня* ни малейшая опасность не грозит. Но все-таки давайте уточним дело. Я на днях принес вам бутылочку Квиеталя. Где она? (*Все настойчивее*). Что вы с ней сделали барон? Покажите ее мне. Это тотчас же рассеет чьи бы то ни было подозрения... Покажите ее, наконец, просто для того, чтобы меня успокоить!

БАРОН: На зло вам, не покажу. Мне очень приятно, что вы беспокоитесь. Понимаю и то, что вам, как психологу, было бы приятно, если б я убил свою жену, а вы меня в этом уличили, но я не могу доставить вам это удовольствие.

МАКС: А если я все-таки, вопреки всем своим принципам, объявлю о своих подозрениях властям?

БАРОН: Это чрезвычайно меня устроит. Во-первых,

вас посадят в дом умалишенных, и я навсегда от вас избавлюсь. А во-вторых, я до того предъявлю вам иск. С вас за libel присудят мне сто тысяч долларов. У вас их нет, но обожающая вас баронесса, которая к тому времени, Бог даст, совершенно поправится, заплатит за вас. Они очень мне пригодятся.

МАКС: У вас, кроме комплекса предопределения, есть еще комплекс ста тысяч долларов.

БАРОН: Это комплекс довольно распространенный.

МАКС: Фрейд о нем ничего не сообщает. (*Очень просто*). Так вы не пытались убить свою жену?

БАРОН (*стучит себя пальцем по лбу*): Лечитесь, дорогой друг.

МАКС (*с угрозой*): Вы не ответите мне так, когда я пушу в ход мой Detector?

БАРОН (*с внезапным бешенством*): Если вы посмеете только вытащить из ящика эту вашу дрянь, я ею проломлю вам череп!

МАКС (*вздыхает*): Типичный delirium tremens. А как ваши денежные дела?

БАРОН: Катастрофические.

МАКС (*опять вздыхает*): Как вы догадываетесь, пока баронесса совершенно не выздоровеет, с нее нельзя получить ни гроша.

БАРОН: Отчего бы вам к ней сейчас не пойти? Вы очень мне надоели.

МАКС: Я ушел бы, но боюсь, что после сегодняшнего разговора между нами может остаться легкий холодок.

Дверь отворяется без стука. Входит Марта.

МАРТА (*очень взволнованно*): Простите, что я так врываюсь! (*Максу*) Мне спешно надо поговорить с бароном!

МАКС (*смотрит на нее не без тревоги*): Я все равно собирался уйти. Только не засиживайтесь здесь, Марточка. Вы рискуете потерять репутацию и, главное, место. А вы не стреляйте из револьвера, вам еще гостиница поставит в счет убыток. Прощайте, дети мои... Ах, какая прекрасная

страна Венецуэла! *(Отворяет выходную дверь. Барон вдруг его окликает и подходит к нему у двери).*

БАРОН: Дорогой друг, я забыл вам что-то передать. Это лекарство баронессы. Пожалуйста, отдайте ей. Квиеталь... Вот она, эта бутылочка... Нераспечатанная и полная. *(Макс растерянно на него смотрит, берет бутылочку, проверяет надпись и номер, затем кладет ее в карман).*

МАКС *(с восторгом)*: Дорогой друг, разрешите вас обнять!

БАРОН: Благодарю вас. Вы идиот.

МАКС *(так же)*: Это преувеличение, но я не смею с вами спорить! *(Уходит).*

БАРОН *(не без скуки в голосе)*: Что случилось, моя милая?

МАРТА: Швейцар вечером передал мне для тебя какое-то расписание. Я просунула тебе под дверь: я тогда пришла для диктовки как было условлено, а тебя не было.

БАРОН: Да, мне необходимо было отлучиться. Но в чем дело?

МАРТА: Как в чем дело? Это было расписание аэропланов! Ты хочешь уехать? Куда? Зачем? Без меня? Ты уезжаешь в Париж с ней? Скажи правду!

БАРОН *(с досадой)*: Какой вздор ты несешь! Какой Париж? Как я с ней поеду, когда она больна и когда тотчас по ее выздоровлении будет развод!

МАРТА *(смотрит на него с недоверием)*: Ты говоришь правду? Но зачем же ты потребовал расписание аэропланов?

БАРОН: Я неопределенно думал, что если ее болезнь затянется, то нам надо было бы с тобой уехать куда-нибудь отдохнуть. В Майами, например, или куда-нибудь дальше. Я совершенно измучен.

МАРТА *(смотрит на него с нежностью. У него действительно измученное лицо)*: Я понимаю! Так ты хотел улететь со мной! Какое это было бы счастье!

БАРОН *(импровизирует)*: К сожалению, это не так просто. Если мы оба покинем гостиницу в один день и улетим на одном аэроплане, то мы оба будем скомпрометированы.

Ты потеряешь место, а меня все ее друзья очень осудят. Мы должны будем поехать отдельно и не в один и тот же день.

МАРТА: Какое тебе дело до ее друзей! Все равно они с тобой раззнакомятся, как только ты женишься на мне. Да они осудят тебя и если ты уедешь теперь один, когда она больна.

БАРОН: Есть и еще одно препятствие, о котором мне неприятно говорить. У меня нет денег. Осталось несколько сот долларов. Ведь за все платила она (*Марта опускает глаза*). Теперь она не в состоянии подписать чека, и я просто не знаю что делать. Придется продать одну из моих драгоценностей.

МАРТА: Все равно, это *ее* деньги!

БАРОН: Что же мне делать? После развода я начну искать работу... И у меня к тебе просьба: не могла ли бы ты продать это кольцо? Мне самому это неудобно сделать. Ювелиры спрашивают фамилию, а если я назову свое имя, то ты понимаешь, какой может пойти шум. Это дойдет и до газет!.. Ты мне оказала бы большую услугу.

МАРТА (*Колеблясь*): Мне это не очень приятно, это *ее* вещь... Хорошо, я это сделаю. Только не надо продавать. Лучше заложить. Ведь ты обещал мне вернуть ей при разводе все ее подарки. (*Смотрит на него вопросительно*). Ты помнишь, что ты мне это обещал?

БАРОН: Конечно, конечно. Хорошо, заложим это кольцо (*отдает его ей*). А ты сумеешь это сделать?

МАРТА (*смеется*): Папа и мама всегда закладывали что у них было. Да и мне тоже случалось, когда я бывала без работы. Получала двадцать-тридцать долларов. И бывали неприятности, я должна была скрывать, что я несовершеннолетняя. Но один чиновник ломбарда хорошо ко мне относился и закрывал глаза. (*Нерешительно*) Нельзя ли обойтись без этого? На какие деньги мы выкупим кольцо, если это будет до того, как Book of the Month возьмет твою книгу? Правда, откуда мы возьмем такую сумму, оно ведь очень дорогое?.. Послушай, вместо того, чтобы закладывать ее кольцо, возьми мои сбережения. У меня есть триста

семьдесят долларѡв в Saving Bank и я могу взять еще в долг здесь, у управляющего: он мне охотно даст.

БАРОН (*холодно*): Ты хочешь, чтобы я жил на твои деньги! Подумай, что ты говоришь. Что сказали бы мои предки?

МАРТА (*Запальчиво*): А что сказали бы они о том, что ты живешь на ее деньги? (*Спохватывается*). Прости меня, я не то хотела сказать. Я знаю, что *пока* она твоя жена... Умоляю тебя, возьми эти 370 долларов. (*Улыбается*) Твои предки и знать не будут.

БАРОН (*пожимает плечами*): Один наш недельный счет в гостинице составляет больше тысячи долларов.

МАРТА: Гостиница будет ждать сколько угодно! Они понимают, что... Они понимают. (*Видит, что он сердится. Испуганно*). Хорошо, я завтра же заложу это кольцо. Взять столько, сколько дадут?

БАРОН: Да, но чем больше, тем лучше.

МАРТА: Они дают не больше половины стоимости.

БАРОН: Кажется, она заплатила за кольцо три тысячи.

МАРТА (*грустно*): Я тебе никогда не буду делать таких подарков.

БАРОН (*он невольно тронут*): Ты сама для меня божественный подарок! (*Долгий поцелуй*).

МАРТА: Сегодня я не могу, не могу, долго оставаться. Горничная видела в коридоре, что я к тебе зашла! Но она не донесет. Они все здесь меня любят. А я сейчас зайду к ней. (*С хитрым видом*). Я ей скажу, что занесла тебе рукопись, и она будет знать, что я тотчас ушла... Так до завтра (*Второй долгий поцелуй. Марта уходит. Из дверей, как всегда, бросает на него нежный взгляд*).

БАРОН (*прохаживается по комнате. Затем смотрит на часы. Нерешительно подходит к телефону, роется в телефонном указателе и составляет номер*): Colony Club! Это вы, Джон?.. Да, это я, хелло. Скажите, мрс. Патришиа сегодня у вас? (*С досадой*). Нет? Кто же у вас из моих друзей?.. А, хорошо. Скажите им, что я сейчас приеду в клуб.

Хелло. (*Кладет трубку и напевает арию торреадора. Надевает пальто. Затем тушит люстру салона, при слабом свете настольной лампочки подходит к зеркалу над каминном и зажигает сильные лампочки у зеркала. На камине стоит тот же бюст, но уже не белого, а ярко-красного цвета. На лице барона вдруг изображается дикий ужас. Он проводит рукой по лбу.*

ЗАНАВЕС.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Салон баронессы. Восемь часов вечера. Баронесса сидит в кресле, уже не в пеньюаре, а в платье. Вид у нее не такой, как в четвертой картине, но еще очень усталый. С ней Макс.

МАКС: Я совершенно поражен тем, что вы только что сообщили! Он уехал, не сказав никому ни слова? Куда? Зачем?

БАРОНЕССА (*подозрительно*): Вы уверяете, что ничего об этом не знали?

МАКС: Даю вам честное слово, что не имел ни малейшего понятия. Я расстался с ним позавчера, а вчера, из-за своего насморка, целый день не выходил. Погода ужасная.

БАРОНЕССА (*так же*): Вы как-то мне сказали, что честное слово — вещь условная: его будто бы в принципе надо соблюдать, но если это влечет за собой что-либо печальное, то можно и не соблюдать.

МАКС (*чихает*): Мало ли что я говорю!..

БАРОНЕССА: Вероятно, вы и теперь говорите неправду, чтобы меня «утешить». (*Со злобой*). Я не нуждаюсь в утешениях!

МАКС: Разумеется, нет. В сущности это самое лучшее, что могло с вами случиться. Вы теперь еще легче получите развод. Я вам советую возможно раньше уехать в Европу,

например в Париж или в Монте-Карло. Пока вы будете в отсутствии, ваш адвокат подготовит все для развода.

БАРОНЕССА: Барон, вероятно, улетел именно в Париж или в Монте-Карло.

МАКС (*продолжает*): И вы сэкономите сто тысяч долларов, которые вы обещали подарить ему.

БАРОНЕССА: Речь была не о ста, а о пятидесяти тысячах, и я ровно ничего не обещала!.. Вы видите, что никакой амнезии у меня нет, да и не было... Но как подло он поступил! Велел снести вещи вниз и уехал тайком, не сказав мне ни слова. Разумеется, он уехал в Европу с этой подлой женщиной. Как вы догадываетесь, я не могла спросить об этом швейцара. Я должна была даже делать вид, что мне известно, зачем и куда он уехал. Но я вижу, что швейцар догадывается! Это еще попадет в газеты или к какому-нибудь сплетнику-радиокомментатору!

МАКС: Ничего не попадет, да и не так важно, если попадет. Ведь все равно о вашем разводе скоро станет известно.

БАРОНЕССА: Но мне было бы крайне неприятно, если б к этому примешали имя вашей приятельницы! Ведь не барон бросает меня, а я его бросаю!

МАКС (*поспешно*): Разумеется... Я сегодня же незаметно разузнаю, уехала ли она с ним. Во всяком случае все для *вас* кончилось недурно. Вы уедете в Европу, отдохнете, затем получите развод и скоро выйдете замуж за какого-нибудь не титулованного, но порядочного человека, скажем мистера Смита, который женится на вас, а не на ваших миллионах. Европейцы нас обвиняют в материализме, между тем именно у нас браки из-за приданого редки... Вы так привлекательны, что в вас *должны* влюбляться люди. Просто нельзя поверить, что вам тридцать четыре года.

БАРОНЕССА: Мне тридцать два.

МАКС (*поспешно*): Простите, я обмолвился... Главное, поправьте здоровье.

БАРОНЕССА: Я совершенно здорова!

МАКС (*так же*): К счастью, вы теперь здоровы, но вы были больны...

БАРОНЕССА: Не была! Никакой амнезии у меня не было, я все помню!

МАКС (*не без тревоги*): Помните и мой разговор с вами?

БАРОНЕССА: Разве мы с вами разговаривали? О чем?

МАКС (*с облегчением*): Да нет, о всяких пустяках. Об этом и нельзя помнить. (*Переводит разговор*). Не могу понять: где ваш очаровательный дегенерат взял деньги? И что именно его так напугало? Я перемудрил, играя на его суеверии. (*Опять переводит разговор*). Так вы обещаете уехать за границу?

БАРОНЕССА: Примите у меня должность секретаря, с вами я уеду охотно... Я вам предлагала восемь тысяч долларов в год? Я вам даю десять, и билеты на мой счет. Поезжайте со мной, умоляю вас.

МАКС: Я очень тронут, дорогая, но не могу... Так вы, очевидно, думали что я отказывался из-за недостаточной платы! Нет, я в жизни не имел и восьми тысяч в год. Не могу потому, что не люблю синекур. Кроме того, если б я получал у вас жалованье, то мы поссорились бы на третий день.

БАРОНЕССА: Что за вздор!.. Ровно ничего не изменится.

МАКС: Изменится. Я лучше знаю жизнь, чем вы.

БАРОНЕССА: Тогда просто возьмите у меня денег.

МАКС: Это было бы еще хуже. Сердечно благодарю, но не могу.

БАРОНЕССА: Чем же вы будете жить, когда кончатся ваши сбережения?

МАКС: Они кончатся еще не скоро. Я проживаю полтора доллара в месяц.

БАРОНЕССА (*удивленно*): Не представляю себе, как человек может жить на полтора доллара в месяц. Допустим, но потом? Какую работу вы можете получить, когда вы сами говорите, что вам шестьдесят девять лет?

МАКС (*обиженно*): Почему «когда вы сами говорите»? Это так и есть! Вы правы, в нынешнем мире в шестьдесят девять лет трудно получить должность кассира или бухгалтера. Зато, правда, можно быть главнокомандующим. Генералу Мак-Артуру семьдесят два года. Клемансо в восемьдесят лет был диктатором. Но должности клерка в банке ему, конечно, никто не дал бы.

БАРОНЕССА: Насколько я понимаю, вы не собираетесь стать ни диктатором, ни главнокомандующим. Что же вы будете делать, когда все проживете?

МАКС: Я прожил всю жизнь, не зная чем буду жить через полгода. Впрочем, подумываю о том, чтобы стать ghost writer-ом. Если я напишу что-либо под своим именем, то, конечно, никакого издателя не найду. Но, к счастью, есть богатые люди, которые не могут связать двух слов и которым очень хочется увидеть свое имя в печати. Это одна из бесчисленных форм тихого умопомешательства. Для таких людей я клад. Они будут с книги платить, скажем, шесть тысяч типографии за печатанье, три тысячи газетам за объявления и полторы тысячи мне за сочинение. Это все-таки лучше чечевичной похлебки. Человечество ушло вперед со времени Иакова и Исава. Мне приятно, и заказчикам приятно: за десять с половиной тысяч им обеспечено бессмертие.

БАРОНЕССА: Во всяком случае помните одно: я ваш друг до конца дней, и вы у меня, в случае надобности, имеете неограниченный кредит.

МАКС (*смеется*): Уж будто неограниченный? Скажем, до пяти тысяч?

БАРОНЕССА (*тоже смеется*): Нет, хотя бы до ста тысяч. Больше вам верно никогда не понадобится... Простите, я забыла вас угостить. Вам тогда понравился мой Наполеоновский коньяк. Не нальете ли вы себе рюмку? Бутылка на этом столике... Где же она? Она *была* здесь.

МАКС (*с невинным видом смотрит на потолок, точно не слышит или не знает, где бутылка*): Я выпью виски.

Телефонный звонок. Баронесса берет трубку.

БАРОНЕССА: Швейцар?.. Что? (*С изумлением*). Мисс Марта? (*Пренебрежительно*). Какая мисс Марта?.. Ах, да, эта стенографистка. Скажите ей, что я не могу ее принять, у меня сейчас нет для нее никакой работы. (*Кладет трубку*). Какое нахальство! Она смеет мне звонить!

МАКС (*радостно*): Вы видите, она *не* уехала с ним!

БАРОНЕССА (*почти не скрывая облегчения и восторга*): Да, она не уехала с ним!.. Он бросил ее!

МАКС: Она не стала бы вам звонить без важной причины. Это странно. Примите ее.

БАРОНЕССА (*после краткого колебания*): Ни в каком случае!

МАКС (*поспешно берет трубку аппарата*): Во всяком случае я должен узнать, в чем дело. Я спущусь к ней.

БАРОНЕССА (*нерешительно*): Вы можете принять ее хотя бы здесь, я выйду в спальную.

МАКС (*в аппарат*): Швейцар? Скажите, пожалуйста, мисс Марте, что баронесса просит ее подняться к ней (*Кладет трубку*).

БАРОНЕССА (*сердито*): Я не просила ее подняться ко мне!

МАКС: Если б я сказал иначе, то она к вам не поднялась бы. Может быть, она что-либо знает о бароне?

БАРОНЕССА (*нерешительно*): Вы могли бы ее принять в *его* салоне.

МАКС: Вы забыли, что вы тотчас его освободили и отлично сделали. Теперь вы будете платить по счетам вдвое меньше.

БАРОНЕССА: Да, я освободила его номер... Я просто забыла, это не амнезия... Хорошо, примите эту женщину здесь... Верно, она будет просить у меня денег. Я ей не дам ни гроша!

МАКС (*сухо*): Ручаюсь вам, что она не будет просить у вас денег... Амнезия у вас прошла, но ваш комплекс мид-

лионерши, которую все грабят, неизлечим. Как я хорошо сделал, что не поступил к вам на службу.

БАРОНЕССА: Надеюсь, вы не предполагали, что у меня могут быть добрые чувства к этой женщине! Нельзя быть в добрых отношениях и со мной, и с ней!

МАКС: Я ультиматумов такого рода ни от кого не принимаю.

Баронесса уходит в спальную, хлопнув дверью. Макс прохаживается по комнате, наливает себе виски, пьет. Затем на цыпочках подходит к двери спальни и прикладывает к ней ухо. Он уверен, что баронесса стоит по ту сторону двери и подслушивает. Так оно и есть. Он с усмешкой кивает утвердительно головой и отходит. Стук в дверь. Входит Марта. Он сочувственно на нее смотрит и протягивает ей обе руки. Вид у нее действительно ужасный. Она почти в истерике.

МАКС: Здравствуйте, дитя мое.

МАРТА: Где она?

МАКС (*уверенно и громко*): Баронесса сейчас к вам выйдет.

МАРТА: Он улетел! Куда он улетел?

МАКС: Клянусь вам, я не знаю. Он ничего вам не оставил, никакого письма?

МАРТА: Ни слова!

МАКС (*злобно, но как будто и с удовлетворением*): Он не оставил ни слова и баронессе. (*Шопотом*). Вам он напишет.

МАРТА (*плачет*): Я знаю, что он бежал от нее!

МАКС (*стараясь заглушить ее слова*): Вздор, вздор! Забудьте его.

Дверь из спальни отворяется. Входит баронесса.

БАРОНЕССА: Что вам угодно?

МАРТА (*продолжает плакать почти по-детски*): Где барон?

БАРОНЕССА: Я у вас хотела узнать, где мой муж.

Стук в дверь. Входит слуга гостиницы, с удивлением смотрит на Марту и на подносе подает баронессе телеграмму.

СЛУГА: Только что принесли телеграмму.

БАРОНЕССА: Вы можете идти. *(Слуга выходит, бросив на Марту сочувственный взгляд. Когда дверь за ним закрывается, баронесса распечатывает телеграмму. Марта смотрит на нее так, точно вся ее жизнь зависит от того, что в телеграмме сказано. С живейшим любопытством ждет и Макс. Баронесса читает, перечитывает, саркастически смеется и отдает телеграмму Макс):* Только этого не хватало! Он выдал чек без покрытия!

МАКС *(читает нарочно вслух, тревожно глядя на Марту)*: «Я должен был по делу отлучиться Стоп Нахожусь Каракасе Отель Бристоль Стоп Забыл заплатить по чеку на Нашэнал Сити Банк, Park Avenue Branch, семь тысяч долларов Стоп Срок сегодня Стоп Вы чрезвычайно обяжете внеся покрытие банк».

МАРТА *(истерически)*: Где это Каракас?

МАКС *(не без гордости в интонации)*: В Венецуэле... Проклятье волчицы исполнилось!

БАРОНЕССА *(не слушая его, запальчиво)*: Я не заплачу ни одного цента! Пусть его посадят в тюрьму!

МАРТА *(в слезах, но с бешенством)*: Женщина, которая способна сказать такую вещь! *(плачет)*. Женщина, которая...

МАКС *(поспешно)*: Успокойтесь, его в тюрьму не посадят, я вам это обещаю.

БАРОНЕССА *(Марте)*: Эти деньги он тратил на вас!

МАРТА: Это гадкая ложь! Он на меня ничего не тратил. Разве только иногда угощал меня в ресторанах. Один раз я сама ему дала пятьдесят долларов, у него с собой не было денег, и он забыл мне их вернуть...

БАРОНЕССА: Я ему «на рестораны» давала достаточно. Я вам верну эти пятьдесят долларов.

МАРТА (*с яростью*): Я их швырну вам в лицо!

БАРОНЕССА: Ступайте вон отсюда!

МАКС (*твердо*): Я не могу допустить, чтобы культурные дамы так друг с другом разговаривали! Вы обе должны меня слушаться: я старше вас обеих вместе взятых (*соображает*). Да, обеих вместе взятых... Не на много, но старше. (*Баронессе, очень твердо*). Вы должны заплатить. Иначе все попадет во все газеты! Подумайте, что это значит: быть в газете, на первой странице!

МАРТА: Я всем газетам сообщу, что я его любовница и горжусь этим!.. Но у меня есть его деньги. (*Макс и баронесса удивленно на нее смотрят*). Он поручил мне как раз накануне своего отъезда заложить его кольцо в ломбард. Я тотчас заложила, дали тысячу двести долларов. Я их ему принесла, а швейцар сказал мне, что он улетел! (*Плачет. Вынимает из сумки квитанцию и пачку ассигнаций*). Вот они, возьмите их. (*Макс делает ей знаки, чтобы она не отдавала этих денег баронессе, Марта этого не замечает. Смочив языком палец, она пересчитывает сотенные ассигнации. Баронесса недовольно следит глазами за ее подсчетом*). Десять... Одиннадцать... Двенадцать. Тысяча двести, возьмите их, вот квитанция. (*Плачет*). У меня есть своих триста семьдесят долларов. Возьмите и их, но заплатите по его чеку.

БАРОНЕССА (*Она невольно смягчается*): Благодарю вас. Ваших денег не надо. Я заплачу.

МАКС (*радостно*): Я другого от вас, разумеется, и не ожидал. Вы обе хорошие и несчастные женщины. Каждая по-своему хорошая и по-своему несчастная... (*Хлопает себя по лбу*). Как я сам не догадался, что он выдавал не векселя, а чеки!.. Он пишет, что «срок завтра», т. е. сегодня! Но это ничего. Узнав, что покрытия нет, банк задержит под каким-нибудь предлогом чек и известит его.

БАРОНЕССА (*встревоженно*): Вы думаете? По-моему, банк возвращает чек тому, на имя кого он выдан.

МАКС: Вы, верно, никогда не выдавали чеков без покрытия. Я, случалось, выдавал, но, в отличие от почтенного

барона, всегда вносил покрытие за день до срока чека. Это собственно тоже запрещено законом, но мы все живем, так сказать, на полях уголовного кодекса. Дайте мне ваш чек, я завтра приду в банк еще до девяти часов и заплачу... (*Со вздохом*). Придется встать в восьмом часу.

БАРОНЕССА: Хорошо, я сейчас напишу чек... (*С тревогой*). — Но что, если он выдал еще и другие чеки без покрытия!

МАКС (*смотрит на потолок*): Да, такая возможность не исключается... Это вполне возможно... Это даже вероятно... Тогда и будем думать.

БАРОНЕССА: Я вижу, что вы знаете и о других чеках!.. Сколько?.. Еще несколько тысяч?

МАКС (*уклончиво*): Кто знает, кто знает? Что ж делать, он *забыл*. У него плохая память. Я знаю, что у него! У него локализованная амнезия. То есть такая, когда человек не помнит только какой-либо определенной группы фактов. У него амнезия на чеки без покрытия. (*Успокоительно*). Но верно не все его долги по чекам: есть и просто векселя. А векселя это даже не долг, кто думает о векселях!.. Вы говорите, несколько тысяч? (*Решительно*). Скажем, несколько десятков тысяч.

БАРОНЕССА (*с ужасом*): Несколько десятков тысяч! Я платить не буду!

МАРТА: Умоляю вас! Умоляю, заплатите. У меня нет, а то я тотчас отдала бы все, что имею! Подумайте, какой это будет ужас, если его посадят в тюрьму!

МАКС: Я как-то, к слову, сказал ему, что Венецуэла не выдает преступ... Никого не выдает. Но представьте, я, кажется, ошибся! Это какая-то другая южно-американская страна никого не выдает. Венецуэла выдает! Вам лучше сразу положить известную сумму... Скажем, на мое имя, я буду платить по чекам. Не могу же я десять раз вставать рано утром! Да и банку надоест посылать письма с предупреждениями. А главное, зачем вам всякий раз волноваться?

БАРОНЕССА (*Марте*): Я буду платить его долги, а вы уедете к нему!

МАРТА (*плачет опять*): Уплатите по этим ужасным чекам, и я даю вам слово, что я к нему не поеду.

БАРОНЕССА: Я могу простить человеку все, но не выдачу чеков без покрытия! Он погибший человек! Я к нему теперь совершенно равнодушна.

МАРТА: Он замечательный, дивный человек! Если вы к нему равнодушны, то почему же вы не хотите, чтобы я к нему поехала?

БАРОНЕССА: Мне все равно... Но советую вам к нему не ездить... (*Максу*) Я сейчас выпишу вам чек. (*Выходит в спальную*).

МАКС: Дурочка, зачем ты отдала ей тысячу двести долларов?

МАРТА (*изумленно*): Вы не хотели, чтобы я их взяла себе!

МАКС (*улыбается*): Нет, этого я не хочу, но ты могла бы их послать твоему голубчику. Телеграмма послана по ночному тарифу. Значит, у него нет ни гроша.

МАРТА: Ах! Что я сделала?.. Я пошлю ему свои триста семьдесят.

МАКС: Я боюсь, что ты не пошлешь, а сама их отвезешь. Я кое-что, ради тебя, добавлю из своих.

МАРТА (*Колеблясь*): Но ведь я ей дала честное слово.

МАКС: Честное слово надо в принципе соблюдать, но если...

Баронесса возвращается и протягивает Максу чек.

БАРОНЕССА: Вот вам чек на семь тысяч долларов.

МАРТА (*Горячо*): Благодарю вас, от души благодарю (*Колеблется*). Послушайте... Если вы его больше не любите, то зачем нам быть врагами? Я так не люблю иметь врагов! Их у меня до вас никогда и не было. (*Нерешительно протягивает ей руку*). Я знаю, что я очень виновата перед вами. Простите меня.

БАРОНЕССА (*Нехотя пожимает ей руку*): Прощайте. Советую вам к нему не ездить.

Макс радостно целует сначала одну, потом другую.

МАКС: Какие вы обе милые, хорошие женщины!.. Каждая, конечно, в своем роде! (*Сильно и долго чихает*). — Поразительно, как насморк портит самые трогательные сцены!.. А теперь, Марточка, уходите подальше от греха. Патетические сцены, как хорошие шутки, чтобы быть удачными, должны быть краткими. (*Шопотом Марте*). Я завтра утром к тебе зайду.

Телефонный звонок. Баронесса берет трубку.

БАРОНЕССА: Да, она здесь... (*Слушает*). Хорошо, я ей сейчас скажу. (*Вешает трубку*). Швейцар просит передать вам, что какой-то мистер Диккинсон из номера 424 *требуется*, чтобы вы пришли сейчас к нему для диктовки. Спешная работа. Двойная плата.

МАРТА: Благодарю вас (*Они обмениваются все же не очень добрыми взглядами. Сказалась «классовая вражда»*). Прощайте.

БАРОНЕССА: Прощайте.

МАКС: До свиданья, дитя мое.

Марта уходит.

БАРОНЕССА: Вы правильно сказали: подальше от греха.

МАКС (*он очень доволен. Смотрит на часы, встает и подходит к окну*): Дождь, дождь... Как ему не надоест падать на эту прекрасную землю и отравлять всем жизнь? А мне возвращаться в Бруклин.

БАРОНЕССА: Оставайтесь на ночь здесь. В гостинице есть свободные комнаты.

МАКС: Я просто не мог бы заснуть в комнате, стоящей десять долларов в сутки... Только, пожалуйста, не предлагайте мне, что вы заплатите!

БАРОНЕССА: Я больше не смею.

МАКС (*у окна*): Дождь, дождь... Идут люди в плащах,

под зонтиками, все слабые, очень слабые, но хорошие и интересные люди. Некоторые из них наверное счастливее, чем вы с вашими миллионами. И о каждом из них можно написать интереснейший роман.

БАРОНЕССА (*она тоже много веселее, чем была*): Вот вы и напишите, вместо того, чтобы быть ghost writer-ом для дураков.

МАКС: Я объяснил бы вон тому шатающемуся бродяге, что он такой же человек, как Франциск Ассизский. Вся мудрость жизни в том, чтобы пробуждать в людях лучшие свойства их природы.

БАРОНЕССА: Это, кажется, не очень ново.

МАКС: Во всяком случае основательно забыто.

БАРОНЕССА: И вы думаете, что так можно воздействовать на каждого человека?

МАКС: О, нет. Едва ли так можно воздействовать, например, на товарища Сталина.

БАРОНЕССА: Я тоже думаю... Ну, что ж, пишите книгу. Я издам ее на свои деньги. Вдруг мы на ней много заработаем.

МАКС: Не хочу делать в Book of the Month конкуренцию книге барона о франкентальском фарфоре. Ему деньги будут скоро гораздо нужнее, чем мне. И не далее, как через месяц.

БАРОНЕССА (*после некоторого колебания*): Послушайте, я ведь еще до моей болезни почти решила, что дам ему пятьдесят тысяч. Если хотите, я вам дам их сейчас? Разумеется, я вычту те семь тысяч, которые только что дала. Хотите, чтобы я вам оставила чек на сорок три тысячи?

МАКС: Очень хочу. Дайте мне его сейчас. К сожалению, настроения Франциска Ассизского не всегда держатся у людей долго (*Целует ей руку*). Превосходная мысль. Вы прекрасная женщина.

БАРОНЕССА (*смеется*): Приберегите вашу тактику для того шатающегося бродяги.

МАКС (*тоже смеется*): Я с ним не знаком. Дайте, дайте мне чек. (*Успокоительно, на всякий случай*). Я сего-

дня же составлю распоряжение, чтобы в случае моей внезапной смерти чек вернули вам. Но я уверен, что он понадобится очень скоро. А вы в самом деле больше не любите барона? *(Смотрит на нее внимательно)*. Мы сейчас это проверим при помощи моего Lie Detector-а. *(Вынимает свой прибор из коробки)*.

БАРОНЕССА: Вы теперь не расстаетесь с вашим шарлатанским прибором! Все играете на человеческой глупости?

МАКС *(еще веселее)*: Играю, играю, на чем же играть? *(Вставляет прибор в цепь)*. Навожу на вас рупор... Вы больше не любите барона?

БАРОНЕССА: Нет. *(Стрелка чуть передвигается)*.

МАКС: Всего пять процентов неправды. Отлично, дорогая, продолжайте в том же духе. Вы от него излечитесь постепенно и без последствий, как от скарлатины.

БАРОНЕССА *(смеясь не совсем естественно)*: И тогда на горизонте появится мистер Смит? *(Внимательно смотрит на экран)*.

МАКС: Непременно! *(Кричит в рупор)*. Появится мистер Смит — и какой! *(Стрелка стоит неподвижно)*. Видите? Чистейшая правда.

БАРОНЕССА: Шарлатан!.. Я сейчас принесу вам чек. Проверю только, если ли сейчас эта сумма на моем счету.

МАКС *(уверенно)*: Есть, есть. Я знаю, что есть.

БАРОНЕССА: Но предупреждаю вас, что если чеков окажется больше, то я платить не стану *(Стрелка передвигается. Баронесса не без раздражения машет рукой и выходит в спальную. Макс наливает себе виски. Напевает: «...Whether you young, whether you old»...)*

Стук в дверь. Входит аптекарь Тобин.

МАКС *(радостно)*: Здравствуйте, доктор Тобин.

АПТЕКАРЬ *(оглядывается и рассеянно поправляет)*: Аптекарь Тобин.

МАКС: Садитесь. Выпьем виски.

АПТЕКАРЬ: Разве тут теперь можно пить? *(Садится и*

оглядывается на дверь спальни). Я лучше выпил бы не виски, а того коньяку, которым вы меня угощали прошлый раз. Это был прекрасный коньяк (*Тотчас жалеет, что похвалил*). Да, недурной коньяк. Его больше нет?

МАКС (*повторяет грустно*): Его больше нет. Но память о нем никогда не умрет. (*Наливает виски*).

АПТЕКАРЬ (*опять оглядывается*): Она там?

МАКС: Баронесса? Да, там.

АПТЕКАРЬ: Я думал, что она уже умерла.

МАКС: На зло вам, она совершенно здорова. Выпейте, чтобы утешиться.

АПТЕКАРЬ (*разочарованно*): Но, вероятно, она ровно ничего не помнит?

МАКС: У нее память, как у лучшего Гарвардского профессора.

АПТЕКАРЬ (*еще более разочарованно*): Мне сказали, что барон улетел куда-то в Южную Америку. Вероятно, он узнал о возникших против него подозрениях и бежал.

МАКС (*все любезнее*): Помилуйте, какие подозрения! Решительно ничего не было. (*Понижая голос, с таинственным видом*). Под величайшим секретом скажу вам, что барон и баронесса разводятся: не сошлись в политических взглядах. Барон сочувствует республиканцам, а баронесса старая социалистка. Он узнал, что она завещает половину своего богатства британской рабочей партии, и признал это *mental cruelty*. Все же они расстались друзьями. На прощанье она ему подарила богатейшие плантации индиго в Венецуэле. Он и вылетел туда их возделывать. А она скоро выходит замуж.

АПТЕКАРЬ (*очень кисло*): За князя или за графа? Маркиз и барон уже были.

МАКС: Нет, за некоего мистера Смита.

АПТЕКАРЬ: Конечно, он тоже прохвост?

МАКС: Мистер Смит один из самых благородных людей, каких я когда-либо встречал в жизни... Вы зашли по делу, дорогой мой, или просто, чтобы меня повидать?

АПТЕКАРЬ: Нет, по делу. Я принес счет барона. Может быть, кто-нибудь мне заплатит?

МАКС: Наверное. (*Вынимает бумажник*). Сколько это?

АПТЕКАРЬ: Тридцать девять долларов семьдесят.

МАКС: Неужели мой друг барон так много лечился?

АПТЕКАРЬ: Он покупал у меня самое дорогое в мире мыло. Во всем Нью-Йорке у меня это мыло покупали только четыре психопата из восьми миллионов, в том числе он.

МАКС: Получите деньги, мой жизнерадостный друг. Вот сорок долларов.

АПТЕКАРЬ: У меня нет сдачи.

МАКС: Тогда сегодня же, когда выйдете на улицу, отдайте эти тридцать центов первому пьяному. Непременно пьяному. *In vino veritas*. Нет, это не верно. Как по-латыни снисходительность?

АПТЕКАРЬ: Не знаю. Купите словарь.

МАКС: И пусть этот пьяница выпьет за барона.

АПТЕКАРЬ: За здоровье этого негодяя действительно можно пить только в пьяном виде.

МАКС: Конечно, барон не такой превосходный человек, как мистер Смит, но негодяй слишком сильное слово. Повторяю мою формулу: он хуже Ганди и лучше Гитлера... (*Чихает*) Как вы думаете, дождь скоро пройдет?

АПТЕКАРЬ: Будет продолжаться целую неделю.

МАКС: А мне далеко возвращаться.

АПТЕКАРЬ: Нет ничего легче, как схватить воспаление легких. Это в наши годы очень опасно.

МАКС: Нам не по дороге в Бруклин? Мы могли бы пополам взять такси.

АПТЕКАРЬ: Нет, у меня прямой кросс в Вэст.

МАКС: Жаль... Вы смотрите на эту штуку?.. Это тот самый Lie Detector, о котором я вам говорил и в который вы не поверили. Я объяснял вам, что Гишпокампова область головного мозга испускает бэта-лучи, которые...

АПТЕКАРЬ: В прошлый раз она у вас испускала альфа-лучи. Перестаньте морочить людям голову вашим фокусом.

Да мне и не надо никакого прибора для подтверждения того факта, что все люди всегда и во всем врут.

МАКС: А вот мы попробуем. (*Наводит на себя рупор*). Я выражу в одном кратком афоризме вашу глубокую философию, дорогой друг. (*Кричит в рупор*): «Все люди прохвосты». (*Стрелка бешено передвигается*). Видите, это совершенная неправда. Скажите теперь что-нибудь вы сами.

АПТЕКАРЬ (*в рупор*): В каждом так называемом честном человеке сидит потенциальный прохвост. (*Стрелка отклоняется на экране, но не до конца скалы*).

МАКС: Десять процентов правды. К счастью, только десять процентов. Теперь скажу свой основной афоризм я: (*Кричит в рупор*) Величайшая человеческая добродетель — снисходительность. Хотя это добродетель стариков. Потому, что это добродетель стариков! (*Стрелка стоит неподвижно*).

ЗАНАВЕС.

«Ну, что ж, право недурно, — подумал Норфольк, прочитав пьесу. — И диалог хорош, и характеры есть». Он тотчас догадался, что Яценко писал своего Макса отчасти с него самого, и решительно ничего против этого не имел, даже был польщен. «И недурно меня изобразил, может быть кое-что и предвосхитил? Правда, я с ним много болтал в последние дни, с моей обычной неумной откровенностью. Станные все-таки они люди, писатели. Но что-то уж очень быстро этот творит. И все-таки у него Макс, да не Макс Норфольк. Это я в преломлении среднего драматурга и приспособленный к требованиям сцены. В этой пьесе от амнезии была прямая дорога к пошлости, и он счастливо ее избежал. Во всяком случае она лучше его «Рыцарей Свободы». Он не так молод, но, кажется, сделает карьеру. Судя по тому, что он сегодня говорил о чтении в кинематографе, он, бедный, повидимому, надеется, что ему удастся произвести

переворот в искусстве. Не он первый, не он последний. Артистки ему выцарапали бы глаза, если б он настоял на том, чтобы вместо них говорили какие-то чтецы. Пемброк никогда этого не допустит: он свое пошлое дело знает. Отзыв я, конечно, дам боссу очень хороший», — благодушно думал Норфольк. Он думал также о том, что теперь несколько месяцев будет есть каждый день, и недурно есть, в этом самом маленьком ресторане, поглядывая на красивых женщин. — «По-французски это называется «полоскать глаз», очень милое выражение... Мне давно, давно нужно пополоскать глаз»... Мысли его были приятны. Он решил было заказать четвертый коктэйль, но передумал и спросил чашку кофе: неудобно было с первого же дня создавать себе репутацию пьяницы. Теперь он сам немного играл под того Макса, которого вывел в своей пьесе Джексон. Жизнь вступила во взаимодействие с искусством.

III.

От Нади пришла русская телеграмма, написанная французскими буквами: «Приеду завтра утром Стоп Страшно благодарю присылку второй пьесы Стоп Я восторге».

Эту телеграмму Виктор Николаевич получил вечером, вернувшись с обеда, на котором познакомился с кинематографической красавицей. Он очень обрадовался приезду Нади. Похвала большого значения не имела: Надя не так много понимала в литературе. Но он с радостью почувствовал, что ему без нее было скучно. «А вот обедов с артистками, верно, больше не будет, — подумал Яценко с легким вздохом. — И не надо! И слава Богу!»

— Я страшно рад, что ты, наконец, приехала! — на вокзале сказал он ей искренно, но подумал, что словом «страшно» они немного злоупотребляют.

— А я-то!.. Ах, какие дивные цветы ты принес! Мои любимые! — ответила она. Они нежно поцеловались и у ступенек ее вагона, и еще раз в конце перрона; по дороге к автомобилю она подносила к лицу его букет; оба действительно были в восторге, но ему казалось, что во всем этом было что-то обязательное, как в рукопожатии при встрече со знакомыми.

Он снял ей комнату в своей гостинице, не рядом, а в конце коридора. Она хвалила, но Яценко видел, что комната ей не нравится. С первой же минуты он снова, как тогда в Ницце, почувствовал, что его немного утомляет ее необыкновенная энергия, то ее

свойство, которое он называл “vitality”, — все не зная, как перевести на русский язык это слово: «живучесть», «жизнеспособность» означали не совсем то же самое.

— ...Комната, конечно, хорошая, но дорого-вато, да и зачем нам две ванны? Уж будто не было комнаты ближе?.. Вода только теплая, а не кипяток. Так целый день?

— Нет, по утрам кипяток. Я разбавляю наполовину холодной водой.

— Да, но ведь ты знаешь, я купаюсь вечером. Значит, нынче, я буду купаться два раза. Пожалуйста, позвони, я скажу, чтобы мне принесли два кувшина кипятку... А как ты меня записал? Еще не записывал? Я запишусь как твоя жена, разумеется, если ты меня не стесняешься! Во Франции, впрочем, никто на такие вещи не обращает внимания. *This is a free country*, — сказала она со смехом, старательно и недурно выговаривая английские слова. — Что ты делаешь сегодня днем? Ах, да, ты в студии. А мне нельзя поехать с тобой? Впрочем, нет, сегодня я и не могла бы. Ну, хорошо, так ты меня подождешь, правда? Как я рада! Я буду готова через полчаса. Закажи, пожалуйста, завтрак. Кофе и два яйца. Сегодня я буду есть и яйца. В виде исключения, конечно, Ах, как я рада, что мы опять вместе!

— Ты правду говоришь, что ты рада?

Она, медленно полузакрывая глаза, наклонила голову и пояснила, что в Турции этот знак означает: нет. Виктору Николаевичу было известно, что, когда Надя начинает объясняться по-турецки, это значит, что она в хорошем настроении духа.

В это утро они «вели себя как молодожены» — к собственному своему удивлению.

— Ну, хорошо, поезжай в свою студию, если это уж так необходимо. Но мне надо знать, когда ты приедешь? — спросила Надя. Виктор Николаевич

опять с легким огорчением почувствовал, что, хотя он в восторге, свободы стало меньше. — В пять! Только в пять? Ну, что ж делать. Я пока буду устраиваться.

Когда он вернулся в шестом часу, его ждал сюрприз. Надя сняла номер из двух спален, маленькой гостиной и ванной. Его вещи уже были перенесены в этот номер. Книги, лежавшие у него прежде на столах, на стульях, на диване и даже на полу, теперь были расставлены на этажерке, папки с его бумагами были аккуратно разложены на письменном столе. Он был изумлен и немного задет тем, что все это было сделано без его ведома.

— ...Ты дал мне полномочия, — весело сказала Надя. — Заметь, стоит это только чуть дороже, чем стоили бы те две комнаты. Так дешево потому, что на пятом этаже, и окна выходят во двор. Скоро я начну платить свою долю.

— Какой вздор!

— Нет, не вздор. Правда, твоя комната меньше той, что у тебя была, но она гораздо уютнее. Ты вот сколько здесь живешь и не догадался, что можно получить настоящий письменный стол, а я поговорила с хозяином и получила и стол, и этажерку. А главное, теперь у тебя есть маленькая гостиная, где ты можешь «принимать посетителей». У тебя наверное есть посетители?.. И посетительницы?.. По твоему теперешнему рангу, тебе необходимо иметь гостиную. Могут ведь прийти люди утром, когда комнаты еще не убраны. Признайся, что у тебя убирали часов в двенадцать? А я дала горничной двести франков, и она обещала убирать в десять. А пока она убирает, ты можешь работать или принимать гостей в гостиной. Впрочем, я надеюсь, что хоть по утрам никто шлаться не будет? Я, конечно, верна старым традициям русского гостеприимства, но честно скажу, утренних гостей я терпеть не могу. У тебя целый день посетители и посетительницы?

— Какие посетители, когда я каждый день в десятом часу уезжаю на целый день в студию!

— Неужели в десятом часу? Собственно, зачем же так рано? — спросила она разочарованно. — Ведь у тебя работа пока только литературная? Ты мог бы работать дома.

— Нет, это невозможно. Все время приходится обсуждать разные дела с режиссером, с другими, — солгал он и сам удивился, что уже начал лгать.

— Но ты не сердишься, что я без тебя переменила помещение? Ты наверное не стыдишься меня? Все равно все будут знать. Да и что нам скрывать? Или у тебя бывают чопорные дамы? Никаких дам? Тем лучше. Увидишь, как нам будет здесь уютно. Я даже не огорчена теперь, что рок-визы, как ты говоришь, ничего нового пока не принес. Уедем в Америку позднее.

— А рок-войны?

— Все говорят, что война будет нескоро. И все-таки на свете есть только один Париж, и я страшно рада, что мы здесь проживем некоторое время... Ну, хорошо, я закажу чай, и ты мне все расскажешь: о себе, о пьесе, об Альфреде Исаевиче, об актерах, об актрисах.

— Кстати, Альфред Исаевич сказал, что, быть может, сегодня к нам заедет повидать тебя. Он к тебе очень благоволит, даже по моему слишком, — шутливо сказал Яценко.

— Я его обожаю! Он очень смешной. Но он любит только свою семидесятилетнюю Сильвию Соломонову.

Принесли чай, которого он никогда у себя в гостинице не пил. Надя достала из шкапа бутылку рома, печенье, корзинку с засахаренными фруктами.

— Заказывать *thé complet* дорого и плохо. Я все это привезла из Ниццы именно для нашего пер-

вого уютного чая. Я знаю, что ты все это любишь и любишь уют.

— Как все старые холостяки.

— Именно. Ну, и наслаждайся теперь уютом.

Он в самом деле чувствовал себя прекрасно. «Конечно, есть и плюсы, и минусы».

— Я просто счастлив! И мне жаль, что Пемброк приедет уже сегодня. Он, конечно, потащит нас обедать.

— Ну, так что же? Вероятно, он обедает не в Армии Спасения.

— «Ну, так что же?» — укоризненно повторил Яценко. — Я хотел сегодня пообедать с тобой вдвоем... Альфред Исаевич каждый день угощает людей обедами в самых дорогих ресторанах. Надо отдать ему справедливость, он щедрый человек. Но мне это несколько надоело, и я раз навсегда объявил ему, что всякий раз буду платить за себя.

— Это собственно уже излишняя щепетильность, он ведь миллионер в долларах и теперь твой boss.

— Денег у нас теперь больше, чем достаточно, но мне было бы совестно каждый вечер платить по несколько тысяч за обед.

— Ты совершенно прав! — с жаром сказала Надя. — Я тоже видела, в какой нужде теперь живут русские на Ривьере. Мы будем с тобой ходить в недорогие рестораны.

— К сожалению, завтракать мне придется в студии, в их кантине. Ездить сюда нет времени.

Она огорчилась.

— А я не могу приезжать в кантину?

— В каком же качестве? — спросил он и подумал, что эти слова звучат глупо.

— В том качестве, что я люблю мистера Вальтера Джексона и со временем стану его женой. Если ты не передумал? Ты не передумал?

— Нет, я не передумал. Как только кончится твое

дело с разводом, мы отправимся в мэрию, а если хочешь, то и в церковь.

— Разумеется, и в церковь! Ты мне здесь советских порядков не заводи! Что же касается «качества», то я себе качество найду. Что, все роли в твоей пьесе уже распределены?

«Вот оно, начинается», — подумал он.

— К сожалению, это не от меня зависело.

«Уже оправдывается, хотя я его еще и не упрекала», — подумала она.

— Я тебе писала, что “The Lie Detector” превосходен, еще лучше, чем «Рыцари Свободы». Это чудесная пьеса!

Ему была приятна ее похвала, но он знал, что она хвалит неизменно все, что он пишет. «А кроме того, ей важнее всего не пьеса, а ее роль».

— Она ведь совершенно в другом роде. Но мне тоже кажется, что в некоторых отношениях, особенно в техническом, она шаг вперед по сравнению с «Рыцарями». Зато в смысле идейном она менее значительна, просто по своему сюжету.

Он с неприятным чувством вспомнил, что недавно сказал это Норфольку, а тот ответил: «Так бывает часто: «Анна Каренина» гениальный роман, но по сравнению с «Войной и Миром» это большое падение: в «Войне и Мире» был вдобавок огромный сюжет».

— Послушай, ты только что сказал об Альфреде Исаевиче: «Надо отдать ему полную справедливость». Я знаю, что это значит, когда так говорят: ты уже его ненавидишь?

— Напротив! У нас самые лучшие отношения.

— Скажи правду, он мне не даст роли Марты?

Яценко только развел руками.

— Он не может. И эта роль уже отдана.

— Кому?

Он назвал фамилию известной артистки. Она вздохнула.

— Есть еще роль баронессы. Но мне не очень хотелось бы переходить на роль пожилой женщины.

«Баронессе тридцать восемь лет, а она ненамного моложе», — подумал он.

— Относительно роли баронессы он тоже ведет переговоры с известными артистками. Он говорит, что ему необходимы не только талантливые артистки, но артистки с большими именами. Вдобавок, ты иностранка.

— Значит, ты пробовал предлагать ему меня именно на роль баронессы?

— Да нет же, мы говорили в общей форме. Я просил давать тебе хорошие роли и помочь тебе сделать большую карьеру. Он ответил, что постепенно будет делать для этого все возможное.

— Но хорошие роли в чужих фильмах?

— Ты ведь знаешь, что в “The Lie Detector” других женских ролей нет... Если не считать роли французской горничной, — вскользь, почти без вопроса в тоне, добавил он.

— Пока нет, но ведь пьеса еще все-таки не вполне кончена. Милый Витя, присочини для меня роль, хотя бы небольшую, но благодарную!.. Не смотри на меня зверем... Виктор, Витя, Витенька, присочини для меня роль! — Она знала, что его всегда трогало обращение «Витя, Витенька»: он говорил, что так его в последний раз называла какая-то Муся Кремецкая, в которую он был влюблен мальчиком. — Витенька, присочини для меня роль! Я уверена, что сам Шекспир присочинял роли для своей жены! А ты еще не Шекспир! Ты будешь Шекспиром, но ты еще не Шекспир.

В гостиной прозвенел телефонный звонок. Швейцар почтительно сообщил, что мосье Альфред Пемброк спрашивает, может ли подняться.

— Может. Просим, — ответила Надя. — Знаешь что? — обратилась она к Яценко несколько более хо-

лодно. — Пойди пока в твою комнату, тебе ведь надо и работать. А я посижу с ним. Я могу ему сказать, что тебя нет дома и что ты скоро вернешься. А потом вместе поедем обедать.

— Ты хочешь просить его о роли? Я тебе посоветую вот что. Альфред Исаевич ставит не один мой фильм, а одновременно еще другой. Я ничего при-сочинить не могу, но ты можешь попросить его дать тебе какую-нибудь роль во втором фильме.

— Это совсем не то же самое, — сухо ответила она. — Нет, успокойся, я его ни о чем просить не буду. Не хочешь и не надо.

— Что ж, я в самом деле пойду к себе, у меня есть спешная работа, я сегодня еще ничего не написал, — сказал он и вышел, поцеловав ее в лоб. Она на поцелуй не ответила. «Да, начинается», — думал он. Теперь в заговоре против искусства приняла участие и Надя.

Пемброк галантно привез ей цветы, был очень любезен и весел. Он чрезвычайно хвалил и Яценко, и пьесу, но жаловался, что автор работает над экспозе недостаточно быстро.

— Вы его Эгерия, — говорил он. — Повлияйте на него, honey, в том смысле, чтобы он не отделял все как шлифовальщик, этого нам совсем и не нужно. Хорошо? Я ему достал самого культурного меттер-ансцен во Франции и теперь веду переговоры с самым знаменитым диалогистом. Мы все от пьесы в восторге и я уверен, что это будет hit! Ради Бога, повлияйте на него.

— Повлиять я могу, но какую взятку вы мне за это дадите, Альфред Исаевич?

— Все, что вам угодно, sugar plum. Приказывайте!

— Я хочу играть роль Марты, — нерешительно сказала Надя. Она понимала, что главной роли ей никогда не дадут, но начинать просьбу всегда нужно

было с б о л ь ш е г о, для дальнейших уступок. Однако на этот раз она ошиблась в расчете. Альфред Исаевич вдруг рассвирепел, что с ним случалось чрезвычайно редко.

— Моя милая, вы, кажется, совсем сошли с ума! — сказал он, побагровев. — Вы, может быть, думаете, что вы Грета Гарбо!

— Нет, я этого не думаю, — ответила она, струсив.

— Этот фильм будет стоить двести миллионов франков, из которых моя группа дает сто двадцать! А вы предлагаете, чтобы я дал эту роль вам, когда вас ни одна собака не знает!

— Меня знают многие собаки, Альфред Исаевич. И ведь роль Лины в «Рыцарях Свободы» вы мне дали.

— Что такое «Рыцари Свободы»? «Рыцари Свободы» это маленькое дело, где я рискую несколькими тысячами долларов! Если они провалятся, то мы их снимем через пять представлений и дело с концом! Да и там я поступил опрометчиво! А здесь я рискую огромными деньгами, своими и чужими, чужие для меня не менее важны, чем мои! Больше того, я рискую и своей репутацией! А вы мне предлагаете дать вам главную роль. Перестаньте говорить копченую селедку! — сказал Альфред Исаевич, в минуты гнева переводивший на русский язык американские выражения. — Это просто red herring!

— Ну, если это копченая селедка, тогда дайте мне второстепенную роль: роль Баронессы.

— Это невозможно! И притом великий писатель земли русской еще не удосужился сдать нам экспозе! — сказал саркастически Альфред Исаевич. У него со словами «великий писатель земли русской» связывалось неясное раздражение против Яценко от первого разговора с ним в Ницце. — Если на то пошло, то я вам скажу, что это вообще безобразие!.. Это не-порядок, — поправился Альфред Исаевич. — Я реши-

тельно настаиваю на том, чтобы к концу месяца я имел экспозе.

— А если в нем будет какая-нибудь приличная роль, вы мне ее дадите?

— Посмотрим, посмотрим. Я, быть может, где-нибудь вам найду роль второй перспективы, hopeu, — говорил, успокаиваясь, Пемброк. — Я это называю ролями второй перспективы.

— Поңимаю. Это как на хороших пароходах третий класс из вежливости называется туристским, — сказала с сердитой шутливостью Надя.

IV.

Обсуждение сценария было назначено на пятницу. Но накануне Делавар заявил, что нельзя начинать дело в тяжелый день. Альфред Исаевич был удивлен, впрочем скорее приятно. Он никак не думал, что его новый компаньон суеверен; эта черта, как ему казалось, что-то смягчала в «дельце с головы до ног», каким он считал Делавара. Сам Пемброк был *esprit fort*, ни в какие приметы не верил, и это вызывало у него чувство превосходства.

— Почему же вы собственно считаете, что это начало дела? — спросил он. — Дело уже давно начато. Кстати, наш великий писатель все еще не удосужился написать экспозе до конца. Вы ведь знаете, он требует, чтобы часть фильма состояла из чтения спикера! Он уже со всеми спорил и всем смертельно надоел. Разумеется, ни о каком чтении речи быть не может, но он опять будет приставать с этим на заседании. Чудак! Его пьеса отличная, и он сам хочет испортить все дело.

— Мне он вообще не очень нравится, ваш Джек-сон.

— Ах, нет, он прекрасный и культурнейший человек, я его сделаю замечательным сценаристом, вы увидите! Он через год будет получать в Холливуде полторы тысячи долларов в неделю! Но он чудак!

— Что ж, вы даете роль этой его даме? Кстати, я ее еще не видел.

— Кажется, придется дать, — сказал со вздохом Пемброк. — Эту кость, может быть, придется ему

бросить, пусть она участвует, нам нельзя с ним ссориться... Ну, хорошо, так перенесем заседание на субботу? Но если вы, Делавар, спросите еще какого-нибудь астролога, и он вам скажет, что и в субботу начинать нельзя, то заседание состоится без вас.

— Нет, в субботу я буду рад вас видеть, — ответил Делавар, довольный шуткой об астрологе.

В субботу с утра Альфред Исаевич почувствовал себя нездоровым: стал кашлять и разболелась голова. Он не был суеверен, но был очень мнителен. Тотчас слег в постель, вызвал врача и решил отложить заседание. Звонил всем по телефону и первым позвонил автору, раньше даже, чем Делавару: интеллигенция шла впереди буржуазии.

— ...Нет, серьезного, Виктор Николаевич, кажется, пока ничего нет, — стонал он в аппарат. — Но все-таки надо быть очень, очень осторожным. Сегодня вести заседание я и не мог бы. Перенесем на понедельник... Нет, в понедельник опять тяжелый день, Делавар не захочет, будь он проклят. Так во вторник, в пять часов у него.

— Да, все-таки что же у вас такое?

— Сильный жар, боюсь, что доходит до ста. Термометр показывает 37,8, но я их европейский счет забыл. Вы не знаете, сколько это?

— Это немного.

— Может быть, для вас немного, — обиженно возразил Пемброк, — а для меня очень много. Еще хорошо, что у меня сердце, как у молодого человека! Мне сам Мак-Киннон сказал, что в жизни не видел такого сердца... И подумать, что Сильвия сидит в Сильвия Хауз и не знает, что у меня 37,8!

— Какая Сильвия?

— Моя жена, — еще более обиженно объяснил Альфред Исаевич. — Конечно, если это не пройдет, я пошлю ей телеграмму, чтобы она приехала. Но она от

испуга с ума сойдет! Она и то не хотела отпускать меня одного в Европу.

— Во вторник так во вторник. Альфред Исаевич, значит и Надя может приехать?

— Она может приехать только как ваша невеста. Если б я даже дал ей маленькую роль, то это еще не резон, чтобы она участвовала в заседании, артисты, играющие незначительные роли, на заседание не приглашаются. Из артистов вообще будет только... — Пемброк с почтением в голосе назвал знаменитую артистку, которой он за участие в фильме платил восемь миллионов франков. — Больше никого. Приглашены к Делавару вы, она, Луи и этот новый фактотум Делаvara Норфольк... Хорошо, пусть Надя приедет, но только как ваша невеста. И, пожалуйста, не говорите в студии, что Надя будет, а то они меня съедят. А когда артисты злы, то все идет к собакам... Так во вторник. Извините меня, мне очень трудно говорить. Кланяйтесь Наде. Конечно, если, не дай Бог, я не правлюсь, то я вам дам знать.

Альфред Исаевич поправился, телеграмма в Сильвиа Хауз послана не была, а для верности всем приглашенным были отправлены пневматические письма, подтверждавшие, что заседание состоится в пять часов у Делаvara и что после заседания будет обед в ресторане Лаперуза.

Надя очень волновалась. Все спрашивала Виктора Николаевича, как надо одеться, как будет одета знаменитая артистка, наверное ли и ее приглашают на обед. Она должна была приехать к Делавару одна: Яценко, как всегда, проводил день в студии. Немного волновался и он сам.

Его пьесу уже читали почти все участники заседания. Альфред Исаевич сказал, что, быть может, на заседании еще раз очень кратко все изложит. — «Рассказывать надо тоже к и н е м а т о г р а ф и ч е с к и, вы едва ли могли бы рассказать так, как

нужно специалистам», — объяснил он Яценко. На самом деле Пемброк опасался, что автор будет рассказывать содержание своего произведения два часа.

Из студии Яценко выехал на заседание в автомобиле с режиссером. Они уже были довольно хорошо знакомы. Виктор Николаевич оценил познания мосье Луи, его трудолюбие и любовь к делу. Все больше убеждался в том, что в кинематографической среде, о которой он слышал и читал столько дурного и смешного, было очень много прекрасных, честных и даже даровитых людей.

Мосье Луи был образованный человек, знавший на память тысячи стихов, и классических, и новых. Он писал и сам малопонятные стихи, их изредка печатали в передовых изданиях. В молодости мосье Луи был артистом, но успеха не имел. У него была очень короткая шея, голова казалась приставленной к плечам, и это затруднило его актерскую карьеру. Как многие не очень даровитые артисты, он стал режиссером. Тут особенность его наружности, напротив, была благоприятной, — создавала впечатление силы, которой он на самом деле не обладал. Из театра он перешел в кинематограф, так как в театре ему платили до смешного мало. Мосье Луи был бескорыстным человеком. Он рассказывал Яценко, что его предок по матери, Дюкро, был в восемнадцатом веке учителем в России, затем, вернувшись на родину, стал якобинцем и нажил большое состояние поставками в пору империи. «Это наше богатство продержалось несколько поколений, затем, как водится, растаяло, и я унаследовал от его создателя только безотчетную любовь ко всему передовому», — сказал он. «Если вообще существуют подлинные идеалисты, то он, конечно, к ним принадлежит. Он любит только искусство и не мог бы жить без сцены или студии», — думал Яценко. Но он все не мог понять, знает ли толк в искусстве мосье Луи. С одной стороны, то, что нравилось режиссеру,

нравилось самым известным писателям Франции. С другой же стороны, именно это и было несколько подозрительно. В искусстве мосье Луи ненавидел или презирал все, что в передовом кругу было принято ненавидеть или презирать. Многим он, как казалось Виктору Николаевичу, восхищался чуть преувеличенно: «Так люди с чрезмерным жаром восхищаются, например, красотами Сиены или произведениями Жироду, хотя действительно в Сиене многое прекрасно, а Жироду был талантливый и особенно изобретательный человек. И признает Луи либо самое последнее слово, либо то, что было написано двести-триста лет тому назад. Поставить пьесу начала двадцатого века ему верно показалось бы столь же диким, как приобрести для справок словарь, вышедший пятьдесят лет тому назад. Но может быть, я так думаю потому, что он о «Рыцарях Свободы» говорит довольно холодно, особенно за вином.» Мосье Луи пил редко и не очень много, а когда выпивал, то угрюмо говорил, что еще, быть может, скажет слово, настоящее слово.

Охотно, по своему выбору мосье Луи ставил лишь очень сложные пьесы, которые восторженно расхваливались частью критики, неизменно проваливались и очень быстро снимались с репертуара. Впрочем, у публики и критики эти провалы способствовали престижу мосье Луи, создавая ему ореол человека, опередившего свое время и стоящего выше толпы. Однако антрепренеры держались другого мнения. Изредка он и им предлагал такие пьесы. Так, одну из них предложил Пемброку тотчас после того, как с ним познакомился. Как и другие «продюсеры», Альфред Исаевич сценарий отклонил, но, по своему обычаю, принял виноватый вид. — «Это, конечно, чудная вещь, и я понимаю, какой шедевр вы из нее сделали бы! Но что же мне делать, если вы опередили свое время на тридцать лет! Вы не можете себе представить, как

косны и инертны массы!» — горестно сказал он, и опять его система оправдалась: мосье Луи не обиделся или почти не обиделся и даже не подумал, что вся французская кинематографическая промышленность захвачена иностранцами. С годами он потерял надежду реформировать кинематограф. Ставить ему приходилось всевозможный вздор. Он старался облагородить то, что ставил, и кое-как создавал настроение, — тут помогала погода: в некоторых его фильмах, происходивших на берегу моря, все время шел дождь, иногда мелкий, скучный, осенний, иногда с молнией и громом.

О «Рыцарях Свободы» мосье Луи говорил мало и повидимому неохотно и, хотя ничего нелестного не говорил, вид у него бывал такой, точно он «резал правду-матку». Это задевало Виктора Николаевича особенно в связи с их очень добрыми личными отношениями. «Конечно, все мое ему не нравится потому, что никаких трюков у меня нет. Видит Бог, трюки выдумывать очень легко. Их беда в том, что через десять-двадцать лет они становятся нестерпимыми. От Жироду почти ничего не останется, тогда как Толстой, Пруст, даже Чехов почти вечны. Правда, я никак не Чехов», — тотчас поправлялся Виктор Николаевич. Впрочем, у мосье Луи всегда при разговорах с людьми, от которых он хоть сколько-нибудь зависел, был такой вид, будто он сейчас уйдет, хлопнув дверью. Виктору Николаевичу нравилась эта его черта независимости, нравился и сам мосье Луи, с его неподдельной и страстной любовью к искусству, хотя бы и плохому.

В гостиной своего номера Делавар принимал гостей с изысканной любезностью. О каждом новом госте швейцар сообщал по телефону. Мужчин, даже Норфолька, хозяин встречал на пороге, а к знаменитой артистке вышел навстречу в коридор и отвел ей кресло по правую руку от себя. «Прямо Людовик

XIV», — недоброжелательно думал Яценко. Делавар становился все более ему неприятен. Он сожалел, что «активизировал» этого человека в Лиддевале. Хотя тут некорректность была сделана им самим, а никак не Делаваром, Виктор Николаевич бессознательно ставил ему в вину черты характера и поступки банкира из «Рыцарей Свободы».

Пемброк измученным голосом объяснял всем, что, кажется, выздоровел, хотя врачи велют быть очень, очень осторожным. Знаменитая артистка занимала его разговором. Она старалась держать себя с чарующей простотой. Слава пришла к ней внезапно. Какой-то могущественный «продюсер» обратил внимание на красоту ее ног и ресниц. — «У нее ноги, как у Марлены!» — сказал он, и карьера артистки была сделана. Драматического таланта у нее не оказалось, но некоторые достоинства нашлись. Ноги и ресницы сделали ее знаменитостью, ее поцелуй, по фотографиям, был известен всему миру. Авторы сценариев специально придумывали сцены, в которых она могла бы как следует показать колени. Пемброк знал это, но, по своему целомудрию, старался об этом не говорить и ничего не сказал Виктору Николаевичу; как на зло, роль Марты была такова, что нужную сцену присочинить было нелегко. «Может быть, он сам догадается? Но если ему сказать, то этот сумасшедший может пустить в меня графином», — думал и теперь Альфред Исаевич. Он уже очень любил артистку, как любил всю свою «экипу». Артистка и в самом деле была мила. У нее даже не было мании величия. Все не могла привыкнуть к своему счастью.

Надя пришла последней. Ее появление произвело некоторый эффект. На лице Делавара тотчас появилось покорно-рыцарское выражение. Он почтительно представился Наде. («Опять стал трубадуром!» — с досадой подумал Альфред Исаевич). Знаменитая артистка впилась в нее взглядом: стара-

лась понять, кто это, и почему ее пригласили на заседание. Надя, как всегда, была прекрасно одета по прошлогодней моде, и артистка, заказывавшая туалеты у знаменитых парижских портных, тотчас это заметила. На лице у мосье Луи было благожелательное выражение. Яценко был горд появлением Нади. Пемброк отечески потрепал ее по руке. Делавар пододвинул ей кресло по левую от себя сторону.

Угощение было именно такое, какое полагалось, ничего лишнего, ничего от рагуveni. Когда чай был подан, Альфред Исаевич постучал ложечкой по чашке. Он вел заседание по-английски: и артистка, и мосье Луи владели английским языком: как все кинематографические деятели, они собирались побывать в Холливуде.

— ...К сожалению, наш друг Вальтер Джексон, — сказал укоризненным тоном Пемброк, — все еще не сдал нам настоящего экспозе своей пьесы “The Lie Detector”. Мы все читали эту пьесу, она превосходна, это маленький шедевр. Дивный диалог! Я не сомневаюсь, что и пьеса будет иметь огромный успех, которого вполне заслуживает. Но, во-первых, я не театральный, а преимущественно кинематографический деятель. Во-вторых, я уже приобрел для театра другую пьесу нашего друга, а поставить в один сезон две пьесы одного автора невозможно. В-третьих же, как всем известно, пьесы имеют неизмеримо больше успеха на Бродвее, если они предварительно стали известны публике как фильмы. И вот мы все настойчиво просили нашего друга дать нам экспозе сценария по его замечательному произведению, но до сих пор такового не получили. Или, может быть, нас ждет сегодня приятный сюрприз, — спросил с улыбкой Альфред Исаевич, — и вы нам принесли экспозе? Вдруг вы приняли к сведению мои три предложения и кое-что уже набросали?

— Нет, я не принес и не набросал, — ответил Яценко. Пемброк тяжело вздохнул.

— Мои предложения сводились к следующему, — сказал он. — Первое. В пьесе есть одна превосходная мысль, брошенная так, наудачу, в двух строчках. Этот старик Макс говорит, что уже пробовал свой Lie Detector на сессии Разъединенных Наций во время речи Вышинского, и стрелка шаталась там, как бешеная! Всякому фильмовому деятелю ясно, как день, что тут материал для развернутой огромной сцены. Мы крутим эту сцену в Разъединенных Нациях! Разумеется, называть Вышинского нельзя по цензурным соображениям, но у нас будет просто делегат одной великой державы, все, разумеется, поймут. Гигантская идея! Подумайте, Разье... Объединенные Нации! Это величайшая идея нашего времени! И она еще ни разу в Холливуде не была показана!..

— Может быть, это тоже неудобно по дипломатическим условиям. Цензура не разрешит, — сказал мосье Луи по-французски.

— Не разрешит? — спросил Пемброк возмущенно. — Мне не разрешит? Fiddle-faddle! Fiddlestick! Смычок! — перевел он. Это маленькая тонкость нашего языка. Она значит «вздор». Не разрешат — это вздор. У меня огромные связи не только в Холливуде, но и в Вашингтоне. Я вам говорю, разрешат! Так вот, мы впервые в истории кинематографа крутим Объединенные Нации! Будет массовая сцена. Страсти, волнения, все накалено до-бела! Мировая трагедия! Рок войны! Грандиозные сцены! Со времени Сесилия Б. де Милля не было ничего подобного! Но вы знаете закон кинематографа: настроение должно меняться, как у Шекспира в «Гамлете», когда вдруг начинают шутить могильщики. И вот, пока на трибуне кипят страсти, один старичок где-то в галерее наводит на ораторов свой Lie Detector. Кучка бандитов ведет мир в пропасть своей ложью, и их ложь внезапно

обличается стрелкой Lie Detector'a!. Полный эффект неожиданности, разрешающийся здоровым смехом! В зале после трагического напряжения — гомерический хохот! Мы сослужим отличную службу и делу мира! Мы убьем этих людей сарказмом!.. А? Что? Что вы думаете, дорогой друг?

— Я думаю, что это совершенно невозможно, — ответил, сдерживаясь Яценко. — Я написал психологическую пьесу, не имеющую никакого отношения к политике. Объединенные Нации тут решительно ни при чем.

— Решительно ни при чем! Грандиознейшая идея нашего времени!

— Кроме того, позвольте вам напомнить, что мой Lie Detector просто фокус. У меня Норфольк незаметно передвигает стрелку, как хочет. Стрелка никак не может отклоняться от речи Вышинского, как бы он ни лгал.

— Fiddlestick! — сказал обиженно Пемброк. — Публика в такие детали не входит. Ведь это фильм, а не научный трактат. Разве вы Эйнштейн? Нет, вы не Эйнштейн. Но позвольте мне кончить, я делаю и второе предложение. Ваш фильм чудная вещь! Все ваши образы живые, как будто мы все их видели! Макс, баронесса, Марта, все они просто прелесть! Но один образ вам пока не удался, или не так удался, — сказал Альфред Исаевич и осторожно прикоснулся левой рукой к рукаву Яценко. У него на лице появилось выражение, одновременно мягкое, робкое, восхищенное и чуть-чуть неодобрительное, такое, какое могло бы быть у Эккермана, если б он решился сказать Гёте, что в «Фаусте» ему не так удался образ Вагнера. — Ваш барон не удался! Непонятно, что он за человек! Почему он бежит в Венецуэлу? Чего он так испугался? У него не было девяноста тысяч долларов? Вы все-таки не уверите публику, что муж

такой баронессы не мог достать девяносто тысяч долларов!

— Это, действительно, и мне казалось не вполне убедительным, — сказала с очаровательной улыбкой знаменитая артистка. — Легенда ваша, мосье Жаксон, прелестна, но он так испугаться все же не мог.

— Разумеется, не мог, — подхватил Пемброк. — А я вам объясню, почему он бежит. Ваш барон шпион!

— Это очень ценная мысль, — невозмутимо подтвердил Норфольк. Он очень веселился.

— Он шпион одной из разведок по ту сторону железного занавеса! Я уже об этом много думал. Ему те головорезы поручили выведать секрет нашей атомной бомбы. Атомная энергия — вторая величайшая идея нашего времени. В фильме будет один немец, ученый и благородный эмигрант, роль для Эрика Штрохейма. И у него в лаборатории находится циклофон, самый большой в мире циклофон.

— Циклотрон, — поправил Норфольк.

— Да, циклотрон. Мне сказали, что самый большой в мире циклотрон находится в Калифорнии у какого-то профессора Лауренса. Я найду ход к этому профессору Лауренсу, и он будет у нас консультантом! Пентагон мне разрешит снимать эту сцену на месте. В первый раз в истории кинематографа будет на экране показан величайший в мире циклофон! Ночная сцена. В лаборатории никого нет. Но в саду лает собака. Создается настроение. И вот, через забор в сад прокрадывается барон. Он знает, где лежат секреты циклофона. Собака с лаем поднимается. Барон выхватывает кастет и стремительно бросается вперед. Кстати, я почти сговорился с Н., — Альфред Исаевич назвал известного артиста.

— Как я рада, — воскликнула артистка.

— Он грабитель и хочет десять миллионов франков, — возмущенно сказал Пемброк и спохватился, вспомнив, что артистка получает восемь миллионов. —

Восемь миллионов я ему, пожалуй, дам, но больше ни сентима. У него рост шесть футов три дюйма и страшный sex арреал. Так вот он бросается на собаку. Вы помните, как Ларри Оливье в конце «Гамлета» бросается на короля? Мороз дерет по коже! А у нас будет еще страшнее! Потому что в «Гамлете» хоть маленькая часть публики знает, чем все кончится, а у нас никто ничего не знает. И так и не будет знать до конца; в этой сцене полутьма внезапно сменяется полным мраком, и вдруг обрывается лай собаки. Он ее убил мощным ударом кастета.

— А Марта знает, что он шпион? — спросила артистка. — По-моему, она должна это узнать. У нее будут расширенные остановившиеся глаза, и на лице полное, безысходное отчаяние.

— Тогда, может быть, было бы хорошо, если бы она в него выстрелила, — предложил Норфольк. — Во всей пьесе только один выстрел: это барон стреляет в фотографию. Этого, по-моему, мало: главное в пьесе всегда действие. У Сартра в "Les Mains Sales", когда поднимается занавес, на сцене револьверы; когда он опускается, на сцене ружья; а в середине действия бросается бомба. Кажется, так?

— И вот почему барон улетает в Венецуэлу, — сказал Пемброк. — Может быть, в самом деле Марта за ним туда последует и выстрелит в него. Иначе, действительно, моральное чувство зрителей не будет удовлетворено: этот прохвост соблазнил честную девушку, сделал несчастной жену, украл девяносто тысяч, и ему все сходит с рук! Но все это обдумает наша экипа. Вы согласны, дорогой друг? Это вас устраивает?

— Я не согласен, и это меня не устраивает, — ответил Яценко, стараясь говорить, а не шипеть. Он резко захлопнул свою тетрадь. Надя бросила на него умоляющий взгляд.

«Ох, тяжелый номер! — подумал Пемброк, — ничего не поделаешь, надо дать ему взятку».

— Разумеется, мы с вами будем все еще не раз обсуждать в ближайшие дни, и я уверен, что мы сговоримся. Теперь еще один, последний вопрос. В превосходной пьесе нашего друга есть одна очень маленькая женская роль. Это французская горничная баронессы. Я предлагаю увеличить эту роль. Эта горничная должна мурлыкать песенку. В хорошем фильме всегда должна быть музыка. У самого Максима Горького во всех его пьесах люди что-то поют. Помните «На дне»? Это одна из лучших пьес в мировой литературе, но без песни «Солнце всходит и заходит» она все-таки была бы не то.

— Мистер Джексон вполне последовал этому правилу, — невинным тоном сказал Норфольк. — У него барон и играет, и поет.

— И отлично, но надо, чтобы пела также и французская горничная, иначе у нее плохая роль. Теперь ведь мы крутим и французскую версию, так кого же она удивит, если будет петь по-французски? Помоему, ее надо сделать итальянкой. Почему у баронессы не могла быть итальянская горничная? Пусть она поет например «Санта Лучиа». Следовательно ей надо знать итальянский язык. К счастью, этому условию удовлетворяет наша милая, здесь присутствующая мадам Надин, — обратился Пемброк к Наде с любезной улыбкой.

— Я всецело поддерживаю это предложение, — решительно сказал Делавар. — Вы из небольшой роли с песенкой сделаете настоящий шедевр.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I.

Франк, падавший в течение долгих месяцев как будто без всякой причины, внезапно стал также без всякой причины повышаться. Вначале на бирже этому большого значения не придавали. Говорили, что правительство по политическим причинам искусственно поддерживает французскую валюту. Однако падение курса доллара все продолжалось. На бирже по привычке ругали правительство, национализации, социалистов, и говорили — особенно биржевики-евреи, — что Леон Блюм роковой человек (хотя Блюм давно не был ни министром, ни депутатом). Но говорили это так, вообще, без отношения к курсу франка. На людях все выражали радость по случаю того, что франк повышается: беспрестанное его падение вызывало большую тревогу, вело к государственному банкротству и в конечном счете никому выгодно быть не могло. Но говорили люди все это довольно грустно: кроме «конечного счета», почти у каждого биржевика был еще свой не-конечный счет, по которому выходило иначе. Затем найдены были объяснения: производство во Франции очень выросло, забастовки кончились, бюджет пришел в равновесие, урожай ожидается хороший. Правда, все это было известно и раньше, в ту пору когда франк падал, но все удовлетворились объяснением. По-настоящему были довольны только самые старые и опытные биржевики. Они знали, что повышения и понижения курсов на бирже не так уж зависят от

урожая, состава правительства, производства или забастовок, что рассчитывать и предсказывать в финансовых делах страны трудно, а надо обладать психологическим инстинктом и угадывать настроение. И действительно они настроение угадали и во время продали то, что нужно было продать, и купили то, что надо было купить.

Делавар ничего не угадал. Вначале он только улыбался: «Ну да, ну да, как же франку не подниматься, когда у правительства на носу кантональные выборы!» — говорил он тем биржевикам, которые верили в его гений и счастливую звезду. Сам Делавар специальной игрой на понижение французской валюты не занимался, и ее повышение его не разорило. Однако он потерял довольно много денег. Теперь подсчитывать, с карандашиком в руке, сколько у него капитала во франках, становилось неприятно. Так было и у других. Попрежнему люди бодро говорили, что это потеря чисто фиктивная, что ее надо приветствовать, так как она свидетельствует об оздоровлении французского народного хозяйства, и что скоро начнется соответственное понижение товарных цен. Но это никого не утешало. Товарные цены не понижались, да если бы они и понизились, то это для Делавара не имело никакого значения: ему было совершенно все равно, проживать ли полтора или два миллиона франков в месяц: его состояние прежде увеличивалось на миллионы в день. На бирже он все так же весело улыбался. Биржевики, верившие в его звезду, теперь поглядывали на него раздраженно. Один из них напомнил ему его прежние предсказания. Делавар, успевший о них забыть, очень обиделся. С другими же сошелся на том, что ругал Леона Блюма. Его на бирже разрешалось ругать не только справа, но и слева: лишь бы ругали.

Единственное выгодное дело, сделанное в эти месяцы Делаваром, было связано с фильмом. В это

дело он вложил своих около пятидесяти миллионов франков, и они обошлись ему всего в сто тысяч долларов. Прибыль, по общему мнению, ожидалась большая. Делавар теперь все больше интересовался кинематографом. Говорил даже, что съездит в Нью-Йорк и в Холливуд. Альфред Исаевич кивал головой. Делавар отдавал должное его опыту и знанию дела, хотя про себя думал, что Пемброк рутинер и слишком стар. Они ни разу не ссорились; трения, конечно, бывали, но всегда легко улаживались, — Альфред Исаевич знал, что большего в отношениях между деловыми компаньонами и требовать нельзя.

Своего образа жизни Делавар не менял, попрежнему тратил очень много, вел большую игру в клубе. Сократил он только пожертвования, да и то не очень: там, где это бывало связано с оглаской, жертвовал столько, сколько и прежде, во избежание слухов, будто его дела пошатнулись. Но как раз в тот день, когда доллар на черном рынке дошел до 350 франков, потеряв две пятых своей прежней цены, Делавар опять получил от Дюммлера сообщение, что Гранду удалось найти здание для «Афины». — «Оно гораздо лучше первого и за него просят именно пять миллионов, — писал Дюммлер, — а вы любезно изъявляли согласие дать приблизительно такую сумму. Я осмотрел дом, и мы были бы вам весьма благодарны, если бы и вы его осмотрели. Это дело спешное: Гранд обещал дать ответ не позднее четверга, так как есть и другие покупатели. По его словам, дом стоит много больше»!

«Ну, это они, голубчики, подождут!» — подумал, мысленно выругавшись, Делавар. Он действительно сгоряча согласился дать до пяти миллионов, но тогда это составляло меньше десяти тысяч долларов, а теперь около пятнадцати. «Да и вообще все это ерунда! «Афина» не растет, записываются старые девы, никакого

влияния она не приобретает, и дом им совершенно не нужен. Нужен только прохвосту Гранду».

Он вызвал Гранда по телефону и поговорил с ним грубовато, — как иногда умел. Говорил он из своего кабинета, так что секретарша разговора не слышала. Но когда она зашла в его комнату, то увидела на его лице то жесткое выражение, которое появлялось у него очень редко. Он и с ней говорил на этот раз хмуро, — так Наполеон мог отдавать приказания секретарям по получении известия о гибели французского флота под Трафальгаром.

Дюммлеру Делавар написал очень вежливое и любезное письмо: сказал, что при нынешнем положении «Афины» покупка собственного дома не представляется ему целесообразной. Дал понять и то, что он уже дал немало денег и что все расходы лежат исключительно на нем. — «Не поймите меня дурно, дорогой друг и брат, — писал он, — я попрежнему твердо верю в нашу идею, в идею «Афины», но отложим большие траты до лучших времен, довольствуясь пока нашим милым, хотя и скромным, помещением. Я уверен, что вы со мной согласитесь и на меня не разгневаются. Это было бы мне крайне тяжело в виду глубокого уважения и искренней симпатии, с которыми я всегда к вам относился и отношусь».

II.

“Ce procédé très simple a l'inconvénient d'astreindre à des conditions d'amorçage d'oscillation qui empêchent de se mettre dans les meilleures conditions de rendement, c'est à dire d'obtenir dans l'antenne le plus de puissance possible, pour une puissance donnée fournie par la batterie, la dynamo ou les redresseurs de courant, qui sur le circuit de l'anode, fournissent la puissance” . . .

Тони чувствовала, что все равно не поймет этой фразы, хотя бы провела над ней весь остаток жизни. Экзамен в школе, как все экзамены во Франции, был трудный. Практическую радиотехнику она усвоила недурно и даже составляла несложные приборы. Но нужно было выдержать экзамен и по теории. Знала, что никогда его не выдержит и, следовательно, не получит диплома. Фергюсон, которому она показала учебник, просмотрел его так, как люди читают газету. — «Что же в этом непонятного? Это простое популярное изложение», — сказал он. Ее самолюбие было задето, она ответила холодно. Он огорчился и обещал достать для нее другое руководство.

«Очень скоро не на что будет жить, — думала Тони. — Фергюсон скоро уедет. В сущности, он хотел бы иметь со мной до конца только платонические отношения... Или скорее полуплатонические, — думала она с той спокойно-торжествующей ясностью ума, которая у нее бывала после впрыскивания. — Тогда придется продать бриллианты!» В душе она давно знала: бриллианты будут проданы. «Я отдам наследникам деньги, но не все.

На какую-то долю я имею право. Кажется, при находке клада нашедший имеет право на треть. Я, конечно, трети не возьму, возьму десятую долю и, разумеется, так им и скажу, и они не только согласятся, но будут мне благодарны: это для них клад, свалившийся с неба подарок. Гранду я из этих денег не дам ничего, буду их от него прятать. И вообще все — все равно, ни в чем страшного нет, и в правде ничего страшного нет, какова бы она ни была... С морфием все равно, это высшее, самое счастливое, самое свободное из всех человеческих состояний. А они хотят, чтобы я от этого отказалась! Отказаться от этого то же самое, что отказаться от жизни... Никогда не поздно: под морфием жизнь всегда счастье... Дюммлер прав в том, что пути к счастью различны, несравнимы, неисповедимы. Прав и тот грек, о котором говорил Фергюсон: для богов все прекрасно, только люди думают, что одно справедливо, а другое несправедливо. Но пусть я «дегенератка»! Да, вероятно, у меня тяжелая наследственность, и уж в этом я никак не виновата... Гранд все врет, но если бы он в самом деле хотел отравиться, то я ему предложу морфий, и у него желание пройдет. Нет, я ни гроша ему не дам: не могу».

Гранд накануне приходил к ней, умолял достать для него еще денег, грозил покончить самоубийством. Она сказала, что у нее ничего нет. «Фергюсон не отказал бы еще в новом авансе, но этого теперь нельзя было бы даже назвать авансом: он и без того заплатил мне за три месяца вперед, хотя должен скоро вернуться в Америку. В последний раз дал со своей обычной корректностью, говорил: «разумеется, сделайте одолжение, сколько вам угодно», но на его лице скользнуло удивление. Нельзя еще просить. И незачем: Гранд устроится, такие люди никогда не пропадают, и он, конечно, в мыслях не имеет кончать с собой. Да, Фергюсон скоро уедет, он уже об этом

думает... Скажет, что выпишет меня в Америку, но не выпишет, и незачем мне туда ехать»...

Она опять углубилась в книгу. Рассматривала рисунки и схемы: какие-то шарики, треугольники, сплошные и заштрихованные линии, над ними спирали. Она долго смотрела на рисунок. Вдруг спираль превратилась в Гранда, и рисунок стал непристойным. «Так и есть, дегенератка!.. Все равно!..» Она поспешно спрята-
тала книгу.

III.

Фергюсон просмотрел в книжном магазине несколько книг по радиотехнике и выбрал самую легкую, без всяких математических формул. Ему было забавно, что могут быть трудные книги по такому предмету. Тони предполагала, что непонятливость понизит ее в его глазах (это впрочем и не очень ее беспокоило). На самом же деле ее неспособность к точным наукам казалась ему очень милой. Все строго-логичное и не должно было быть ей понятным. Она жила в не этого. Может быть, она даже была выше этого (как ни трудно ему было бы признать, что есть что-либо выше логической мысли).

Под разными предлогами Фергюсон больше не посещал заседаний «Афины»; ему даже было немного совестно вспоминать о них, особенно о ритуале. Тони тоже уделяла обществу меньше времени, чем прежде. Обычно они проводили вечера вместе. Обедали в ресторанах, и хорошее вино способствовало доброму настроению. Теперь они были почти *sorains*, — это слово приводило его в восторг своей неожиданностью, — тем, что он мог быть *sorain* с женщиной на тридцать пять лет его моложе. «Вторая молодость», — обычно в эти слова вкладывалась насмешка; он никакой насмешки в них не вкладывал.

За обедом они теперь говорили обо всяких пустяках, точно способность каждого к умным разговорам была уже вполне доказана и больше подтверждений не требовала; незачем было говорить о Достоевском. Часто ходили в театры и даже не всегда в

умные, передовые, где шли глубокомысленные или новаторские пьесы, — бывали на спектаклях легкой комедии или фарса, он хохотал и хвалил французское остроумие. Его веселый, милый, почти детский смех веселил ее, и она становилась очаровательной.

Иногда в театре или в ресторане он ее спрашивал: «Как по-вашему, этот господин на вид старше меня? У него больше седых волос?» — и с тревогой ждал ее ответа. Ответ обычно бывал утешительным, так как он спрашивал о стариках. Оба они смеялись. После театра, случалось, «по-студенчески» заходили в бар и у стойки выпивали по рюмке коньяку, — Тони объясняла, что после этого спит лучше. В гостинице швейцар радостно-благодарно желал им доброй ночи, а то, на началах полного — не гражданского, а человеческого — равенства, осведомлялся, в каком театре они были: в англо-саксонских странах, особенно в Англии, это было бы невозможно. С другой же стороны, он называл Тони “Madame” и не сказал бы ей, например, “sister”. Повидимому, швейцар не сомневался в том, что Тони любовница американца, и находил это вполне естественным.

Расставались они в коридоре у дверей. Иногда Фергюсон слышал, как она раздевается, слышал плеск воды в ванной. Это волновало его. Он вставал раньше ее, его комната убиралась тотчас, — он всем в гостинице щедро давал на чай. После того, как постель была убрана, он весело стучал Тони и приглашал ее пить кофе. Ему было немного совестно просить о продлении университетской командировки. Однако некоторая польза от нее была, и он знал, что ее продлили бы, даже если бы пользы не было: он считался гордостью факультета.

Затем что-то изменилось. Он сам не знал, что именно. Никакой ссоры, никакой размолвки между ними не произошло. Но их отношения стали как буд-

то натянутыми. Он приписывал вину себе и спрашивал себя, уж не охладел ли к Тони. «Нет, нет, это она стала другой. Ей теперь видимо со мной тяжело!» Тони в самом деле стала очень нервна; она и физически подурнела. Как будто убавилось у нее блеска, а резкость, и прежде так его огорчавшая, еще усилилась. Она больше не говорила ему любезностей, не называла его «небанальным человеком», что у нее было если не единственной, то высшей похвалой. Ее поступки стали еще более неожиданными, чем бывали раньше. Теперь он мог предвидеть: она сделает или скажет именно то, чего меньше всего можно было ожидать. Это было непонятно. Как человек строгой логической мысли, он не способен был входить в то, что казалось ему чуждым логике. Фергюсон, тонкий наблюдатель в лаборатории, очень немногое замечал в жизни, в людях, даже в женщинах.

Рядом с книжным магазином была кондитерская. Тони любила русские конфеты, называвшиеся пьяными вишнями, она так называла их по-английски. — “Avez-vous des cerises ivres?” — спросил он. Продащица изумленно на него взглянула, но когда он объяснил, что именно ему нужно, эти конфеты нашлись и здесь. “Les idées russes gagnent le monde”, — с улыбкой подумал Фергюсон, — «коммунизм, икра, пьяные вишни, балет».

На доске в гостинице ключа Тони не было. Она то оставляла ключ в дверях, то уносила его с собой. Ключ торчал в дверях ее номера. Фергюсон постучал, никто не откликнулся. Он вошел в комнату; они постоянно заходили друг к другу. Никого не было, он положил на стол книгу и конфеты. Осмотрелся: один никогда здесь не бывал. Дверь в ванную комнату, сбоку от ночного столика, была отворена, там виделось что-то белое, розовое. Ему вдруг захотелось туда войти. По всем его понятиям, это был и бес-

смысленный, и неприличный поступок. «Нельзя, это что-то патологическое!» — подумал он и, покраснев, подошел к порогу. Он не вошел в ванную комнату и отвернулся. На ночном столике, рядом с какой-то спринцовкой, стояла склянка с латинской надписью. Наверху этикетки крупными буквами было написано: «Опасно. Яд». Он чуть наклонился — и помертвел.

«Не может быть! — сказал он себе, вернувшись в свою комнату. — Не может быть!.. Но если это и так, то что же из этого следует? Верно, ей предписал врач!.. Конечно, ей предписал врач... Отчего же она мне не сказала? Женщины не любят говорить о таких вещах, зачем же она должна была мне сказать?» Он вспомнил, что настроение у Тони менялось беспрестанно, что иногда в очень дурном настроении уходила от него в свою комнату и скоро возвращалась неузнаваемой: веселой, оживленной, остроумной. «Нет, никаких сомнений быть не может!.. Но это просто болезнь, это ничего не меняет, как ничего не могло бы измениться, если б оказалось, что у нее болезнь сердца или печени», — говорил он себе. Понимал однако, что это меняет очень многое, меняет все.

Минут через пять он по телефону велел подать в номер кофе и коньяку. Чувствовал, что должен принять очень важное решение. «Тогда именно не надо пить... Надо обдумать, надо все обдумать. Я сам виноват... Это был не-джентльменский поступок... Не надо показывать вида... Ни одного звука... Я все обдумаю, не торопясь... Что если она сейчас вернется? Все было так хорошо... Уехать от нее? Не надо торопиться... Надо очень, очень подумать», — говорил он себе.

IV.

В студии уже была готова гостиная нью-йоркского отеля. Яценко решительно отказался сделать барона шпионом, и на этом чуть не произошла настоящая ссора с Альфредом Исаевичем.

— Вы губите ваш собственный сценарий, вы губите все дело! — кричал Пемброк. — Я уже велел Менцису устроить здесь чудный циклофон! Этот рутинер профессор Лауренс не ответил на мою телеграмму, ну, так он не будет консультантом и мы поставим циклофон в студии. Ну, так это будет не самый большой циклофон в мире! Ну, так он будет не совсем такой, как у Лауренса! Что за беда! Эти профессора такой же невыносимый народ, как писатели!

Позднее он несколько успокоился, но все же горько жаловался Наде:

— Тем хуже для сэра Уолтера! Я все сделаю в моем следующем фильме, и это будет грандиозный фильм, такой, какого человечество не видело со времен Сесилия Б. де Милля! В мире сегодня есть две грандиозные идеи: разложение атома и Разъединенные Нации! — сказал Альфред Исаевич. Он повторялся чаще прежнего, но теперь опять называл Объединенные Нации Разъединенными. — Я хотел их объединить в одном фильме, да что же делать, когда у них везде рутина, канцелярщина, красная тесемка! Все против меня: Делавар ведь теперь, оказывается, тоже что-то понимает в кинематографе и во все вмешивается! А моя нью-йоркская экипа не может тут придумать конфликта, а ваш сэр Уолтер артачится...

«Сэром Уолтером» Альфред Исаевич в последнее время называл Яценко, когда не называл его великим писателем.

— Обойдемся и без Объединенных Наций, — весело сказала Надя, — Но в этом следующем фильме я буду играть первую роль, правда?

— Может быть, вы уже хотите подписать контракт? — саркастически спросил Пемброк, впрочем все больше благоволивший к Наде; он часто с ней болтал и даже иногда советовался: оценил ее толковый практический ум. — А в Америку я вас повезу. На свой риск!

— Правда? — спросила Надя, вспыхнув от радости.

— Правда. И вы приедете к нам погостить в Сильвиа Хауз... Наденька, я из вас сделаю человека!

— Сделайте, Альфред Исаевич, сделайте, — сказала Надя. Она любила старика и редко на него обижалась.

— Вы думаете, что если есть талант, то этого уже достаточно на экране? Нет, *sugar plum*, на экране нужно, чтобы у каждого все было на своем месте. Как вам это объяснить? Вот, например, у вас чудные волосы, я редко видел такие красивые, — галантно вставил Пемброк, — но если бы эти волосы у вас росли не на голове, а на носу, то было бы нехорошо, правда? И еще одно: в кинематографе актер должен уметь работать ровно и очень быстро. Иначе он губит дело. Я вас научу нашим американским темпам, — говорил Пемброк, впрочем без большого убеждения в голосе: он не был уверен, что в Америке действительно существуют какие-то особенные темпы: напротив, ему часто казалось, что дела делаются в Нью Йорке и в Холливуде довольно медленно и что, когда нет войны и не строятся военные заводы, то никто никуда не спешит. — И вы увидите, что у нас будет колоссальный успех! На нас посыпятся всевоз-

можные Оскары! Но дело не в Оскарах, а в том, чтобы мы были довольны, чтобы вы были довольны, — сказал он, с таким видом, с каким Пушкин, быть может, писал: «Ты сам свой высший суд». Альфред Исаевич поглядывал на Яценко, который в этот день был с ним особенно холоден. — И мы, Виктор Николаевич, будем успехом обязаны прежде всего вам, вашему большому таланту. Разве я не понимаю, что в вашей идее сочетания рассказа с экраном есть зачаток будущего? Но вы должны понять, что принцип кинематографа в совмещении двух начал: во-первых, конфликт, т. е. напряженная трагедия, и во-вторых, промежутки здорового смеха. Если б в ваших «Рыцарях Свободы» было бы больше промежутков здорового смеха, то пьеса очень выиграла бы. Хотя она, разумеется, и так превосходна!

Яценко, ничего не отвечая, ушел в свой кабинет. Пемброк опять вздохнул. Хотел было даже постучать пальцем по лбу, но не сделал этого из уважения к Наде.

— Отчего он у вас такой, Наденька? Его погубит характер! Если бы не его характер, я тотчас бы подписал с ним контракт еще на два года, с жалованьем в тыс... в восемьсот долларов в неделю.

Надя чувствовала, что кое-что как будто может треснуть в ее отношениях с Виктором Николаевичем. Но, по своей жизнерадостности, она этому большого значения не придавала. Ей были ясны причины их расхождения, а когда все ей было ясно, она редко тревожилась. «Первое — он сердится, что я все прошу увеличить мою роль. И еще больше рассердится, если я настою на своем. Только при их мужском эгоизме можно не понимать, как это для меня важно!» Надя очень хвалила “The Lie Detector” и говорила, что он в этой пьесе перекликается с Мольером. Это слово она недавно вычитала у какого-то писателя

и часто его употребляла. Яценко находил его идиотским.

По второй причине их расхождения совесть у нее была не так спокойна: это было ухаживание за ней Делаваара. Делаваар не нравился Наде, хотя она говорила, что «обожает могущественных людей». Но ее карьера теперь в значительной мере зависела от него, он не раз небрежно замечал, что решил заняться кинематографом как следует, и значит мог быть ей полезен еще больше, чем Пемброк, который был стар и собирался закончить карьеру. Наде и в голову не могло бы прийти «продаться» Делаваару или кому бы то ни было другому. Все же ссориться с ним не следовало. Она принимала его ухаживанья весело, — «кокетничала»: знала, что никогда не позволит ни ему, ни себе пойти дальше, чем было допустимо. «Конечно, Виктору это не нравится. Но он должен был бы иметь ко мне больше доверия. Кроме того, он мог бы понять, что мне нужна карьера и что этот тип может быть мне очень полезен. И наконец, если ему это так, так неприятно, то он мог бы и сам положить этому конец, или еще лучше, потребовать от меня, чтобы я положила. Как это мне ни неприятно, я исполнила бы его требование», — со свойственной ей логичностью думала она.

Яценко действительно никогда с ней об этом не говорил. На Новый Год Делаваар послал Наде огромную корзину цветов. Виктор Николаевич только пожал плечами и сказал, что ничего не поделаешь, надо пригласить этого левантинского Наполеона на обед: «Тысяч восьми как не бывало: его в ресторан среднего ранга не позовешь», — сказал он равнодушным тоном, точно все было в деньгах. Они Делаваара пригласили, и Яценко был с ним очень любезен. Надя видела, что он злится, и это немного ее забавляло. Веселило ее и то, что выходило чуть похоже на «Рыцарей Свободы». «Ну, что ж, активизировал меня в

Лине, а его в Лиддевале, вот и напороочил, мы и активизировались», — с той же лукавой улыбкой думала она.

По ночам попрежнему был «медовый месяц». Иногда обоим казалось, что они страстно влюблены друг в друга. Но днем они встречались и разговаривали мало, хотя теперь оба проводили целый день в студии. Яценко не выходил из своего кабинета. Надя быстро подружилась со всеми, знала каждую мелочь в постановках, бегала из одного помещения в другое и имела очень занятой вид. Во избежание сплетен было решено, что она к нему в кабинет будет заходить редко: в студии не знали, что они жених и невеста; почему-то они никому об этом не говорили и просили Пемброка не говорить. Завтракали они в кофейне за общим главным столом, хотя там были столики и на двоих. Уезжали в пять часов, когда начинался общий разъезд, иногда в разных автомобилях. Вечером часто бывали в гостях или в театре. Раз два были у Дюммлера, которому Надя очень понравилась. Об «Афине» Яценко ей не говорил: понимал, что она вытаращит глаза и решительно ничего не поймет. Впрочем, он бывал в «Афине» очень редко.

Альфред Исаевич щедро заплатил Наде за исполнение роли горничной. У нее появились деньги. По утрам она приезжала в студию поздно: ездила по портникам и модисткам. Виктор Николаевич шутил, что у нее «обезьянья» любовь к вещам. — «Не к вещам вообще, а к красивым вещам», — обиженно отвечала она. Красивые вещи в самом деле доставляли ей почти физическое наслаждение. Через месяц, расспросив обо всем благоволившую к ней знаменитую артистку, она одевалась уже не по прошлогодней моде, а по самой последней.

Знаменитая артистка все еще была занята в другом фильме. Но сцены, в которых она не участвовала, очень быстро подготавливались и ставились. Мно-

гое мосье Луи заставлял разыгрывать по несколько раз. Как ни дорого стоила эта его требовательность, Пемброк ею восторгался: «Необыкновенно культурный режиссер! Он п е р е к л и к а е т с я с Рене Клэром!» — говорил Альфред Исаевич, слышавший это слово от Нади и тоже его оценивший.

Кинематограф раздражал Яценко, как его раздражали и его прежние занятия. Иногда он думал, что все фильмы ничего не стоят и что самые плохие из них это наиболее прославленные, так как они несколько лучше подделываются под искусство и поэтому больше ему вредят. «Многие находят, будто вред кинематографа в том, что в Холливуде сидят невежественные люди. По-моему беда, что они недостаточно невежественны! Им надо было бы каждый день выпускать фильмы с Лаурелем-Харди. Лично я ни разу в жизни и улыбнуться не мог ни от одного gag'a Чаплина. Его «Диктатор» точно такая же пошлость, как любой голливудский фарс. Но для мирового благополучия Чаплин необходим: тут и поломанный котелок, и драка, и глубокая идея, все за восемьдесят франков в партере».

Однако порою он понимал, что его раздражение несправедливо. И повторял себе, что нет ничего пошлее, чем «сатира на Холливуд»: она еще банальнее самого Холливуда. «Я не могу отрицать, что в кинематографическое дело вносится очень много ума, таланта, изобретательности. Не говорю уже о научных фильмах, о News reels, это лучшие создания кинематографа. Но и вообще разве Холливуд в своих драмах, в своих комедиях так уж отстает от театра? Может быть, и вообще мое представление об искусстве слишком узко. То, что мне в чужом искусстве нравится, в самом деле хорошо, в этом я, к счастью, вполне уверен. Но относительно того, что мне не нравится, у меня уверенности нет. Я не могу от себя скрывать, что в мое понятие о настоящем искусстве не входит

множество произведений, теперь считающихся шедеврами. “*Craignons de blasphémer la beauté inconnue*” — говорил Анатоль Франс. Я не имею ответа на вопрос, каковы признаки настоящего искусства. Конечно, и без этого можно заниматься искусством, — так все писатели и делают, но так делать не следует. В частности же театр, быть может, слишком искусственный жанр, вроде скульптуры памятников или батальной живописи, — думал он. — Точно так, как невозможен Наполеон, несущийся по «полю брани», как невозможен Петр Великий с простертой дланью, на вздыбленном коне, или поэт в задумчивой позе, окруженный на пьедестале музами или своими героями, — так же неестественны, банальны, почти нелепы и неизбежная «большая сцена второго действия», и остроумные отточенные диалоги французских драматургов, и разные сверчки, и рубка вишневых садов за сценой, и трогательные речи трогательных чеховских девушек, и даже монологи Толстовского Никиты. За два часа на сцене совершается больше событий, чем в жизни за десятилетие. Сцена всегда все огрубляет и не может не огрублять. Надо было бы писать пьесы как пишут стихи, писать такие драмы, которые в театре ставить нельзя. И тогда уже наверное можно сочетать сценический диалог с рассказом, ибо отпадает единственный довод против этого: опасение, что зрителю будет скучно. На самом же деле все, к несчастью, довольно просто: люди, связывая себя по рукам и ногам, пишут и сценарии и пьесы потому, что это привычный и при навыке довольно верный путь к деньгам и к известности. Создалась мощная машина для prostitution искусства, и почти все мы сознательно или бессознательно участвуем в работе этой машины... Да, как ни неприятно, но немного участвую и я. Моя вторая пьеса не лишена достоинств, но это, к несчастью, пьеса написанная для успеха, т. е. из често-

любия. Толстой говорил, что писать надо тогда, когда нельзя не писать, как нельзя не кашлять, если простужен. А разве я так пишу! Разве кто-либо вообще теперь так пишет! Да еще есть ли у меня что сказать? Во второй моей пьесе уже есть повторения того, что было в первой». Он, морщась, почему-то вспомнил о тех английских фразах и словах, которые вставил в русский текст пьесы. «Для этого были основания, но все-таки это гадко и увеличивает неестественность того, что я пишу. Единственное утешение: другие драматурги поступают еще хуже. Некоторые и не скрывают, что пишут ради денег, — я хоть отроду ради денег не писал. Другие продают свои романы, часто превосходные, для переделок в пьесу или в фильм, а затем проклиная театр и кинематограф, кричат, что их творения были кем-то изуродованы. Зачем же они продавались, если не для популярности и не для денег? Они скажут, что им нужно было «непосредственное общение со зрителями», «вибрирование аудитории», вспомнят что-то из древней Греции. Да еще большой соблазн для нас всех в так называемой новизне. «И долго буду тем любезен я народу, что звуки новые для песен я обрел». Едва ли народу нужна именно новизна звуков, он ее и не замечает, и нет ничего хуже умышленной новизны. Новизна приходит сама собой и почти никогда не приходит, если к ней стремятся нарочно. Всякое сколько-нибудь значительное произведение искусства пишется симпатическими чернилами: только настоящий читатель находит проявитель. Он поймет, что хотел сказать писатель, и то новое, что он внес, хотя бы форма новой и не казалась. Тысяча читателей найдется. И каждый писатель должен оставить хоть одну свободную книгу, и писать ее нужно всю жизнь, не заботясь о единстве настроения и стиля. Люди, создавшие чудесные средневековые соборы, обо всем этом и не

думали. Некоторые из зданий строились веками, каждое время вносило свое, и именно эти соборы самые прекрасные из всех...»

На полках кабинета мосье Луи были переплетенные тома его декупажей. От скуки Яценко просматривал один за другим. Были на полках также книги О-Нила, Клоделя, Жироду. «Разумеется, мосье Луи никогда в жизни не признал бы большим писателем ни одного из них, если бы они уже не получили признания от «элиты». Вероятно, всё это будет не сметено, а просто убрано временем, останется чисто-теоретическая известность и несколько строк в историях литературы, да и то больше по снисходительности историков и потому, что историк сам будет такой же мосье Луи».

Были на полках и те драматурги-реалисты, которых разрешалось ценить и «элите»: Бек, Порто-Риш, Жюль Ренар. У них Виктор Николаевич многим восхищался. Тем не менее почти всё казалось ему недостаточно значительным прежде всего по сюжету. Какое мне дело до бедного Пуаль де Каротта или до этой «Парижанки», так нехорошо обманывавшей своего мужа (почему именно она — парижанка из двух миллионов!) Правда, и то, и другое прекрасно написано. Да и о чем угодно другом, конечно, тоже можно было бы сказать: «Какое мне дело?» Но все-таки вольно ж им было останавливаться именно на этом! Как мы все, они заблудились в трех соснах искусства двадцатого столетия»...

Чтение отточенных и неотточенных диалогов с остротами, с каламбурами, с большой сценой второго действия, было утомительно. Романов в библиотеке мосье Луи не было. Но рядом с пьесами Жюль Ренара стояло переплетенное издание его Дневника. Яценко начал его читать — и зачитался. «Господи, насколько это лучше всего другого им написанного!» Человек писал пьесы по всем правилам драматургии, и была

недурная, но в сущности пустяковая литература. А стал писать это — и обессмертил себя. Быть может, лучшее из всего написанного людьми, писалось на отрывных листках записной книжки, без забот об издателях, читателях и потомстве?..» После этого интерес к “The Lie Detector” у него ослабел. Он, правда, говорил себе, что, если эту пьесу написал для успеха, то лишь с той целью, чтобы проникнуть в театр и создать себе имя: «А тогда можно будет писать так, как мне хочется... Впрочем, то же самое, вероятно, говорили себе вначале и другие драматурги, позднее ставшие ремесленниками по изготовке доходных пьес. Разумеется, я на это не пойду!»

Потеряв интерес к своей пьесе, он почти махнул рукой на сценарий и даже кое-что изменил в нем по желанию знатоков кинематографического дела.

Как-то раз в баре студии Яценко неожиданно стал подсчитывать, сколько денег у него останется перед возвращением в Америку. Оказалось, что останется не более восьми тысяч долларов. «Ну, что ж, этого, при скромной жизни, хватит года на два. Можно будет писать, не заботясь о заработке. А там будет видно. Если окажется, что вся моя литература ничего не стоит, то можно будет вернуться в кинематограф, или в ОН. И совершенно все равно: в кинематограф или в ОН, ибо и то, и другое вздор. Буду писать свободную книгу, быть может книгу отрывков».

Когда барман подал ему счет, Яценко вспомнил, что в этом своем плане и даже в денежном расчете он не принял во внимание Надю, точно никакой Нади и на свете не было. Это его поразило. «Разумеется, с Надей на восемь тысяч долларов прожить два года почти невозможно, но дело и не в этом. Она живая женщина, ей нужна работа, люди, деньги, успех. Я буду писать, а что будет делать она? Как же я мог об этом забыть! Неужели я разлюбил ее? Или я слишком стар? Да нет, вздор!» — с недоумением и почти

с ужасом думал он. «Нет, я люблю Надю, я очень её люблю, и как человека тоже... Правда, это подозрительно, когда начинаешь любить женщину «как человека». В ней п о ч т и ничего не изменилось. Единственное только, что она говорит теперь гораздо увереннее, чем прежде. Говорит о таких вещах, о каких прежде говорить бы не решилась... У нее появилась self-assertion. Но если и так, то что же тут собственно плохого и почему же это мне неприятно?.. Я знал женщин, которые очень любили своих мужей, но после их смерти скоро оживлялись и становились самостоятельными: мужья их подавляли. Уж я никак не собирался «подавлять» кого бы то ни было, а всего менее Надю».

Через несколько дней Пемброк, с которым Надя раза два разговаривала наедине, позвонил ей по телефону:

— Я нашел для вас выход, honey! — кричал он. — Великий писатель, наконец, одобрил весь декупаж. Все сносно, но я пришел к выводу, что вашу роль действительно надо увеличить. Убедите великого писателя, чтобы горничная была навеселе! Помните, что нет ни одной хорошей пьесы без подвыпивших людей! Это для актеров клад! Я даже сужу о них по тому, хорошо ли они изображают пьяниц и еще заик. Самая благодарная сцена у Хлестакова это когда он пьян. Что?.. Я не слышу!.. Почему у вас в Париже телефон работает не так, как в Америке?..

Надя передала Яценко совет Альфреда Исаевича, передала с осторожной улыбкой, снимавшей с нее ответственность. Виктор Николаевич холодно ей ответил, что увеличить роль французской горничной невозможно.

— Если хочешь, я могу сделать ее итальянкой, но я не вижу, где и почему она будет петь песенки.

— А можно ей быть подвыпившей?

— Это тоже было бы неправдоподобно, — ска-

зал Яценко, с неприятным чувством подумав, что у него и так есть в пьесе полупьяные люди и что он действительно отчасти руководился желанием дать благодарную сцену для актеров. «А мысль о волчице барона была навеяна легендой, о которой говорила Тони. Все время ворую у жизни. Проклятое ремесло! Разговариваешь с людьми и подсматриваешь: нет ли у них чего-либо такого, что пригодилось бы для «творчества». И так поступают, верно, все писатели, даже великие... Это как подслушивать у дверей или читать чужие письма!..»

Он увеличил роль горничной баронессы и очень себя за это ругал. Мосье Луи писал в день десять-двенадцать страниц декупажа. Они тотчас переписывались, переводились, рассылались агентам. Кое-что Яценко все-таки отвергал или менял. Раза два у него опять чуть не дошло до ссоры с Альфредом Исаевичем. Надя их мирила. Макс Норфольк в художественной части одобрял все и, видимо, веселился. Он был совершенно убежден, что все фильмы более или менее равны по качеству, и только удивлялся тому, что умные и образованные люди, как Джексон и мосье Луи, могут этого не понимать. Зато за расходами Норфольк следил очень внимательно: оберегал интересы Делаваара.

Благоволивший к Наде мосье Луи тотчас составил для нее номер декупажа. В ее комнатку поставили огромное створчатое зеркало, и она перед ним репетировала роль. В мастерской все относились к ней прекрасно. Роль горничной была так незначительна, что ни одна из артисток, участвовавших в фильмах Пемброка, ей не могла завидовать. Артистка, игравшая Марту и пока только изредка приезжавшая в студию, о б л а с к а л а Надю и давала ей советы.

Номер 56-ой шел одним из первых. Надя волно-

валась чрезвычайно. Ей дали лучшего гримера, все товарищи, мужчины и дамы, искренно говорили ей, что она очень хороша собой в платье горничной. Первая съемка была назначена в десять часов утра. Яценко занял место на верхней площадке у фонарей. Раздавались звонки, суетились техники, мастеровые, фотографы, налаживались аппараты. Всем этим, как капитан корабля в бурю, распоряжаться мосье Луи, которого в студии очень почитали и любили. За работой он был строг и смотрел на всех с видом полицейского, составляющего протокол шоферу.

Наконец, раздался протяжной звонок, какой-то свист, напомнивший Виктору Николаевичу дореволюционные русские вокзалы, кто-то страшным голосом прокричал "Silence!" и настала мертвая тишина. Надя в костюме горничной подходила украдкой к столику с напитками и, оглянувшись по сторонам, пила прямо из горлышка бутылки. Затем, понемногу пьянея, напевала "Santa Lucia".

Яценко смотрел на Надю и с огорчением думал, что таланта у нее нет. «Она кому-то довольно мило подражает. И, конечно, так будет и в других ролях. В роли Лины Надя была бы совсем плоха. Между тем, я никому другому эту роль отдать не могу. Бедная! Сейчас Луи ей скажет все это», — думал Виктор Николаевич, тревожно поглядывая на режиссера.

Однако, к крайнему его удивлению, Луи остался доволен игрой Нади и похвалил ее, — правда не очень горячо, — все знали, что очень горячо он никого не хвалит. Надя сияла. «Прекрасно! Превосходно!» — решительным тоном сказал ей Яценко. Ему было совестно врать, но он знал, что сказать правду было бы невозможно. «Неужто ему в самом деле понравилось! Ведь он на своем веку должен был видеть множество начинающих актеров! Или они все так привыкли к издевательствам над искусством, что потеряли последние остатки художественного чутья и вкуса?» Немно-

го поколебавшись, Виктор Николаевич попросил Норфолька узнать настоящее мнение мосье Луи. — «Спросите его, пожалуйста, от себя», — смущенно сказал он. — «С удовольствием! Непременно!» — ответил старик, глядя на него смеющимися глазами. Через полчаса он сообщил, что мосье Луи в восторге от игры Нади. «Еще нет, говорит, школы, но настоящий талант, самый настоящий талант!» «И я позволю себе всецело присоединиться к его мнению. Это самородок!» — сказал Норфольк. «Выражение у него довольно наглое — с досадой подумал Яценко, — Что же это все-таки значит: я ли ничего не понимаю, или они сошли с ума?»

Впрочем, мосье Луи номера 56 сразу не утвердил. Номер был поставлен во второй, в третий раз. Режиссер давал Наде указания, немного ее удивлявшие. Ей казалось, что она и в первый раз сыграла роль «с огоньком». Да и другие присутствовавшие на съемке лица не находили большой разницы между первым, вторым и третьим разом. Тем не менее мосье Луи повторял: «Вот теперь вышло уже много лучше». К полудню он объявил, что после завтрака съемка будет повторена в четвертый раз. Макс Норфольк только пожал плечами, зная, каких денег стоят все эти ненужные, почти ничего не меняющие повторения. Между художественным руководством и второй финансовой группой шла глухая борьба, не обострявшаяся оттого, что они встречались редко. Мосье Луи с мрачной шутливостью называл ее «борьбой льва с акулой».

Во время завтрака Норфолька вызвали из ресторана к телефону. Вернувшись, он объявил, что сейчас приедет Делавар. Это вызвало волнение. До сих пор он ни разу в студию не приезжал. Делавар был только вторым по важности человеком в предприятии: первым был Пемброк; но к Альфреду Исаевичу все успели привыкнуть, он был стар, добродушен и не

очень старался внушать уважение важностью. О главе второй финансовой группы ходили слухи, будто он гениальный делец с огромным будущим. Встретили его торжественно. Он быстро прошел по разным помещениям студии, как Наполеон перед выстроившимися на приеме людьми. За ним шел Макс Норфольк, с видом начальника штаба, почтительно представляющего императору незнакомых ему офицеров. Шли за Делаваром и другие высшие служащие студии (кроме режиссера), и у них при этом был тоже чрезвычайно почтительный вид. Это почти всеобщее пресмыкательство перед богатством чрезвычайно раздражало и мосье Луи, и Виктора Николаевича. Делавар изъявил желание присутствовать при съемке и с изысканной любезностью поздоровался с Надей.

Снова раздались звонки и свистки, засуетились люди, зажглись фонари, послышался дикий крик "Silence!". Надя опять проделала то, что ей полагалось. Делавар, отказавшийся от предложенного ему кресла, был в восторге. У него на лице была написана улыбка наслаждения, вроде той, с какой на объявлениях изображаются люди, пробующие новое мыло для бритья или патентованный бриллиантин. Он рассыпался в похвалах. Но мосье Луи, быть может, считавший необходимым подчеркнуть свою независимость, заставил проделать все в пятый раз. После этого номер был утвержден. Глава второй финансовой группы велел послать за шампанским.

В это время в студию приехал и Пемброк. Надя, высшие служащие, автор сценария, Норфольк были приглашены в кабинет режиссера. Там Делавар сказал очень милое слово. Все выпили по бокалу теплого шампанского и разбились на группы. Альфред Исаевич, бывший в особенно хорошем настроении духа, сообщил Яценко, почему-то вполголоса, что фильм

был им утром на прекрасных условиях запродан в Бельгию.

— Ах, как я жалею, что из-за этого я не попал к съемке Нади! Впрочем, теперь, может быть, уже нельзя называть ее Надей, а? Все говорят, что она играла как Кэтрин Хепборн! — с чувством говорил Пемброк, пожимая Виктору Николаевичу обе руки. — Кто говорит? Все! Делавар в совершенном восторге. Правда, его мнению грош цена, — шопотом поправился Альфред Исаевич, — но мне Луи сказал то же самое, а его мнение это не фунт изюма. Я скоро выскажу вам и свое мнение! — внушительно сказал он. В начале своей карьеры Пемброк еще чуть чуть сомневался в том, что он кинематографический гений, и даже иногда разговаривал с режиссерами и артистами не без тревоги: вдруг скажет что-нибудь такое, что подорвет его художественный авторитет. Но после тридцати лет почти непрерывных успехов его сомнения исчезли: он знал, что ни в оценке сценария, ни в оценке артистов не ошибается. — Дорогой мой, что «Рыцари», зачем вам «Рыцари», зачем вам театр, когда вы в Холливуде оба станете знаменитостями! Вы будете загребать деньги! Какой вы способный, талантливый человек! Это ваш первый сценарий, а вы сделали так, точно всю жизнь этим занимались! Комментарии излишни! Я вам говорил, что основа всякого сценария конфликт, и вы нам сразу дали превосходный конфликт, правда, не трагический. Камерный конфликт! Это тоже очень недурно.

— Я, может быть, и всю пьесу назову «Конфликт», — злобно сказал Яценко.

— А что вы думаете? Это не такая плохая мысль. Надо ее обмозговать... И вы знаете, эта мурлыкающая горничная, как я теперь вижу, это была тоже находка! Сам Шекспир вставлял в свои трагедии смешные сценки, чтобы дать зрителю передышку здорового смеха... Это я вам сказал — и что же; через неде-

лю вы мне приносите мурлыкающую горничную и вдобавок так хорошо, говорят, мурлыкающую! Bravo! От души вас благодарю!

— Не стоит благодарности, — отвечал Яценко, опять почувствовавший желание задушить этого человека. Он оглянулся на Делаваара, который с бокалом шампанского в руке, ласково улыбаясь, разговаривал с Надей. Она смыла грим, но еще была в костюме горничной.

— ...Эта сцена, когда вы с ненавистью смотрите на вошедшую баронессу сбоку! Изумительно! — говорил Делаваар. — Я в эту секунду понял, как я был прав, что занялся кинематографическим делом. Стоило хотя бы только для того, чтобы открыть такой талант! Теперь я займусь кинематографом вплотную. У меня в жизни девиз Сен-Сирской военной школы: «учись, чтобы побеждать...» А я понятия не имел, что вы хотите переехать в Соединенные Штаты, — говорил он. — Вот отлично! Мы ведь и все туда собираемся. За чем же у вас стало дело?

— Виза. Очень трудно получить визу.

Он расхохотался.

— Да отчего же вы мне не сказали раньше! Я позвоню, если нужно, президенту.

— Какому президенту?

— Президенту Соединенных Штатов. Это некий мистер Труман, — весело объяснил Делаваар.

V.

Тони провожала Фергюсона в Орли.

Пока он проделывал формальности, она вошла в бар аэродрома и купила плоскую дорожную бутылочку коньяка со стаканчиком. Фергюсон, прежде пивший мало, с некоторых пор стал пить гораздо больше. Купила еще у цветочницы букет. «Если я почувствую себя совсем плохо, что ему сказать?» — думала она. Уже несколько дней чувствовала желудочные боли и тошноту.

— ...Гранд, когда подносит дамам цветы, всегда объясняет их символическое значение, — с бледной улыбкой сказала она, отдавая ему подарки. — Я не знаю языка цветов, но если эти розы скажут вам, что я вам очень, очень признательна за все, то они скажут правду.

Фергюсон был тронут; знал и то, что триста франков имеют для нее значение. Ему было мучительно ее жаль.

Никакого объяснения между ними не произошло. Он сказал ей, что университет спешно требует его возвращения; убеждал ее переехать в Соединенные Штаты, говорил, что скоро сам опять приедет во Францию. Выходило противоречиво и неправдоподобно, он не умел лгать. Тони кивала головой и ни о чем его не спрашивала.

Не клеился разговор и теперь за столиком бара; оба поглядывали в сторону дорожек, ожидая сигнала. Фергюсон опять сказал, что они к о н е ч н о увидятся очень скоро.

— ...Этот ваш драматург Джексон уверяет, будто над всей Европой навис рок: рок американской визы. Будьте совершенно уверены, визу я достану, лишь бы вы согласились переехать. И насчет работы будьте спокойны, работу я вам легко найду... В Нью-Йорке... В моем маленьком университетском городке достать работу, конечно, очень трудно. Но это ведь совсем близко. Я приезжаю в Нью-Йорк раза два в месяц, а тогда буду приезжать чаще... Да, этот рок визы не так страшен.

— Помнится, он говорил о трех роках, — так же слабо улыбаясь, сказала она. — Нависший над всем миром рок войны, затем рок визы, а для очень многих и рок доллара... По поводу третьего рока: я вам еще должна деньги. — Он вспыхнул. — Вы мне заплатили вперед за три месяца, а я с тех пор не проработала у вас и трех недель. Но когда я взяла у вас, я не знала, что вы уедете так скоро. Мне очень совестно, что я не могу вам вернуть.

— Ради Бога! — сказал он. — Во-первых, вы мне ничего не должны. Я вам пришлю русские журналы, и вы обещали мне переводить и дальше. Скорее я буду вам должен... Я не решался вам это сказать, но если б вы мне позволили заплатить вам еще вперед? А то надо будет посылать вам плату через банк или по почте. Вы бы только избавили меня от лишнего труда.

— Я отлично знаю, что вам никакие переводы не нужны. Вы мне их давали из деликатности, — сказала она, глядя мимо его лица, в пространство. Прежде он в таких случаях оглядывался: нет ли кого-либо позади?

— Клянусь вам, что мне нужны переводы! — сказал он с преувеличенным жаром, не подходившим для таких обыкновенных слов.

— А если они вам нужны, то вы в Америке легко найдете какого-нибудь русского студента, который

будет переводить лучше, чем я. Я ведь в точных науках ничего не понимаю, вы могли в этом убедиться и по учебнику радиотехники.

— Вы переводите прекрасно!.. Дорогая моя, решите оставить вам денег, умоляю вас!

— Очень вас благодарю, но это невозможно... Давайте говорить о чем-нибудь другом, — с улыбкой сказала она и подумала, что его деньги могли бы быть для нее последней возможностью спасения. «Бриллианты придется продать через неделю... Нет, все равно, его переводы не выход». — Давайте говорить о чем-нибудь другом. Погода прекрасная, перелет будет легкий. Ведь вы летите семнадцать часов?

— Да, с двумя остановками: в Ирландии и в Нью-Фаундлэнде, — сказал он.

В эту минуту был подан сигнал к посадке. Оба они обрадовались и сделали вид, что настала тяжелая минута.

У барьера он поцеловал ей руку, затем быстро, со слезами на глазах, поцеловал ее, оглянувшись на других пассажиров. Никто не обращал на них внимания: все целовались. За барьер провожавших не пускали. Аэроплан стоял очень близко. Фергюсон быстро взбежал по лестке, — быстрее, чем сделал бы, если б она на него не смотрела, — и занял свое место. Поспешно смахнул слезы и с улыбкой неловко прильнул лицом к иллюминатору. Через толстое стекло было плохо видно. Она прошла вдоль барьера и остановилась против его окна. Оба с улыбками помахали друг другу рукой. И оба желали, чтобы аэроплан поднялся возможно скорее.

Когда аэроплан отлетел, Фергюсон прошел к умывальнику, — пить на людях ему было неловко. Он залпом выпил полный стаканчик коньяку и вернулся. «Несчастливая, трогательная, сумасшедшая женщина! — думал он, — Но я поступил правильно»... Ему было

очень тяжело. Быть может, единственным утешением и было то, что ему очень тяжело.

Аэроплан уже летел над морем, когда Фергюсон стал успокаиваться. «Как это ни гадко, алкоголь облегчает всё», — думал он. Он достал из несесера взятую на дорогу последнюю книгу журнала. Там была статья о применении атомной энергии для мирных целей. Она была не слишком интересна, все общие места. Но почему-то в этот вечер он читал статью с волнением. «Как это могло бы изменить всю нашу жизнь! Зачем войны, зачем революции, зачем международные трибуналы, когда благ будет больше, чем нужно человечеству? Это собственно и есть главная, чуть ли не единственная серьезная задача, ей стоило бы отдать жизнь», — подумал он.

Его поразила мысль, что он мог бы в своей лаборатории при помощи атомной энергии проделать основные химические реакции природы. «То, что Бертелло делал при помощи Вольтовой дуги. Для начала синтез ацетилена. Затем синтез угольной кислоты, альдегидов, спиртов, сахара, белка! Да, у нас кое-что делается в этом направлении, но так случайно и не систематично. А в Европе еще никто не может этим заниматься, у них почти нет наших источников атомной энергии. Ведь так можно создать новую химию! — думал он с сильным волнением. — Затем надо искать катализаторов, которые заставили бы атомную энергию действовать иначе: не скорее, а медленнее. Как их назвать? Замедлители? Отрицательные катализаторы? Или сокращением нескольких слов: Catalizer of atomic energy: C.A.E.? Я знаю, где их искать, и если удастся найти, то практическое значение будет огромным... Жизнь отчасти сводится к химическим реакциям. Если удастся их замедлить, то, быть может, это будет означать борьбу со смертью, ее преодоление!.. Она сказала: «Эти розы скажут вам, что

я вам очень, очень признательна за все»... Бедная, как ее жаль!.. А если вещества, подвергнутые действию атомной энергии, станут положительными катализаторами в реакциях природы? Если они заменят хло-рофилл? Тогда с акра земли будет собираться, быть может, больше хлебов, овощей, фруктов, чем теперь на тысяче акров. В Индии, в Китае, в России погибали и погибают от голода десятки миллионов людей. Наука не знает границ... Я пошлю Тони телеграмму из Шэннона... Все остальное это проблема распределения. Если же политики и экономисты не справятся с проблемой распределения, когда наука им даст неограниченные возможности производства, то, значит, их-то, а не японцев в Хирошиме, надо было истребить атомной бомбой»... Волнение его росло. К этим опытам можно было приступить немедленно. Он думал о том, каких сотрудников привлечет, как будет ставить опыты, сколько времени они продлятся. «Этому я и отдам остаток своих дней. Как мне это раньше не приходило в голову! Дюммлер говорил, что каждый человек сам находит с в о й путь к счастью, свой способ освобождения: общих способов нет. Я прежде не очень это понимал, как и многое из того, что он говорил. Теперь понимаю: мое освобождение в э т о м, и мой путь к счастью.»

Когда Тони вернулась в гостиницу, было уже темно. Она зажгла все лампы номера. Ее вещи были сложены. По счету было заплачено до завтрашнего дня. На следующее утро она переезжала в помещение «Афины». «Последний день их буржуазного комфорта», — думала она пренебрежительно, хотя расставаться с комфортом было не так легко. В той старой запущенной квартире на пятом этаже не было не только ванны, но и проточной воды.

Она не любила Фергюсона, но ей было очень

тяжело. «Он был совершенный джентльмен, все-таки это их буржуазное понятие хорошо и драгоценно. Друг и джентльмен. Много ли я видела в последнее время друзей и джентльменов? Дюммлер джентльмен, но не друг, ему девятый десяток, он скоро умрет, он меня не любит и остерегается. Говорил, что считает меня «способной, если не на все, то на очень многое». В этом он сходится с Грандом, которого так презирает. Фергюсон преувеличивал мои качества. Что-то есть странное в его внезапном отъезде. Мы просто были с ним в совершенно разных плоскостях, нам бывало скучно друг с другом, как мы ни старались делать вид, будто нам очень весело. А какая же любовь, когда людям скучно быть вместе? Все же, может быть, он был моей последней зацепкой в жизни... Или в самом деле пойти к ним?»

Она в десятый раз перебирала в памяти то, о чем думала: «За коммунистами правда, а главное, скоро будет и сила. Сила всегда со временем становится правдой, надо только продержаться. Если они победят, то кому придет в голову попрекать их преступлениями, все равно выдуманными, преувеличенными или действительными? То, что казалось преступлением, станет подвигом, будут говорить о величии их души: они не боялись проливать кровь во имя своей идеи, они брали грех на свою совесть... Повидимому, такова моя судьба, делать мне больше в жизни нечего»... На минуту ей пришло в голову, что это недостойно в отношении коммунистов. «Идти к ним оттого, что я морфинистка, что у меня никого и ничего нет, что я осталась без копейки, что иначе пришлось бы пойти на воровство».

Вещи уже были в чемоданах. Она выдвигала и закрывала один ящик за другим: не забыла ли чего-либо? Вытащила даже нижний ящик комода, выдвигавшийся очень туго. Это усилие ее утомило. Боль усилилась. «Странно, что уже с неделю не проходит...

Нет, к доктору не пойду, дорого», — думала она. Денег у нее оставалось тысяч шесть. Этого могло хватить при большой бережливости на десять дней. «И все-таки не надо было соглашаться на предложение Фергюсона... Завтра же возьму их из ящика и отнесу ювелиру. Нет, завтра нельзя. На этой неделе», — рассеянно думала она, наклонившись к верхним боковым ящикам. Комод был с зеркалом. Она увидела, что на лбу у нее вскочил прыщ. «Утром не было... Только что ли вскочил, или уже был, когда мы прощались?»

Последней она положила в чемодан книгу: ту самую, в которую никогда не заглядывала. Хотела было положить ее на дно чемодана. И неожиданно для себя, вдруг о чем-то подумав, села в кресло, открыла эту книгу на главе: «Первые симптомы отравления наркотиками». Тони пробежала одну страницу за другой, страшные слова мелькали у нее в глазах. Пробежав короткую главу до конца, она стала читать все снова, стараясь вдуматься по-настоящему. Лицо ее все бледнело.

«Теперь уж одна дорога, — думала она, когда понемногу пришла в себя. — Другого выхода нет... Да, перед ними стыдно. Какой-нибудь драматург, вроде Джексона, напишет об этом что-либо пошлое антикоммунистическое: вот, мол, с кем они работают! Эти глупенькие Джексоны думают, что мы нужны коммунистам! Нет, коммунисты нужны нам! Так вы, господа Джексоны, хорошо устроили мир! Пеняйте же на себя, что мы к ним уходим: вы нам чересчур противны, вы нас до этого доводите!» Все же мысль о том, будто ее кто-то довел до состояния, в котором она находилась, показалась ей неубедительной. «Просто здесь все слишком гадко и скучно... А может быть, эта проклятая книга преувеличивает? Ведь тот говорил, что они все преувеличивают, запугивают людей. А если правда, то тем более все равно: сознание по-

меркнет, ничего понимать не буду. Страшного нет. В жизни ничего страшного нет»...

И в самом деле с этого дня ее сознание стало омрачаться все более. Ее немногочисленные знакомые посматривали на нее с тревожным удивлением. Она не всегда их понимала, иногда по несколько раз в течение разговора повторяла одно и то же. Дозы морфия все учащались и увеличивались. Грезы после них становились все более реальными и занимали теперь большую часть ее дня и ночи. Самым лучшим ее временем теперь был поздний вечер: никто больше ее беспокоить не будет, делать больше ничего не надо, — только впрыснуть морфий. Ей казалось, что в пору этих г р е з она все лучше видит, лучше замечает, лучше понимает, чем в том состоянии, которое другие люди называли нормальным.

VI.

— Не могли ли бы вы изложить мне все это письменно? — спросил Норфольк.

— Письменно? Помилуйте, — зачем письменно? — сказал Гранд изумленно.

— Я вам сейчас объясню. Но не хотите ли вы выпить вина? Мой босс разрешил мне заказывать здесь в гостинице все, что угодно. Он очень щедр, мосье Делавар, это в нем подкупающая черта. За щедрость я прощаю людям все недостатки, а за скупость не прощаю им ни одной добродетели... Оцените этот мой афоризм, он сделал бы честь Оскару Уайльду... Не хотите выпить? Очень жарко, хотя только май месяц. Я пью белое вино пополам с ледяной водой. Ради Бога, не говорите, что разбавлять хорошее вино водой это варварство! Так говорят люди, не знающие ни химии, ни истории. В вине ведь все равно очень много воды, и Людовик XIV всегда разбавлял наполовину водой свои вина, между тем они у него были, надо думать, недурные и он знал в них толк... Разрешите вам налить? — спросил Макс Норфольк и налил Гранду вина из стоявшей перед ним бутылки. — Впрочем, если вы предпочитаете пить вино чистым, сделайте одолжение. Правда, недурное шабли?

— Очень хорошее, — сказал Гранд, широко улыбаясь и показывая квадратные зубы. Почему-то болтовня и особенно вид старика несколько его беспокоили. — В чем же дело?

— Что «в чем дело»? Ах, почему в письменной форма? Да. — Он задумался, внимательно глядя на гостя. — Вот в чем дело. Я плохо знаю французские законы, но наши американские, кажется, помню. По законам моего штата шантаж в письменной форме рассматривается как felony, а устный шантаж только как misdemeanor. В первом случае тюремное заключение много продолжительнее... Ради Бога не говорите: «Да вы с ума сошли!» или «Как вы смее-ете?». Не говорите также, что только мой преклонный возраст мешает вам раздробить мне голову. Кстати, возраст мой действительно преклонный, но я имею при себе эту штучку, — сказал Норфольк. Он небрежно вынул из кармана револьвер и тотчас положил его обратно. — Вы даже не могли бы донести, что я ношу при себе оружие: у меня есть разрешение. Видите ли, я сам когда-то служил в полиции, а полицейские всех стран объединились гораздо раньше и лучше, чем пролетарии всех стран. Они друг другу не отказывают в небольших одолжениях.

— А вы забавный старичок, — сказал Гранд. Он тотчас оправился от удара, и Норфольк, как знаток, это оценил. — Так вы решили, что я шантажист?

— Нет, дорогой мой, вы дилетант шантажа: разница громадная. Профессиональные шантажисты действуют иначе. Вы дилетант, хотя, может быть, и очень способный. Я нисколько не отрицаю: у шантажа великое прошлое и еще более великое будущее. На шантаже построена вся политика больших государств, только там он называется политикой силы. Что поделаешь, им можно, а нам нельзя. Разумеется, вы почти ничем не рисковали, предлагая мне, по вашему собственному выражению, выдать вам «слабые пункты кирассы» моего Ахилеса и поделить прибыль. При этом вы ничем не рисковали, так как наш разговор происходит без свидетелей. Но вы наняли сыщика для того, чтобы он следил за моим боссом. Забавно

то, что мой босс этого и не заметил, хотя ваш человек ходил за ним и прежде. Разумеется, я заметил его тотчас. Я навел справки, оказалось, что это не полицейский, что это частный заказ. Ну, хорошо, я ведь мог направить полицию по следам вашего частного сыщика. Его арестовали бы, он, конечно, объявил бы, что заказ дан ему вами. Полиция обратила бы на вас внимание. Согласитесь, было бы нехорошо. Ваше единственное смягчающее обстоятельство: вы не могли знать, что я имею отношение к полиции.

— А отчего бы вам и не принять мое предложение? — нерешительно спросил Гранд. — Может быть, я вам предложил недостаточный процент? Скажите откровенно: мы легко сговоримся.

— Не могу, дорогой мой, не могу. Я проделал множество профессий, но шантажистом никогда не был. На старости лет трудно начинать новую жизнь. Кроме того, босс отлично мне платит, и я ему благодарен. Очень сожалею, пожалуйста, извините меня.

Он весело рассмеялся. Гранд улыбнулся и закурил папиросу.

— Я рад, что вы такой веселый старик. Могу ли я узнать, чему вы так радуетесь?

— Можете узнать. Дорогой мой, да как это вас угораздило! Если есть в мире человек маловосприимчивый к шантажу, то это именно мой босс! Ему все равно, лишь бы был шум. Позавчера его какая-то темная газетка назвала финансовым кондотьером, он уже два дня ходит гордый, как Цезарь Борджиа. Нет, нет, у меня создается печальное мнение о вашем уме, дорогой мой. На что тут можно было рассчитывать?

— Если бы оказалось, что за ним есть грешки, то было бы на что рассчитывать, — сказал обиженно Гранд.

— Какие грешки? Что мог обнаружить ваш сы-

щик? Никаких предосудительных пороков босс не имеет. Допустим, что у него оказались бы три любовницы одновременно. Ведь это репутации человека никак повредить не может, разве только если он первый министр Англии. Нет, дорогой мой, вы совсем неопытный шантажист, уж вы на меня не сердитесь. Если бы дело было года два тому назад, то вам надо было бы раскопать что-либо по экономическому сотрудничеству с немцами. Таких случаев шантажа было великое множество. Но для этого никакой слежки на улицах не нужно. Да и потом это так устарело и надоело! Ну, торговал с немцами, кто же не торговал? Германские оккупационные власти тратили во Франции полмиллиарда франков в день французских же денег: куда-нибудь же должны были идти эти деньги, правда? Разница тут преимущественно количественная, а нравы в западной Европе мягкие, по крайней мере в отношении денежных людей. Все Робеспьеры давно казнены, и слава Богу. А те, что нажили на немцах побольше, те в громадном большинстве догадались в 1944 году спасти хоть одного еврея или социалиста. И притом все, работавшие на немцев, работали по принуждению, по одному принуждению. Да и надо же было, чорт возьми, промышленникам платить служащим и рабочим. О чем тут говорить? Так было всегда и везде. Даже в Англии было бы то же самое, если б немцы ее оккупировали. А на британских островах Ламанша, захваченных немцами, так именно и было. Следовательно, если б на моего босса и упало несколько капель золотого ливня, то петь он все-таки для вас не станет... В былые времена на пирושках гостей просили петь, никто, разумеется, не хотел, заставляли чуть не силой. Отсюда, повидимому, и пошло это выражение: *faire chanter*. Какой милый и шутливый французский язык! По-английски то же самое называется так грубо: *blackmail*. Кстати, в Англии за шантаж, кажется, полагается по-

жизненная тюрьма. Во Франции нравы мягче, все же, дорогой мой, зачем так рисковать? Зачем так рисковать, а?

— Меня ввела в заблуждение молва, — сказал Гранд. — Я не имел чести лично вас знать, но тоже навел справки, как, повидимому, и вы обо мне. Боюсь огорчить вас, однако из этих справок не следовало, что вы должны скоро получить премию за добродетель. Кто-то мне сказал: «Он такой же умник, как вы!»

— Может быть, может быть... Но мы с вами, так сказать, поляризованы в разных плоскостях. Ваш умственный свет поляризован в плоскости жулика, а мой в плоскости Дон-Кихота. Не думайте однако, дорогой мой, что я вам желаю зла. Помилуйте, теперь в Германии на свободе гуляют тысячи молодыхцов, которые в застенках собственными руками истязали, замучивали людей на смерть. И эти молодцы живы и здоровы, а после скорой неминуемой амнистии выйдут на свет Божий, будут заниматься политикой, если не в застенках, то в парламентах в ожидании новых застенков. А Россия? Говорят, там на службе у ГПУ состоят миллионы людей. Что же, казнить их всех после падения большевиков? Нет, громадное большинство будет тоже амнистировано — сказал он и с досадой вспомнил, что это говорит Макс в пьесе Джексона. — А если так, то что же я могу иметь против рядовых прохвостов?.. Виноват, против милых, симпатичных дилетантов шантажа. Не скажу, что решительно ничего, но я давно примирился с тем, что я мира не переделаю. Принимаю его таким, каков он есть! Благословлять не благословляю, а принимаю! Да, конечно, на свете есть множество людей в тысячу раз хуже вас. Живите на здоровье, дорогой мой! У вас наверное есть свои достоинства. У Стависского были, у Аль Капоне были... Выпьем еще, а?

— С удовольствием, — сказал Гранд. — «Проклятый старикашка», — подумал он впрочем без злобы. Ему даже было несколько смешно.

— Отличное вино... Конечно, вы не требуете от меня чувств, которые были бы характерны для первых времен христианства? Не скрою, если у меня представится случай сделать вам какую-либо небольшую неприятность, то я, может быть, от этого соблазна и не воздержусь. Но я это сделаю против убеждения, да и то не наверное... Нет, нет, никаких недобрых чувств я к вам не испытываю. Я даже готов был бы оказать вам услугу. Позвольте, например, дать вам совет: уезжайте подобра-поздорову.

— Куда и зачем?

— Куда вам угодно. Чем дальше, тем лучше. Например, в Каракас? Или в Эфиопию, а? Зачем?.. Видите ли, мне по знакомству показывали ваше досье. Полиция вами интересуется, дорогой мой. Говорю как джентльмен с джентльменом. Не скажу, что она о ч е н ь интересуется, но интересуется. Скорее всего, никаких мер пока принято не будет. Однако гарантировать ничего нельзя. Право, уезжайте. Подумайте, ведь мне все равно, останетесь ли вы в Париже или нет. Я и боссу ни одного слова о нашем разговоре не скажу. Я в этом деле лицо не заинтересованное. Вы ведь больше не будете делать попыток подкупить меня. Знаю, знаю, у многих людей есть такое убеждение, будто подкупить можно всякого человека. Это неверно. Даже настоящих злодеев не всегда можно купить, все зависит от формы, от дела, от риска. Ну, вот, я никак не идеализирую повешенных в Нюрнберге людей. Но если б, например, союзное командование предложило фельдмаршалу Кейтелю или даже Герингу миллион долларов за то, чтобы они умышленно проиграли войну, то те наверное отклонили бы это предложение. У всякого человека своя честь, прав-

да?.. И свое удовольствие. Jedes Tierchen hat sein Plaisirchen,*) — повторил старик свою любимую поговорку. — Не хотите больше вина? Конец бутылки приносит счастье.

— Выпейте его сами, — сказал Гранд, вставая и улыбаясь. — Прощайте.

— До приятного свидания, — сказал Норфольк, крепко пожимая ему руку.

*) У каждого маленького животного есть свое маленькое удовольствие.

VII

Постановка была кончена.

Актеры, техники, даже статисты приходили прощаться к Пемброку и благодарили его. Он тоже всех благодарил и обещал не забывать при следующих постановках. Фильм обошелся дорого, был большой перерасход, но Альфред Исаевич знал, что перерасход бывает почти всегда и в своих сметах даже принимал это во внимание: расход — такой-то, перерасход — такой-то.

Все же он любезно и ласково отклонял просьбы артистов повезти их в Америку. Туда отправлялись с ним только Делавар и его секретарь Норфольк, а также Яценко и Надя: да и то Виктор Николаевич ехал на свои деньги. Надя получила не «квотную» визу, а временную, на пять месяцев, и была этим очень разочарована. Пемброк утешал ее.

— ...Для начала вы осмотритесь. А если, как я надеюсь, вам у нас понравится, то мы как-нибудь с сэром Уолтером устроим вам и постоянную визу.

— Это я уже давно слышу.

— Darling, в один день ничего не делается.

— Альфред Исаевич, какой там «один день»! Я хлопочу уже почти год!

— Другие ждут и больше. А у вас вдобавок такое неопределенное семейное положение. Какой-то муж-большевик остался в России, жена едет без мужа. Когда же, наконец, вы получите развод?

— Надеюсь, скоро.

— Это я тоже давно слышу... Если б вы были же-

ной сэра Уолтера, все было бы в порядке, — сказал Альфред Исаевич, искоса взглянув на Надю. — Поверьте, мне было не так легко достать для вас и временную визу!

— Ведь ваш Делавар обещал позвонить по телефону президенту Соединенных Штатов! — саркастически сказала Надя. Альфред Исаевич рассмеялся.

— Он не очень «мой». Уж скорее «ваш», да... Надеюсь, вы ни минуты не верили, что он в самом деле может позвонить президенту! Мне он этого не сказал бы. Вообще, Наденька, — вставил Пемброк серьезно, — лучше держитесь подальше от Делавара. Я ничего дурного не хочу о нем сказать, но я старик и я вас очень люблю. Ваш сэр Уолтер сумасшедший, однако он очень порядочный человек, совершенный джентльмен. Выходите замуж за сэра Уолтера.

— А если сэр Уолтер не пожелает на мне жениться?

— Тогда и слепому будет ясно, что он сумасшедший.

— Какой вы галантный, Альфред Исаевич! Разведитесь с мистрис Пемброк, и я выйду замуж за вас.

— Нет, спасибо, я очень доволен мистрис Пемброк. У нее только один недостаток. Я очень гостеприимен, а она меньше, гораздо меньше. Кажется, у Лескова какой-то денщик говорит, что на свете есть только его барин и он сам, а все остальные сволочь.

— Спасибо, что предупредили. Вы, кажется, звали меня погостить в вашем Сильвиа-Хауз.

— Вы меня не поняли! Сильвия не считает всех других сволочью, избави Бог! — поправился Альфред Исаевич. — Но барин, то есть я, это особь статья... Ну, хорошо, моя милая, так готовьтесь к отъезду. Билеты нам всем обещаны. Делавар тоже едет. Помните то, что я вам сказал,

— Да что вы ко мне пристаёте с Делаваром! Мне на него, с вашего позволения, начихать.

— Не даю вам позволения, это уже было бы слишком. Во-первых, он ваше начальство, а во-вторых, вам Делавар может пригодиться. Пока он понимает в кинематографе столько, сколько свинья в апельсинах. Но все-таки вам надо поддерживать с ним контакт.

— То-то и есть, вы по крайней мере это понимаете, не то, что мой козырь! Контакт, но не слишком тесный, правда?

— Я таких вещей не говорю и не думаю, — целомудренно сказал Пемброк, не любивший вольных шуток у дам.

— Вы прелесть, Альфред Исаевич!

— Так что на меня вам не «начихать»?

— Как можно! Вы свой брат, русский интеллигент, — сказала Надя, зная, чем его можно подкупить. — И вы непременно поставите в театре «Рыцарей Свободы», и я завоюю Америку в роли Лины.

— Это мы еще посмотрим, *sugar plum*. Не хвались идучи на рать.

— А я хваюсь... Кстати, вы оплачиваете только мой билет в Америку?

— Я с радостью платил бы вам и суточные, но сэр Уолтер слышать не хочет.

— Об этом надо говорить не с сэром Уолтером, а со мной. Я пока не его жена, да если и стану, то *this is a free country*. Видите, как я хорошо произношу ти-эйч! А какие именно суточные, Альфред Исаевич?

— Скромные. Наденька. Убедите сэра Уолтера подписать со мной контракт в качестве сценариста

на два года, и я в виде взятки подпишу контракт и с вами.

— На каких условиях?

— На скромных. Вы еще не Грета Гарбо... А наш фильм уже запродан в пять стран! — весело сказал Пемброк. — Мы, конечно, повезем с собой ленту в Нью-Йорк. Все зависит от Америки.

— Все вообще в мире зависит от вашей Америки!

— И слава Богу! — сказал Пемброк.

VIII

Идея, пришедшая в голову профессору Фергюсону на аэроплане, оказалась превосходной. Он всю дорогу думал о ней, и у него сложился в уме план опытов.

В свой городок он приехал в одиннадцать часов утра. Предупрежденная им по телеграфу уборщица, работавшая у него много лет, оставшаяся у него после развода и всецело бывшая на его стороне против жены, чисто убрала его уютную квартиру, возобновила телефонное сообщение, пустила в ход газовый ледник. Они очень обрадовались друг другу. На столе стоял завтрак: *grape fruit*, ледяная вода, молоко, свинина с бобами, салат с майонэзом и ананасом и *Deer Dish Apple-pie*. Французы с высоты своего тысячелетнего авторитета могли с презрением относиться к американской кухне, но все это было свое, родное и, что бы там ни говорили, лучшее в мире.

За завтраком он болтал с уборщицей, узнавал местные новости, отвечал на ее вопросы, сообщал, что во Франции теперь есть и хлеб, и мясо, и фрукты, что о войне много говорят и никто серьезно о ней не думает, что Европа понемногу восстанавливается благодаря плану Маршалла. Уборщица все это слушала удовлетворенно, но неодобрительно отозвалась о легкомыслии парижанок и тревожно его спросила, уж не ел ли он там лягушек. Фергюсон уверил ее, что лягушек не ел, что обобщать ничего нельзя и что женщины в Париже есть, как везде, самые разные. При

этом вспомнил Тони, — здесь и это воспоминание не было тяжелым: с улыбкой представил себе ее в этой обстановке, в разговоре с этой уборщицей. Он был в восторге, что вернулся домой.

После завтрака Фергюсон сделал несколько визитов, затем заехал в лабораторию. Все оказалось в полном порядке. Он собрал главных сотрудников, вкратце изложил им свою идею и распределил между ними задания. Опыты начались на следующее утро. Результаты их скоро оказались чрезвычайно важными.

Фергюсон сделал сообщение на собрании химического общества, затем сам кое-как перевел текст на французский язык и по воздушной почте отправил знакомому академику в Париж. Тот в следующий понедельник доложил об его работах Академии Наук, и в “Comptes Rendus” появились три страницы, — предельный размер доклада. Успех был большой, тот самый ученый успех — у нескольких сот человек на земле. Очень скоро стали появляться дальнейшие сообщения, уже за общей подписью его и сотрудников: «Фергюсон и Блэк», «Фергюсон и Джонсон» и т. д. Как обычно в таких случаях бывает, в новую область бросились ученые в других американских лабораториях. Все корректно признавали его приоритет, подтверждали результаты его опытов, сообщали результаты своих. Европейские ученые таких опытов производить не могли, — у громадного большинства из них не было ни циклотронов, ни даже изотопов, вообще почти ничего не было. Но они чрезвычайно заинтересовались, посылали лестные письма, задавали вопросы. В ученых кругах говорили, что Фергюсон, вероятно, получит Нобелевскую премию. Даже недоброжелатели признавали, что он имеет на премию права.

По случайности он в это время получил отличие, не имевшее никакой связи с его последними откры-

тиями. В пору войны Фергюсон оказывал услуги французским ученым, бежавшим от Гитлера в Америку, и состоял председателем какого-то комитета; его участие в работах, закончившихся изобретением атомной бомбы, тоже стало известно в Париже. По несколько запоздавшему докладу, французское правительство наградило его орденом Почетного Легиона. Об этом в газетах появились телеграммы на первой странице: “French decorate American”. Репортеры появились в лаборатории, узнали о последних работах Фергюсона и, как водится, напутав, сообщили о них в печати с указанием его возраста, роста и веса. Об его исследованиях появились и серьезные заметки в воскресных приложениях больших газет. Условная, теоретическая известность у него была уже давно. Теперь к его славе, кроме Нобелевской премии, уже ничто ничего прибавить не могло.

Сам он думал об этом с улыбкой. По его мнению, в точных науках были работы гениальные, как, например, работы Эйнштейна, Майкельсона, Пастера, Генриха Герца, — были и просто счастливые, как открытие радия или рентгеновских лучей. Фергюсон и вообще не считал себя гениальным ученым, но мысль, пришедшая ему на аэроплане при чтении популярной статьи, уж никак гениальной не могла быть названа: она была именно счастливой. Он знал, что в молодости производил исследования, представлявшие собой значительно большее усилие мысли, — и они славы ему не приносили. Да и теперь, быть может, без Почетного Легиона его заслуги так бы и не стали известны широкому кругу читателей. Все же слава доставляла ему радость. Теперь он был уж вполне уверен, что нашел свой путь к счастью, — путь наиболее для него естественный: наука и труд.

Слава помогла ему и в деле визы для Тони. Он дал ей аффидэвит, достал еще другой от богатого

знакомомого. Все же формальности могли бы продолжаться довольно долго. Фергюсон съездил в Вашингтон, пустил в ход все связи, получил визу гораздо скорее, чем другие, и по тому, как его везде принимали, видел, что стал знаменитым человеком.

Мысль о Тони была ему тяжела. «Было что-то нехорошее в моем бегстве. Я займусь ею когда она приедет, но может быть займусь издали: сюда, конечно, ее не привезу, но устрою в Нью Йорке... Очень легко предоставить погибающему полное право и полную возможность погибнуть. Что же я мог сделать? И что же я могу сделать теперь?» Думал, что она, вероятно, нуждается. По своей щедрости, он охотно послал бы ей то небольшое, что было у него на текущем счету. Но по своему джентльменству, опасался, что в этом тоже было бы что-то не очень достойное, почти грубое, — «точно я откупаюсь!» Он написал ей сейчас же после приезда в Соединенные Штаты, написал очень мило. Ответа не было. Фергюсон знал породу людей, которые с легкой гордостью говорят: «Я никогда на письма не отвечаю». Тони к этой породе не принадлежала. «Сердится? Или с ней что-либо случилось? У же что-либо случилось?».. Он написал вторично, приложил работу для перевода и чек на довольно значительную сумму, много большую, чем нужно было бы для билета второго класса. Заодно известил ее, что виза ей послана американскому консулу, что работа для нее в Нью Йорке найдется. Хотел было написать: «Умоляю вас приехать», но подумал и написал: «Убедительно советую вам приехать».

Ответа и на этот раз не было очень долго. Письмо было послано заказным. Фергюсон был очень обеспокоен. Хотел было даже запросить по телеграфу Дюммлера, но в этом было бы нечто неловкое и ее компрометирующее. Тони несколько раз ему сни-

лась. Понемногу мысль о ней стала у Фергюсона почти навязчивой.

Политикой он больше не занимался. Уоллес совершенно его разочаровал. Теперь он интересовался планом Барука о контроле над атомной энергией. Об этом прочел доклад в Нью-Йорке, выслушанный с большим вниманием. Фергюсон подумал, что ему следовало бы прочесть такой же доклад и в Лондоне, и в Париже. Не мешало и подробнее ознакомить европейских ученых с его последними работами. Несмотря на свой еще увеличившийся авторитет в университете, он не хотел так скоро просить о новой командировке, — это было бы недобросовестно. Думал, что, быть может, летом съездит на свои деньги опять в Европу, — в душе чувствовал, что не поедет. «Что я сказал бы Тони? Притворялся бы, что ничего не знаю? Или читал бы ей безнадёжные проповеди?»

Месяца через два Фергюсон, наконец, получил от нее письмо. Она прилагала перевод, сделанный на этот раз совсем плохо, просила больше ничего ей не посылать, благодарила за визу и деньги. О приезде не сообщала ничего. Ему показалось, что почерк у нее стал шатающийся.

Это письмо совершенно его расстроило. В первую минуту он сказал себе, что в сущности мог бы быть доволен. «Теперь моей вины больше уж никакой нет». Потом он подумал, что жизнь его тоже «в сущности» кончилась. Фергюсону и раньше казалось странным, иногда даже смешным, что ему скоро будет шестьдесят лет. Он и до своей поездки в Европу иногда полушутливо называл себя стариком, и другие, особенно дамы, весело улыбались и протестовали. «Теперь и шутить не над чем. Кончена жизнь».

В эту ночь он видел Тони во сне, — их обед в Латинском квартале за бутылкой вина, слышал ее

смех, видел т о т ее жест (действовавший на него так же, как на Яценко и на Гранда). Проснулся он с жгучей сердечной болью. У него выступили слезы. Знал, что больше никогда ее не увидит и что никогда у него не изгладится воспоминание о ней. «Я как те четырнадцатилетние мальчики, которые хотели бежать в пампасы, но были пойманы и водворены домой... Путь к освобождению как будто найден, но пампасов никогда больше не будет»...

IX.

Тони долго читала и перечитывала первое письмо Фергюсона, рассеянно поглядывая на стоявший перед ней кофейник. Фергюсон часто пил у нее кофе и тревожно удивлялся тому, что она заваривала три столовые ложки на две чашки. — «Поэтому вы такая нервная, это слишком много», — говорил он. Тони и теперь слышала его интонацию: “much too much”. Он часто употреблял слово: “much” и разные выражения с этим словом, говорил: “much of a muchness”, “much cry and little wool”, “he is not much of a painter”... — «С ним все кончено, ничего отвечать не надо».

Утро опять было очень тяжелое. В кровати плакала, — вообще плакала редко. Решила вечером впрыснуть морфий, хотя в этот день по расписанию не полагалось. Затем оделась, достала из стального ящика ожерелье, перед зеркалом поправила брови, напудрила красные пятна на подбородке. Уже спустившись до площадки третьего этажа, заволновалась: закрыла ли газ, потушила ли папиросу в пепельнице, — вдруг пожар! Вернулась, — все оказалось в порядке, — опять начала спускаться и вспомнила, что ключ в двери повернула не двойным поворотом. Подумала (как все чаще в последнее время), что, кажется, сходит с ума, — и не поднялась. На улице она встретила средних лет даму, недавно записавшуюся в «Афины». Та как раз шла за карточкой и видимо хотела, чтобы секретарша поднялась с ней. Тони, плохо слушая, смотрела в пространство мимо лица этой дамы. «Не-

дурна собой... Папа говорил, что в Великороссии таких называли «стариковским утешением»... Чего ей надо?.. Что она говорит?»...

— ...Кажется, еще двенадцати часов нет, — сказала дама, напоминая, что приемные часы от десяти до двенадцати.

— Я ушла без десяти двенадцать. Нужно спешно отправить телеграмму, — солгала Тони.

Когда дама отошла с недовольным видом, Тони отправилась на почту и, войдя, вспомнила, что никому телеграммы отправлять не надо. «Ну да, я схожу с ума», — подумала она, соображая, куда же ей надо было идти. Вспомнила: тот ювелирный магазин находился недалеко от гостиницы Гранда. У нее задержалась в памяти надпись: «Покупка и продажа драгоценностей. Платят самые высокие цены»

В автобусе она растерянно взглянула на подошедшего кондуктора. — «У меня нет билетиков!» — сказала она таким тоном, точно совершила преступление и сознается. Затем поспешно вынула деньги из сумки. Кондуктор и соседи смотрели на нее удивленно. Автобус остановился у церкви. Она оглянулась, опять забыв, куда идет. Вошла в церковь, хотя уже несколько лет сочувствовала безбожникам (да и церковь была чужая, католическая, — ей все не-русское казалось враждебным). У входа под афишей с изображением молящейся женщины и с надписью “J’ai choisi Dieu”, продавались свечи. У нее почти не было денег, она спросила самую дорогую, в пятьдесят франков, и машинально сделала то, что делали другие: опустила руку в раковину, перекрестилась (православным, а не католическим крестом) и низко поклонилась. Засветила свечу от другой, стоявшей у нежно-голубого бархатного покрывала, на котором золотыми буквами было написано: “Ave Maria”,

вставила свою свечу в углубление рядом с другими и опустилась на один из маленьких соломенных стульев, странно выделявшихся своей убогостью в этой величественной, великолепной церкви с золотом, мрамором, бронзой, цветными стеклами окон. Людей было немного. Около нее молился нестарый человек без ноги, за ним женщина с ребенком на руках. Ей вдруг стало жаль и себя, и их, и всех людей. «А может быть, правда здесь? Может быть, уйти сюда? Может быть, выход в этом?.. Нет, теперь поздно... Нет, это прошлое... Будущее с теми... Адрес они нам дали. Пойти к ним? Но оттуда уже возврата нет... Я еще подумаю...»

Она зашла в магазин, и, как осенью в Ницце, попросила оценить ожерелье. Ювелир даже не вынул лупы.

— Я этим не занимаюсь. Думаю, тысяч пять вам дадут, — сказал он.

— Как пять тысяч?

— Может быть, шесть. Стекла сделаны хорошо.

— Что вы говорите!.. Разве это не настоящие бриллианты?

Ювелир взглянул на нее с недоумением.

— Конечно, нет.

— Вы ошибаетесь!

— Какое же тут может быть сомнение? Если б они были настоящие, они стоили бы миллиона три.

— Я именно отдавала их для оценки ювелиру в Ницце. Он так их и оценил в три миллиона.

— Это невозможно, — сказал ювелир, подняв брови. — Любой ребенок мгновенно признает, что бриллианты не настоящие. Вы спрашивали в ювелирном магазине?

— Да! Конечно!

— Вы ошибаетесь. Или же вы показывали не те камни, — сухо, подозрительным тоном, сказал ювелир. — Извините меня, я очень занят.

Она растерянно вышла из магазина.

В гостинице Гранда ей сказали, что он уехал, не оставив адреса.

Больше сомнений быть не могло. Она вышла из гостиницы. Не знала, что теперь делать, и чувствовала почти облегчение: «Не продала!.. Я не продала!.. Судьба... Во всем судьба... Нечего и думать о том, чтоб бороться с судьбой»... Вспомнила какие-то стихи о судьбе, тотчас ее оживившие. «Теперь все кончено, и слава Богу!»

Х.

Перед отъездом в Америку Яценко зашел к Дюммлеру. Он в последнее время редко видал старика. Знал, что дела «Афины» идут худо. К удивлению Виктора Николаевича, главной причиной полного упадка общества оказалась именно речь Николая Юрьевича. Она почти всех разочаровала и многих раздражила. Делавар говорил, что получено немало писем с отказами и даже с протестами. Новых же кандидатов было очень мало. «Затея оказалась мертвой. Старик взял не ту линию, какую надо было, — пояснил Делавар с усмешкой. — Жаль конечно, он возлагал на это дело такие надежды!»

На Avenue de l'Observatoire Яценко встретился с Дюммлером у подъезда его дома.

Старик возвращался с прогулки. На перекрестке остановился, передохнул, вынул из кармана письмо, хотел было еще раз прочесть адрес на конверте, но достать очки было слишком утомительно. «Нет, я правильно написал, — подумал он, опустил письмо в ящик и почувствовал удовлетворение: теперь их дело. Если я сегодня умру, она прочтет»... Николай Юрьевич пошел дальше очень медленно, сильно сгорбившись. Как бывает с очень старыми людьми, он физически вдруг сдал чуть не в несколько дней. Дюммлер опять не сразу узнал гостя, но когда узнал, с очень ласковой улыбкой пожал ему руку. «Весь как-то странно скрючен, вроде телефонной трубки», — подумал с болью в сердце Яценко.

По лестнице Дюммлер поднялся с большим трудом, шагая с одной ноги.

— ...А я к вам звонил, удивлялся, что не заходите, — сказал он, тяжело опускаясь в кресло. — Вас никогда дома нет. Я соскучился, — говорил он со своей обычной приветливостью, теперь еще чуть более равнодушной, старомодной и грансеньерской. «Сейчас вид совсем такой, будто вынет из кармана табакерку, да еще назовет ее т а б а т е р к о й», — подумал Яценко.

— Да, я весь день на службе, а затем все какие-то дела, никому ненужные свидания или длинные скучные обеды. Возвращаюсь в такие часы, когда поздно было бы тревожить вас.

— Правда, я к вечеру теперь уж почти никуда не гоюсь... В четырнадцатом веке состоялось, — начал он с расстановкой и на мгновение остановился, — в четырнадцатом веке состоялось официальное свидание германского императора Вячеслава с французским королем Карлом VI. Император был запойный алкоголик, а король тихопомешанный. И придворные никак не могли устроить встречу: когда у короля светлый промежуток, император совершенно пьян; когда император в виде исключения трезв, у короля припадок безумия... Так очевидно, и мы с вами, — сказал, смеясь, Дюммлер. «Опять исторический анекдот, а я хотел поговорить п р о с т о», — огорченно подумал Яценко.

— Я приехал проститься, Николай Юрьевич. Послезавтра едем.

— Уезжаете в Америку? Рад за вас, огорчен за себя, — говорил старик. — А я погулял, то есть, точнее, посидел полчаса в Люксембургском саду. Каждый раз, как прихожу туда, подумываю, что, быть может, в последний раз: корабль уже вышел из Делоса... Не помните? Это из «Федона»: Сократ должен был уме-

реть в тот день, когда из Делоса вернется посланный туда корабль... Не подумайте, избави Бог, что я сравниваю себя с Сократом, но «Федон» именно та книга, которую мне теперь полагалось бы читать. Перечел. Да, многое хорошо, кое-что даже убедительно... Надо бы еще обойти старые кладбища. На некоторых лежат известные когда-то люди, с которыми или вблизи которых прошла жизнь. И их надо бы посетить в последний раз. Да, перечел «Федона»... У вас какая философия смерти? Верно, такая же, как у большинства людей: «никогда об этом не думать»?

— Я не знаю, кто и что мог бы предложить лучше.

— Можно найти лучше. Я и «Афину» основал для этого, — сказал Дюммлер. Виктор Николаевич смотрел на него удивленно. «Он все же несколько раз по-разному объяснял мне, зачем основал «Афину». — Не только для этого, разумеется. У китайцев есть изречение: «Знай, что уже поздно, очень поздно». Стараюсь не испортить некролога, тех десяти строк, которые обо мне поместит “Le Monde”... В таких случаях принято утешаться: «что ж, пожил достаточно, знал хороших людей». Действительно пожил и знал, да утешенье в этом слабое. Вот стал с немалым увлечением хвататься за всякие соломинки, вроде загробного существования. По-моему, закон сохранения энергии предполагает бессмертие души, как вы думаете? Пьер Кюри погибает под колесами грузовика, куда же девалась потенциальная умственная энергия Пьера Кюри? Но, к сожалению, меня не очень утешит бессмертие души в какой-либо термической форме. Или хотя бы и в психической, да не в м о е й.

— Вы оставите после себя ваши книги.

— Хорошо бессмертие! Во-первых, их давно никто не читает. А во-вторых, и ценного в них мало. Это Вальтер Скотт на смертном одре говорил, что ни

за что не желал бы выпустить ни одной строчки из своих писаний... Что ж, стараюсь верить и Платоновым доказательствам бессмертия. Помните, ученики Сократа на каждый его сильный довод говорят просто: «Да, это так», но когда его довод слаб, они с жаром восклицают: «Клянусь Юпитером, это верно!»... Деликатные были люди, деликатные... Изумительный человек был Платон, а все-таки до первых страниц «Иова», до Экклезиаста ему далеко. По силе и сжатости выражений с ними нельзя сравнивать и хоры «Царя Эдипа». Ведь там тоже, помнится, об этом, как во всех величайших произведениях литературы. «Экклезиаст», да еще, пожалуй, «Война и Мир» — единственные произведения, из которых нельзя выкинуть ни одной страницы.

— Из «Войны и Мира» можно выкинуть философско-исторические главы.

— Я говорю, конечно, не о них. А по общему правилу, из любой книги можно без ущерба многое выкинуть, имейте это в виду. («У меня надо было бы верно выкинуть три четверти!» — подумал Яценко, подавляя вздох). — Что до бессмертия души... Нет, не стоит говорить. Ах, мой друг, как жаль, как жаль, что эта камера смертников так изумительно прекрасна!

— Париж?

— Земля вообще. Я сегодня старался в п и т а т ь в себя всю эту красоту, «унести ее с собой». А к у д а унести? — спросил он, точно разговаривая сам с собой. — Ах, много у меня связано воспоминаний со всей этой частью Парижа!.. Сидел давеча в кофейной. Одно «утешение», тоже очень плохое: скоро и вспоминать-то будет некому... Простите, что говорю это: знаю, что не деликатно, а порою удержаться не могу. Да, да, жду смерти с л ю б о п ы т с т в о м, как говорил покойный друг мой Бергсон, так неудачно выбравший для нее момент: он, как вы помните, скон-

чался в худшее время всей французской истории... Я посетил его незадолго до его кончины... Скоро и мне предстоит удовлетворить это любопытство. Именно «нездоровое любопытство».

— Пишите воспоминания, — сказал Яценко. — Вы так много видели.

— Это правда. Видел многое и особенно многих. Следовало бы написать, конечно. Каждый человек может и должен написать воспоминания. Как бы изменилось, например, наше представление о Петре Великом, если б правдивые воспоминания оставил Меншиков. А автобиография Алексея Орлова, какая это была бы важная и страшная книга! Тогда, конечно, писать надо бы без оглядки на читателей. Вот как дирижеры: они, впрочем, принадлежат к худшим лицедеям искусства, хотя и дирижируют спиной к публике. Уж если писать настоящие воспоминания, то надо дать ключ к своей душе. Иначе это будет вроде знаменитой теоремы Фермата, к которой автор не дал ключа, и ключ затерян.

— Отчего же вы не пишете?

— Поздновато: именно не успею дать ключ... Старость сама по себе была бы еще не очень дурным возрастом: страстей больше нет, ума прибавилось, ошибок делаешь меньше... Вопреки принятому мнению, я сказал бы, что, чем дальше уходят воспоминания человека, тем они постыднее... Да, в «маловременной жизни света сего» старость вполне можно было бы претерпеть не без удовольствия, если б не разные немощи и болезни. Ну, что ж, с какого права требовать слишком многого? Коли есть какое-то бессмертие души, то, конечно, слава Богу. А нет, так желаю себе кончины по возможности не очень долгой. А то если буду долго болеть, то и ухаживать на третий день будет некому: в первые два дня будут забегать п о ч и т а т е л и. Ведь у меня еще несколько оста-

лось: как ни как, прожил очень долго *pro rege, lege, grege*, имею, значит, право на почитателей по выслуге лет. И на похороны человек двадцать все-таки придет, если будет хорошая погода... Умер бы я в моем родном Петербурге, было бы иначе. Может быть, моим именем даже назвали бы какую-нибудь улицу... Правда, позднее, лет через сорок, ее переименовали бы в честь какого-нибудь другого покойника... Говорят, люди живут для двух строк в этом словаре, — сказал он с усмешкой, показывая на лежавшую на столе толстую книгу в розовом переплете с черным тиснением. — Обо мне эти две строки давно есть: помнится, «Дюммлер Николай, русский теоретик анархии, родился в Петербурге (теперь Ленинград) в... Впрочем, не скажу в каком году: это слишком страшно... В следующем издании будет добавлено: «умер в Париже в 1950 году».

— Почему же именно в 1950-ом? Вы еще поживете.

— Какой-то 95-тилетний аббат представлялся Наполеону. Император пожелал ему дожить до ста лет. — «Ваше Величество, зачем же ставить пределы милости Господней? — сказал аббат... А я так стар, что сам себя в зеркало не вижу!

— Значит, вас зачислили в «теоретики анархии»?

— Так точно, — сказал Дюммлер. Он теперь говорил еще более обрывисто, чем прежде, точно у него и времени больше не было для разъяснения своих мыслей. — В этом отчасти верно только то, что я почти всегда и почти во всем на стороне трудящихся и угнетенных. Не потому что мой отец и дед владели крепостными, а хотя они владели крепостными. Оба были не злые люди, но... Не все ведь и наши крестьяне были Платоны Каратаевы... Привилегированные люди в мире обычно теоретически допускают необходимость некоторых социальных реформ, но в душе думают, что в общем все идет отлично. Я этого ни-

когда не думал: ни прежде, когда был богат, ни еще менее с тех пор, когда началась для меня эмиграция, “*cette indigne moitié d’une si belle histoire*”...*) Верно поэтому они меня сделали анархистом! Что за вздор! Помню, меня однажды выругала Луиза Мишель: «Какой вы анархист, Nicolas, и какой вы революционер! Вы скорее дилетант». Где это было?.. Все стал забывать... У кого-то из зажившихся на свете коммунаров? Может быть, у Вайана? А то у Рошфора в ту пору, когда он еще был левым? Покойная Луиза, милое было существо, именно и хотела меня ругнуть, а что это значит: дилетант? Буквально: *un homme qui se delecte*, наслаждающийся человек. Может быть, она и верно обо мне сказала. Мамонтов... Кажется, я вам как-то говорил об этом моем друге? — спросил он с беспокойством взглянув на Яценко: еще больше прежнего опасался, что все забывает. — Мамонтов прожил свой век и умер дилетантом.

— Я хотел бы прожить свой век, как вы, — с полной искренностью сказал Яценко. — И если это называется дилетантизмом, то пусть буду дилетантом и я.

— Вы? Полноте! Какой вы дилетант! У вас с Мамонтовым ни малейшего сходства нет. Он был прежде всего *homme à femmes*, отчасти как я, но еще больше. Для него весь смысл человеческого существования был в женщинах, в любви, обычно, хоть не всегда, полуромантической. Теперь и жизнь не такая. Дилетанты были возможны в мое время, еще больше в мамонтовское. А у вас есть духовная серьезность, высокая душевная тесситура, какой у Мамонтова не было. И уж дилетантизма у вас нет никакого. Вас ведь и жизнь заставила работать, вы мне говорили, чуть не с детства, с восемнадцати лет. Вы будете

*) «Эта дурная половина столь прекрасной истории».

работать всю жизнь тяжело и плодотворно. Станете большим писателем, прославите свое имя.

— Вы забываете, Николай Юрьевич, что и я далеко не молод. Правда, у меня треть жизни была вычеркнута большевиками. Мне иногда так жаль, не говорю, жаль только себя, тем более, что ведь я все-таки вырвался из клетки на свободу, а мучительно жаль всех, которые в клетке остались, жаль, что пропала их жизнь, дарованья многих из них.

— Кто это сказал: “Fate and the dooming gods are deaf to tears”...*) Из России идет волна глупости... Я где-то читал, что при Гитлере какой-то мальчик-вундеркинд выучил наизусть “Mein Kampf”. Мне иногда кажется, что и у нас в России происходит нечто сходное... Быть может, время поможет. Древние воздвигали статуи Времени: «тому, кто все исцеляет»... Жаль, что вы уезжаете, я так рад был нашим встречам и разговорам. Ваша невеста едет с вами?

— Да. Она тоже хотела нынче побывать у вас, но ее, апатридку, мучают теперь разными формальностями, буквально ни одной свободной минуты нет.

— Знаю, знаю. Нет ничего хуже и противнее, чем бегать по полицейским канцеляриям и присутственным местам. Это, пожалуй, еще тягостнее, чем посещать больницы. Передайте вашей невесте мой самый сердечный привет. Она теми своими качествами, которых у вас нет, будет вам и полезна в жизни. У вас нет локтей, Виктор Николаевич. Честолюбие, впрочем, у вас есть... Генерал Скобелев говорил какой-то французке: “Vous serez ma Joséphine”... Лучшей жены вы не нашли бы. Очень, очень она мила, ваша Надя. Ее род красоты: Матисс, но не поздний, вроде той “Dormeuse” с неправильным ракурсом руки. Ах, Матисс, — вздохнул старик. — Конечно, талант.

*) «Судьба и осуждающие боги глухи к слезам».

Если бы я был физиком, я измерил бы его красную краску в единицах длины световой волны, кажется они называются ангстремами? После нее цветущий мак представляется сероватым. А все-таки не очень это хорошо. Ренуар был последним великим художником... Да, передайте привет Кате и женитесь на ней поскорее. У нее и характер очень милый... Для всей современной молодежи характерна чрезмерная любовь к "fun". Это ничего хорошего миру не предвещает. И эта ваша Катя очень любит жизнь, свет, их радости... Очень они смешные и жалкие, нынешние молодые люди... А может быть, это у меня обыкновенное старческое брюзжание.

«Сдает Николай Юрьевич. Называет Надю Катей. Или он вспомнил кого-нибудь другого?» — грустно подумал Яценко.

— Что «Афина»?

Старик вздохнул.

— Тут и есть главное мое огорчение. Плохо дело с «Афиной». Ничего из этой затеи не вышло и не выйдет. Помнится, вы мне как-то сказали, что «Афина» вам напоминает Объединенные Нации. Или я это вам сказал? — Он засмеялся. — Сходство, конечно, небольшое. Вот как у вас в Соединенных Штатах бородатый донкихотообразный дядя Сам современных каррикатур не очень похож на бритого и никак не донкихотообразного американца наших дней. И тем не менее, в обоих случаях, какое-то малозаметное сходство есть. Даже и не разберешь, кто кого пародирует. И у них, и у нас собрались люди с бору, да с сосенки, совершенно различные по взглядам. Я тянул к идее рационального переустройства мира, Тони к какому-то мистицизму, другие к коммунистам, и были, кажется, просто аферисты, которых называть не буду, так как это только подозрения. Нет, уж мне-то во всяком случае не удалась 1001-ая по счету по-

пытка послужить картезианскому началу в жизни, как не удалась она — в несколько большем масштабе — и покойному президенту Вильсону. А тут еще мое вступительное слово. После него мы получили много писем с заявлениями о выходе из общества, оно, мол, стало антибольшевистской организацией. Формально эти господа отчасти правы: я действительно не должен был говорить о коммунистах, поскольку мы общество аполитическое. Но не скрою, я сказал эти несколько слов не случайно. Я рассчитывал применять наименее заметный способ отсеивания нежелательных групп: незаметно освободиться от попутчиков, от мистиков, от всяких сомнительных людей. Да, боюсь, много ли тогда останется в «Афине» народа? Нет, плохо идет это мое дело. Кандидатов мало, денег мало, докладчиков мало, а главное, я сам слишком стар. Поздно хватился переделывать мир. Может быть, и для меня это была последняя зацепка в жизни. Все же буду продолжать, пока хватит сил... А тут еще уход Тони. Она тоже после моего доклада была сначала со мной очень холодна. Я не удивился: она ведь левая до нестерпимости. И вот, представьте, на днях явилась ко мне, говорит, что была в восторге от моего выступления, что она ненавидит коммунистов! Тут же сдала мне кассу и взяла бессрочный отпуск: получила какую-то работу в провинции. Кажется, что-то с ней творится нехорошее. Уж не сходит ли медленно с ума? В ней теперь есть страшная привлекательность полусумасшедшей. Вдруг она именно на «Афине» сорвала душу? Всякое бывает.

— Ну, о ней я не очень жалел бы. А Делавар уезжает с нами в Америку.

— Знаю, он сообщил. Денег на дом «Афины» он не дал... Хорошее имя Делавар, оно так и просится для авантюры. А имя важная вещь. Например, человека с фамилией *Xaintrilles* и представить себе

трудно иначе, как рыцарем и сподвижником Жанны д-Арк... Вот вы в пьесе изобразили финансиста-циника. И вышло, извините меня, не очень своеобразно. Делавар, видите ли, делец-идеалист. Он и в самом деле идеалист, но не так, как он думает. Да, так передайте невесте мой сердечный привет. Ведь она поступила на службу к этому Альфреду... Как его? Кстати, вы не говорили с ним об «Афине»?

— Говорил. Слышать не хотел и даже испугался. «Помилуйте, говорит, зачем мне греческая богиня! Я, говорит, своим еврейским Богом в общем доволен, хотя он с нами в последние годы не церемонился. И тайных обществ, говорит, я терпеть не могу», — сказал, смеясь, Яценко. — Нет, он денег на это не даст. Но вот я, Николай Юрьевич, хотел перед отъездом внести свою лепту и привез вам чек на пять тысяч, вот он.

— Что ж, я не отказываюсь, спасибо. Понимаю, и вы разочаровались в «Афине» или, вернее, никогда не были очарованы? А молодежь все идет к коммунистам... Говорят, коммунисты исправятся! Не могут они исправиться. Обман и террор зародышевые болезни большевизма, а зародышевые болезни неизлечимы.

— Чем же, по-вашему, все это кончится?

Дюммлер развел руками.

— Я готов был кое-как предсказывать до того, как разложили атом. Теперь ни ума, ни фантазии у меня больше нехватает.

— Так скажите, Николай Юрьевич, лично обо мне: правильно ли я поступил, уйдя из Объединенных Наций?

— В кинематограф уходить не надо было. Эти Пемброки и Делавары, как школа меркантилистов 18-го века: те деньги привлекают к промышленности, а эти к литературе. Вы это преодолете. Повторяю, отчего

бы вам не перейти в Юнеско? Вдруг это теперь последняя надежда человечества: работа элиты над просвещением и воспитанием людей? Что бы там ни говорили скептики, это н а с т о я щ е е. Видите ли, в мои годы, да еще будучи stateless, можно расценивать события и идеи беспристрастно. Не знаю, не знаю, кому принадлежит будущее. Весь мой жизненный опыт убеждает меня в том, как был прав президент Линкольн: Он сказал: "I claim not to have controlled events but confess plainly that events have controlled me."*) Мы говорили о Тони. Она, видите ли, «бескрайная». «Русская бескрайность»! Странно, на моей памяти почти все было торжеством случая... Я знал на своем веку разных русских политических деятелей. В доме родителей я встречал сановников старого строя. Мать моя была одной из очень немногих дам, у которых в Петербурге бывали и правые, и левые. Из министров царского времени выдающимся человеком был Лорис-Меликов. Мамонтов как-то назвал его «великим человечком». Что же из этого? И более великие люди в конце концов были «человечки». Лорис принадлежал к большой русской государственной традиции, которая началась с Ордына-Нащокина, шла через верховника Голицына, через Сперанского, через него самого, и кончилась на графе Витте. Они отнюдь не были глубокими мыслителями. Они были просто умные люди с большим житейским опытом, исходившие из простой и как будто бесспорной истины: тысячи лет из истории народа не вычеркнешь. Поэтому они и хотели починить нашу вековую монархию. Лорису это могло удасться, так как Александр II сам так думал и был лучшим из русских царей. По роковой случайности, по одной из многочисленных

*) «Я не претендую на то, что я руководил событиями. Откровенно признаюсь, что события руководили мною».

роковых случайностей истории, это дело навсегда сорвалось 1 марта.

— Я думаю, вы гораздо лучше знали революционеров, а они много интереснее, — сказал Яценко.

— Именно потому, что я их знал много лучше, я не уверен, что они были м н о г о интереснее. Вдобавок у них действовал, если можно так выразиться, естественный подбор наоборот. Лучшие из них погибли, властью овладели худшие... Тоже могли не овладеть, но, кажется, ни у кого в истории не было такого дьявольского счастья, как у большевиков. Вот они и доказали, что Сперанские, Лорисы, Витте ошибались: из истории отлично можно выкинуть тысячу лет. Конечно, некоторая историческая традиция была и у них, но, что бы там ни говорили иностранные социологи, все наши классические писатели, музыканты, художники, за исключением разве двух или трех, были и в жизни, и в политике никакие не бескрайние, а очень умеренные люди: Ломоносов, Пушкин, Гоголь, Тютчев, Тургенев, Гончаров, Чехов, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков. И, быть может, они не хуже выражали русскую душу, чем Тони со Сталиным. Посмотрим, что создадут новые властители. Посмотрим, как они кончат. Вы помните, кто-то наметил человечеству путь: “from humanity through nationality to bestiality”. Я в такой путь человечества не верю. Мы верили в прямо противоположное, и я продолжаю верить. Но жизнь нас оставила в стороне от большой дороги истории. Нам с полным успехом вставляли палки в колеса и реакционеры, и коммунисты. А мы не вставили в колеса палок ни тем, ни другим, хотя это было нашей исторической задачей... Посмотрим, как справятся на западе... До сих пор они справлялись не очень хорошо, но и не очень худо. «Либералы» выиграли войну, и даже не одну войну, а обе. Клемансо и Черчилль ни в умственном ни в

волевым отношении ничего не теряют по сравнению с диктаторами самого хорошего, самого модного образца. Были выдающиеся люди среди нас и в России, но они вышли на арену в гораздо менее благоприятное время, чем англичане или американцы. А время «выхода на арену» надо выпрашивать у Господа Бога осмотрительно. Что, кстати, нам б о л ь ш е ставится в вину: то ли, что мы не умели проливать чужую кровь, или то, что мы не хотели проливать ее? Что ж делать, мы родились в один из кратких *lucida intervalla* человечества, точнее в единственную цивилизованную эпоху в его истории. Кажется, Вирджиния Вульф сказала, что человеческая природа изменилась в 1910 году. А она, голубушка, человеческая природа, решила с блеском показать, что и не думала она ни в каком году меняться. И самое страшное в ней, пожалуй, лицемерие. Мы все как те восточные проститутки, которые из стыдливости носят чадру. Была, была доля правды в том, что говорил мне один друг молодости: из джунглей вышли, в джунгли вернемся. Только теперь джунгли называются «освобождением людей от капиталистического рабства». Но это вопрос номенклатуры и педагогики. В новейшей истории большевики первые сказали миру, что с человеком можно делать все, решительно все, что угодно. Для известного исторического отрезка времени они правы. Однако я от матери унаследовал недоверие к скептикам и мизантропам. Конечно, две неслыханные в истории бойни на протяжении четверти века не могли иметь *happy ending*. Что вы сказали бы, если бы Шекспир закончил «Макбета» веселеньким балетцем?

Яценко вздохнул. Ему очень хотелось поговорить о себе, о своих планах, о своей книге, о том влиянии, которое оказал Дюммлер на ход его мыслей. Но он видел, что это не удастся: его собеседник был слишком поглощен своими мыслями. «У нас общая беда:

и ему, и мне не с кем говорить». Впрочем, старик сам подумал, что не дает гостю сказать слова.

— Простите меня, — сказал он, — в последнее время я все больше злоупотребляю монологами и, главное, как будто бессвязными. Этому я тоже, кажется, научился у Мамонтова. Он в молодости имел на меня большое влияние, хотя начал я жизнь почти с ненависти к нему. Я подражал ему во всем. Он часто бывал многословен, но бывала у него и *imperatoria brevitās*, мало свойственная ораторам и *causeur*'ам. Боюсь однако, что я заговариваюсь: ничего не хочу уносить с собой в могилу, а унесу много... В мои годы нужно тревожно на себя оглядываться: не выжил ли ты, братец, из ума? Что, я нынче не наговорил глупостей?

— Нет, я не заметил, — сказал, смеясь, Яценко. — Кем же он все-таки был, этот Мамонтов?

— Никем. Он был умнее многих прославившихся людей, но ничего из него не вышло. Впрочем, он и умер, по глупому выражению, «безвременно»... Французский король спросил герцога д-Юзес, отчего в их роду не было ни одного маршала. Тот ответил: «Государь, мы не доживаем: нас убивают на войне раньше». У Мамонтова были все шансы стать маршалом, если бы, при своих взглядах, он мог за что-либо воевать... А я вот и жил до смешного долго, но маршалом не стал. Жаль: хотелось бы узнать, как это себя чувствуют маршалы. Впрочем, вы Мамонтова не знали, и он вам совершенно не интересен. Как, вероятно, и все то, о чем я говорю.

— Мне чрезвычайно интересно все, что вы говорите, Николай Юрьевич.

— Вы очень любезны, — сказал Дюммлер. — Вы спрашивали об «Афине». Я и бываю там теперь редко, это помещение печально, как на море заколоченная на зиму гостиница... Очень милая, ваша неве-

ста, очень, — неожиданно сказал он, внимательно глядя на Яценко. — У нее могут быть некоторые небольшие недостатки, но ведь надо помнить и то, через какую школу она прошла. Ведь она советское дитя. Тут снисходительность обязательна.

— Снисходительность? — с недоумением спросил Виктор Николаевич. Ему было непонятно, что хотел сказать старик и зачем он это сказал.

— Ну, что ж, счастливого вам пути. Простите, что нагнал на вас тоску. Это мне в общем не свойственно. Как ни правдоподобно теперь к несчастью, что мир погибнет, мне не хочется расставаться с «просветленным состоянием», в котором прошла последняя и, несмотря на просветленность, худшая часть моей жизни. Просто душа этого не приемлет. После Дюнкерка и взятия Парижа теоретически все было почти кончено, но душа Черчилля и де Голля этого не приняла. Они все поставили на «почти», на «а вдруг», и спасли мир тем, что действовали вопреки рассудку. Тогда, правда, можно было надеяться на глупость врага, и эта надежда именно и оправдалась. На что надеяться теперь? Смысл жизни только в том, чтобы помогать *tuche* за счет *moïra*. И тут ни от какого орудия воздействия отказываться нельзя: Юнеско так Юнеско. Кинематограф так кинематограф... Наша главная надежда, наша единственная надежда: на «искорку». Какое счастье, что в душу человека заложена эта непонятная любовь к свободе и к правде! Искорка эта слаба, она еле заметна, она часто почти гаснет, она исчезает в одном месте и проскакивает в другом, но в ней есть своя огромная сила. Миру теперь нужно возрождение или, быть может, создание духовных ценностей, которых было мало у царей и революционеров, у Бисмарков и у Марксов. Уж лучше иметь спорные, пусть даже ошибочные, но не гнусные духовные ценности, чем не иметь никаких. Для меня

есть одна ценность и по сей день совершенно бесспорная: это свобода. Прежде я верил еще в другую, в человеческое достоинство, теперь, после всего пережитого, в нее верю меньше. Эти полторы ценности предполагают еще многое: не задавливать людей трудом, помнить, что и бедным людям хочется жить. Я теперь смотрю на жизнь немного со стороны. Сахарина, однако, терпеть не могу и в жизни, и в искусстве, и в философии... Прежде я еще мог писать... А теперь я, как люди, которые потерпели крушение и из спасательной лодки смотрят на встречный пароход. Я даже и сигналов не подаю. Пароход не видит и проходит мимо... До новых общечеловеческих катастроф я не доживу, передо мной уже вплотную не *tische*, а *moira* в виде удара или рака предстательной железы: вопрос только в том, что из двух придет раньше. Я уж предпочел бы воспаление легких... А то будет один из тех несчастных случаев, которые так часто происходят со стариками — упал, ушибся — и укорачивают их жизнь или умиранье. Был человек и нет человека. Смешно и гадко: меня иногда в мои годы еще тянет на какую-то работу! Случается, по воскресеньям злюсь, что нет почты. А иногда, напротив, думаю: «Слава Богу, до понедельника не будет ни одного письма». Вы видите, я «раздираем противоречиями», как пишут умные литературные критики о разных персонажах романов.

— Зачем же... — начал было Яценко, но Дюммлер перебил его:

— Сегодня я проходил мимо одного дома... Там жила женщина, которую я когда-то любил... Нет, все-таки неужто ничего не останется?..

У него вдруг выступили на глазах слезы. Он встал и обнял Яценко.

— Прощайте, дорогой мой, мы больше никогда

не увидимся. Помните, что надо все-таки принимать жизнь. Часто говорят: «Начинать все сначала? Нет, ни за что!» А я с великой, с несравненной радостью все начал бы сначала: опять старый Петербург, опять наш дом, и все «продолжение следует». Все принимаю, все! По завету Данта: *“alla Fortuna come vuol soi pronto”**)).

— И я был бы готов начать все сначала. Прошел бы снова через страшные советские годы, лишь бы снова увидеть Россию времен моего детства... И не что-либо там важное, основное... Я иногда вижу перед собой уголок Летнего сада — и на глазах выступают слезы. Тургенев где-то описывает природу «великорусской Украины». Мой отец был родом из тех мест, и он полушутливо говорил, что он не простит Тургеневу двух слов в этом описании: вишни будто бы там были «жидкие». Как сейчас помню, отец говорил: «А на самом деле таких вишен нигде в мире не было и не будет!»

— Да, это у нас у всех. К таким вишням и сводится понятие родины... На прощание же я хотел бы сказать вам одну вещь. Нет, не одну, а две. Первое: служите людям все-таки, служите добру все-таки. У вас в душе есть холод, который скажется на ваших произведениях. А в литературе, как в старинной энкаустике, качество достигается только прокаливанием красок. Прокалите вашу душу. И второе, помните пушкинский стих: «На свете счастья нет, а есть покой и воля»... В мою память повторяйте этот стих себе иногда и вы... Больше же всего оберегайте независимость своей мысли. В каждом художнике сидит льстец-Рубенс, хотя бы он угождал не власть имущим, а толпе, настроенной против власти, и угадывал, что ей нужно. Настоящие писатели и оплакивать обществен-

*) Я готов к Судьбе, чего бы она ни пожелала.

ные бедствия, человеческое падение, должны не так, как все, а по-своему. Вот как во Франции одни короли носили не черный, а фиолетовый траур.

Яценко вернулся домой расстроенный. Ему иногда, в добрые его минуты, приходило в голову, что с каждым человеком надо всякий раз расставаться так, точно его снова в жизни не суждено увидеть. Теперь же и в самом деле было очень вероятно, что с Дюмлером он никогда больше не встретится. «А в душе он у меня засел навеки. Если моя книга окажется романом, я его в ней выведу»...

Дома его ждала Надя, радостно возбужденная приготовлениями к отъезду. Он был утомлен и хотел отдохнуть, но оказалось, что это невозможно: надо было тотчас идти обедать, после обеда Надя должна была куда-то уехать.

В ресторане он сказал ей, что чувствует себя так, точно вернулся с похорон.

— Николай Юрьевич, конечно, прекрасный человек, — сказала Надя, — но все-таки, право, тебе надо встречать людей помоложе. Ведь он вдвое старше тебя. Чем мы виноваты?

— Да я тебя и не виню. К тому же, ты у него и не была... Он говорил, что твой жанр красоты: Матисс.

— Матисс? — с тревожным изумлением спросила Надя. — Да ведь у Матисса не женские лица, а какие-то перекошенные рожи!

— Не перекошенные, а «деформированные», — сказал Виктор Николаевич, засмеявшись. — Надо говорить «деформированные». И не все. И ты должна быть в восторге: это самое лучшее, что можно сказать о женщине.

— Правда? Сам-мое лучшее?

— Сам-мое лучшее.

— Я страшно рада. Ты ему передал мой сердечный привет? Я ему еще позвоню завтра утром, он страшно милый... А я сговорила с Американ Экспресс, они приедут за нашими вещами накануне отъезда. И представь, очень недорого: они считают за багаж по кубическим метрам... Не забудь кстати завтра купить ярлычки, у меня вышло восемь штук багажа. Это очень много?

— У Греты Гарбо, верно, не восемь, а тридцать восемь, — сказал Яценко и подлил себе вина. «Да, это и есть жизнь... Конечно, снисходительность обязательна, но мне и снисходительности не надо. Я люблю ее, — подумал он. — Я просто пропал бы, если бы она умерла или безнадежно заболела. Мы волнуемся обо всяких пустяках, когда большие несчастья так неизбежно близки, так страшно близки».

XI.

Сказали, что выйти из подземной дороги надо на площади предместья, затем повернуть направо, идти до самого конца широкой улицы, а у виллы номер 24, где в палисаднике будет стоять детская колясочка, позвонить три раза подряд, очень быстрыми короткими звонками. В руках держать зеленый кулек с апельсинами.

Тони казалось, что ее решение принято. Казалось также, что воли у нее больше нет: все решит судьба. Она побывала несколько раз у человека, которого в пору Résistance называли Блондином. Он не был ни французом, ни русским, она не знала, кто он такой; о нем в последнее время говорили таинственно, и это всегда влекло ее к людям. Он очень заинтересовался ею лишь тогда, когда узнал, что у нее есть виза в Соединенные Штаты. Дал ей открытку с каким-то вздором, все подробно объяснил; она дома записала, вызубрила наизусть и сожгла записку. Думала, что теперь уже поздно было бы отказываться, но думала также, что если б она отказалась, то никто не обратит особенного внимания: значит, не решилась, чорт с ней. Решила, что если ее примут, то она навсегда бросит наркотики. «Тогда будет другой смысл жизни, а érares им не нужны».

Незадолго до этого дня она побывала у Дюммлера. Он, как всегда, был очень любезен и ласков, но поглядывал на нее с беспокойством и спросил, не больна ли она. — «О, нет, я совершенно здорова», —

ответила Тони. На столе у него лежала немецкая книга «Мир как воля и представление». Слово «воля» ее заинтересовало, она попросила дать ей почитать.

— Это очень трудная книга, — сказал старик, — но, разумеется, возьмите. А я думал, что вы преимущественно читаете стихи? — Ему казалось, что стихи на нее действуют как орган на полумузыкальных людей. «Понимает ли она что-либо в поэзии, это другой вопрос. В известном смысле это, впрочем, лучше и реже, чем понимание. Вероятно, она без стихов и не могла бы жить. Поэты сами не знают, что они могут сделать с такими людьми». Тони скоро увидела, что взяла книгу по ошибке: в ней ничего не было о потере воли. Читать было не легче, чем тот учебник радиотехники. Вдобавок, и в книге Шопенгауэра были рисунки, какие-то схемы, полукруги, шарики с надписями: “*somptuosum*”, “*damnosum*”, “*periculosum*”. В кровати поздно ночью она все смотрела на рисунок и даже не старалась понять. Ей мучительно хотелось морфия. Так как твердо решила бросить тотчас после свидания на вилле, то приняла тройную дозу. «Под конец не все ли равно?»

На следующий день у нее с утра болела голова. Тони сварила себе кофе и не прикоснулась к нему. Правацов шприц лежал в стальном ящике. Она несколько раз подходила к ящику, один раз отворила его, там теперь лежали поддельные бриллианты. Вспомнила Гранда, подумала, что любила его, и почувствовала почти физическую тошноту. — «Нет, нельзя вспрыскивать так рано. Оставлю на ночь, иначе и не засну». Затем в памяти, как у нее часто бывало, образовался провал: позднее не помнила, что делала все утро, где завтракала. Почему-то провал относился лишь к половине дня. Под вечер она убрала храм. Опять много пыли скопилось между змеями статуи. «Как я могла серьезно верить во все это?»

Впрочем, я не очень серьезно и верила». Долго смотрела на одну из змей и вдруг отдернула руку с тряпкой. «Кажется, книга не лжет. Уже начинаются галлюцинации!..» Выпила воды, закончила уборку, выдвинула ящик. Там оказался звонок Кут-Хуми. Она позвонила, послушала, сначала с усмешкой: «Да, Гранд был прав: все дурачье»... Потом галлюцинация возобновилась. Она бросила звонок, прикрыла змею тряпкой, опять отдернув руку, села в кресло, у нее началось сердцебиение. «Звонок надо будет унести... А то оставить его Дюммлеру в подарок? Пусть любит своим детищем!.. Все дурачье. И все мерзавцы!»..

Ложась спать, она проверила открытку. Осматривала ее много раз, то отклеивала, то снова приклеивала негатив, — знала впрочем, что он сам по себе значения не имеет. В девять часов она вышла из дому, купила апельсины. Вернувшись домой, сделала кулек, зеленая бумага была ею куплена давно. Подумала, что в лавках никогда фруктов в зеленую бумагу не завертывают. «Скорее это может вызвать подозрение?.. Но им виднее, не их же учить! Обыкновенный кулек может быть у кого угодно, поэтому они и велели сделать зеленый». Затем вспрыснула себе огромную дозу морфия и легла спать, подумав, что выехать нужно пораньше, вдруг будет ранне в Метро. Засыпая, думала о своей прабабке-ведьме. «Да, она не так глупо прожила жизнь. Для э т о г о стоило!»..

В подземной дороге осматривалась, нет ли за ней слежки, и сама себе ответила, что п о к а слежки быть не может. «Позднее — да. Позднее надо будет всегда осматриваться, следить за каждым своим шагом, за каждым идущим по улице человеком... Нынешняя жизнь кончена — и слава Богу!» Опять перебирала в памяти, ч т о там надо будет сказать, — все помнила твердо. «Какие могут быть не-ритуальные вопросы?

Верно спросят, как и мы спрашивали, — зачем я к ним иду?» Хотя ей теперь было смешно, что она увлекалась таким вздором, как «Афина», Тони думала, что ритуал этого общества облегчил ей переход к коммунистам. «До «Афины» я об этом и не думала. Но если Дюммлер прав, если нет причин считать лучшим один способ освобождения, а худшим другой, если нет общего пути к счастью, то я права. Я нашла этот путь. Чем он хуже других? Во всяком случае он чище, чем мой роман с Грандом». «Вот кто типичен для их мира, а не Дюммлер!.. И слово у них какое гадкое: роман!» Теперь под ними она разумела то коммунистов, то антикоммунистов.

Проходя по длинному коридору к другому пути, вдруг почувствовала себя совсем плохо. На перроне опустилась на скамейку. Апельсин выпал из кулька и покатился, на нем мелькнула надпись “damnosum”, она чуть не вскрикнула, точно апельсин мог ее выдать. Подняла апельсин, оглядываясь по сторонам, положила его в кулек, тяжело дыша. «Так и есть, галлюцинации!..» Представила себе рисунок в немецкой книге, и опять, как тогда в учебнике радиотехники, он перешел в непристойную картинку с Грандом. «Вот, вот, схожу с ума! Надо торопиться, потом и к ним нельзя будет! И ничего не останется, ничего, кроме дома умалишенных»...

Она взглянула на часы, пропустила один за другим два поезда, села в третий и вышла на указанной ей станции. На лестнице остановилась, взявшись крепко рукой за перила. «Нет другой дороги... А если дегенератка, так тем более нет другой дороги!» — мысленно повторяла она. Посмотрела на часы: всего двадцать восемь минут третьего. «Может быть, мои идут неверно?» Спустилась к кассе, над которой были часы. Прийти надо было — особенно в первый раз — совершенно точно. «Отстают на две минуты.

Запомнить: на две минуты. Эта кассирша верно воровка»... Тони и в себе, и в других больше ничего не видела кроме мерзости, и это доставляло ей наслаждение. «Я пропала, а вам и пропадать незачем, вы от природы мерзавцы», думала она, с ненавистью глядя на спускавшихся в подземную дорогу людей. «Эта дылда похожа по фигуре на обернутый шелком сосновый пенёк. Куда-то торопится, верно рассказать гнусную сплетню, заранее восторг на лице... Этот иностранец убежден, что все женщины от него без ума, и галстучек какой нацепил, купил на распродаже в универсальном магазине... Этот господин с ленточкой несколько лет тому назад восхищался фюрером, делал делишки с немцами, а потом пожертвовал сто франков на Резистанс и всех уверяет, что он с первого дня, с самого первого дня... Кого этот городской сегодня избивал?.. Они это называют *passer à tabac*, и слово какое игривое. А эта, тоже иностранка, ищет кому бы продаться... Все продажны, все», — думала она. И тут же ей вспомнилось, что и Анне Карениной все точно так же кажется мерзким в ее последний день, перед самоубийством. «Но если я вспоминаю Анну, то значит, я не сплю и не брежу?.. Нет, это ничего не доказывает: литература тоже часть нашей жизни, и люди из знаменитых романов тоже нам сняты вместе с людьми, которых мы знали. Для меня чувства Лермонтова и Языкова всегда были реальнее, чем мои собственные чувства... Быть может, наоборот, на яву я не стала бы думать мыслями Анны?.. Анна покончила с собой, а я, напротив, начинаю новую жизнь. Или же мне в морфинном бреде кажется, будто я что-то начинаю, куда-то иду, а я сплю на своей постели?.. Да, о чем же я думала? Об этих людях, которых я будто бы ненавижу, как их ненавидела Анна Каренина. Нет, я их не ненавижу, они просто для меня не существуют. Конечно, они ненавидят нас,

коммунистов. Если правда, что я коммунистка, если я в самом деле иду к ним, а не грежу. Они называют свободой рабство, в котором все они находятся у денег. Ничего, придут сюда коммунисты, они все перекрасятся, кто на следующий же день, кто через месяц. И сам Дюммлер, если доживет, перекрасится, он верно только месяца через два и с достойным письмом в редакцию «Правды»: признает свои заблуждения, найдет философское объяснение и расскажет исторический анекдот»...

Вправо уходила широкая красивая, засаженная деревьями аллея. Проверила название, — да, та самая, — нашла сторону четных номеров. «Эти «аристократы» дети лавочников и нажились на войне... Еще десять домов... Еще восемь. Пока могу отказаться. А когда дойду до того палисадника, то уже нельзя будет... Нет, можно будет и тогда, нельзя будет только когда позвоню. Три раза подряд, быстрые короткие звонки, помню, помню, я все-таки еще не совсем сошла с ума... Чепуха эти *damnosum* и вся эта немецкая книга, которой Дюммлер будто бы так восхищается... Да, и он тоже хорош... Тридцать четыре минуты третьего. Тридцать четыре плюс две: тридцать шесть. Раньше тоже не следует приходить, и гулять около той виллы нельзя: он еще, может быть, будет подглядывать из окна, следить, как я себя веду... «Не здесь ли продается детская колясочка?» Спросить очень спокойно, чтобы не дрогнул голос. И надо, чтобы была приветливая улыбка... И все для себя замечать... Ничего, если он заметит, что я все замечаю. Это даже лучше: оценят»...

Затем долго сидела на скамейке, чтобы не прийти слишком рано. Думала о Гранде. «Конечно, он вор, самый настоящий вор. И я знала, что он на все способен. Да, да, совершенно ясно, как это было. Я ему в последний раз денег не дала. Если б были, дала бы,

но их не было. Делавар отказался купить дом. Из афер ничего не вышло. Может быть, он проигрался или выдал чек без покрытия, кажется это так у них называется. Вот он решился и на простую кражу. Вероятно, он это сделал тогда, когда я с Фергюсоном ездила в Страсбург. Я тогда оставила камни в ящике, он взял их и заказал поддельные. Риска не было никакого, он знал, что я жалобы не подам и не могу подать: надо было бы объяснить, откуда эти бриллианты, и почему я их пять лет не отдавала властям, и почему я ходила их оценивать, и что это за стальной ящик в стене, и что это за помещение, и какая «Афина». Я сделала бы посмешищем и Дюммлера, и Фергюсона: вот какого они достали Хранителя Печати!. Зачем он вставил вместо настоящих камней поддельные? Он мог просто унести ожерелье. Но он надеялся, что я скоро не продам и не замечу подделки. Через год следы были бы потеряны, я подозревала бы не его, а кого-нибудь другого. Все-таки ему верно не хотелось, чтобы я подозревала его в воровстве. В чем угодно другом, но не в воровстве, не в таком воровстве... Он меня немного любил и очень преувеличивал мою любовь к нему, думал, что я и поэтому на него не донесу... Где он теперь?» Тони посмотрела на часы. Было без шести минут три. — «Еще шесть минут и все будет кончено».

Она сделала над собой усилие: в последний раз припомнила, перебрала свои доводы: «Капиталистический строй идет к концу, он теперь только плодит разных Грандов, через десять лет с ним будет кончено. Будущее за коммунистами, они создадут такой мир, где никаких Грандов не будет, где человеку незачем будет быть Грандом. Все верно, все правильно»... Но эти доводы теперь ничего, кроме смертельной скуки, у нее не вызывали, и ее почти утешало, что, быть может, она бредит. «Я не всегда так думала. А что,

если эти мысли во мне развивались по мере того, как морфий разрушал мою душу? Да, я несчастная ёраве... Однако, миллионы людей разделяют эти взгляды. Если эти миллионы людей ошибаются, то не стыдно ошибиться и мне... Стыдно только одно: то, что я приняла окончательное решение лишь тогда, когда жить мне больше стало нечем и не для чего... Фергюсон звал, хотя и не очень звал. Вероятно, догадался, что я морфинистка, и теперь замечает следы. Он стал бы меня «отучивать», нет, благодарю. Если отучусь, то без его квакерских наставлений... А вдруг они меня именно к нему пошлют? Нет, он больше над бомбами не работает, и я не поеду, я не раба. Им будто бы именно рабы нужны, это и называется партийной дисциплиной... Если б не безвыходное положение, если б не то, что я ёраве, я еще, быть может, подумала бы... Они обещали дать денег и на билет, и на расходы в Америке. Конечно, всегда и во всем деньги! Мы, все мы, стараемся это завуалировать, но так или иначе, хоть в глубине, хоть отдаленно, хоть косвенно — деньги. Я и иду к тем, кто власти денег положит конец», — сказала она и снова почувствовала невообразимую скуку, даже широко зевнула. «Вот показалось солнце... Странно, все эти гуманные, коммунистические идеи не действовали, а погода действует... Может быть, так тоже при морфии? Врет книжка! От судьбы не уйдешь. Я ведь знала, что все будет именно так, как было».

Она почувствовала прилив бодрости, быстро встала и пошла дальше. Говорила себе, что идет как лунатичка, как замороженная, что не идет, а ее туда несет какая-то сила, влачит какой-то магнит.

Но говорила она это себе неуверенно, да и почти не помнила, как туда шла. Помнила только прилив бодрости, а бодрость и отчаяние постоянно у нее сменялись уже давно.

На калитке виллы был номер: тот самый. В палисаднике стояла колясочка. Дом был как дом и из окон, как будто, никто не смотрел. Тони позвонила три раза. Чуть не позвонила в четвертый, — тревожно подумала, что могла позвонить. «Теперь все кончено! Нет возврата!»... Послышались шаги. Дверь отворил высокий брюнет, с блестящими черными глазами. У него в руках была книга в желтом переплете. Тони впиалась в него глазами. «Господи! Где я его видела? Где? Когда?»...

— Что вам угодно, сударыня? — ласково спросил он, скользнув взглядом по кульку, который Тони держала не совсем естественно, точно священный предмет.

Все происходило, как было сказано, все было в порядке, но Тони тряслась мелкой дрожью. «Так было и с ведьмой».

— Не здесь ли... Не здесь ли продается детская колясочка?

Голос ее все же дрогнул, как ни часто дома она репетировала эту фразу. Забыла и о приветливой улыбке. «Не примут!» — со страстной надеждой подумала она. Но черный человек, вероятно, привык к тому, что приходившие к нему люди волновались.

— Да, здесь. Войдите, пожалуйста, — сказал он по-французски, с довольно сильным твердым акцентом, как будто в самом деле балканским или чешским. «Во всяком случае, не русский», — почему-то с удовлетворением подумала Тони.

Они вошли в переднюю.

— Вы хотите купить колясочку? Она стоит 2.200 франков.

— Да, я хочу купить колясочку, но это для меня

слишком дорого, я могу дать 1500, — сказала Тони. Ритуал кончился. Черный человек улыбнулся и ввел ее в другую комнату, тоже просто убранную. «Все самое обыкновенное! Как странно!» — подумала Тони.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал он ободрятельным тоном. — Ну что ж, значит все в порядке. Об условиях вам сказали?

— Да.

— Я вам заплачу за месяц вперед. Вы принесли то, что было сказано?

— Принесла, — поспешно ответила Тони, и вынула трясущимися руками открытку. «Кончено!.. Как все просто! Как все страшно просто!.. На открытке было написано по-французски: «Сердечный привет и мои лучшие пожелания». Высокий брюнет внимательно осмотрел открытку, и поскобил ногтем вторую строчку между словами «мои» и «лучшие». Крошечный, совершенно незаметный негатив упал на его ладонь.

— Приклеено не очень хорошо, — сказал он. — Вы, верно, купили не тот клей. Но этому научиться легко, а кроме того, мы теперь почти не пользуемся микрофотографиями, это слишком хлопотно. Вам что дали?

— Страницу из Виктора Гюго, она была разделена на пятьсот групп...

— Я не сомневаюсь, что вам дали вздор, но вы не должны были говорить.

— Ведь вы меня спросили.

— Моя обязанность была спросить, а ваша — не отвечать. Но я понимаю, что вы могли ошибиться. Мы слышали, что вы знаете радиотехнику? Об этом с вами поговорят позднее... Ну, хорошо, теперь мы

можем съесть апельсины. Надеюсь, вы купили сладкие, а то я кислых не люблю, — сказал, смеясь, высокий брюнет. — Хотите рюмку портвейна? Выпьем, познакомимся поближе, — приветливо сказал он и протянул ей руку. Рука у него была совершенно холодная.

Больше она ничего не помнила. Тысячу раз себя затем спрашивала, было ли это, или же все ей грезилось. То казалось, что было, то казалось, что грезилось. Теперь грань между жизнью и бредом у нее потерялась совершенно.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I.

Из Парижа в Гавр все ехали вместе. Разделение по богатству произошло лишь при посадке на пароход. Делаваара с почетом отвели в его каюту, обычно снимавшуюся для коронованных особ или для министров, путешествующих на государственный счет. Она состояла из трех комнат с ванной и называлась «Фонтенебло». Кюта Пемброка была тоже хороша, но гораздо менее роскошна. Это было Альфреду Исаевичу немного досадно. Во Франции не было обычая газетных интервью с отъезжающими пассажирами; в Нью-Йорке, Альфред Исаевич знал, репортеры прежде всего обступят человека, прибывшего в кюте высокопоставленных людей. «Интересно, что он им может сказать? Разве только, что во Франции была хорошая погода, — иронически думал Пемброк. — Кто он вообще такой!»

— Странно, что он своему секретарю не дал одной из своих трех комнат, — сказал Альфред Исаевич Наде еще на пристани, пока проверялись паспорта. — Оказывается, он для него взял особый билет во втором классе. Во-первых, это только лишний расход: в его кюте две спальные. А во-вторых, уж если ты такой гран-сеньер и везешь секретаря, то вези старика тоже в первом классе. Может быть, он хочет оставаться один, чтобы секретарь не мешал ему в его глубоких размышлениях?

— Значит, он будет и обедать отдельно от нас? — спросила Надя, очень взволнованная отъездом.

— Может быть, иногда будет спускаться к нам и обедать в общей зале, как простой смертный. Черчилль всегда обедает в общей зале. Правда, он только Черчилль, а не Делавар.

Всю дорогу Надя беспокоилась, как бы отправленный накануне багаж не опоздал, не попал на другой пароход, или не затерялся. Но как только они поднялись на борт огромного парохода, она еще издали увидела свой главный, особенно важный, сундук и чрезвычайно обрадовалась.

— Слава Богу, все вещи есть, и твои, и мои! Все в полном порядке!

— Я так и думал, что все будет в порядке... Эти три в каюту 226, а все остальное в 175-ую, — указал Яценко носильщикам. — А может быть, тебе сундук в каюте не нужен?

— Как не нужен! Все нужно! Разве ты не знаешь, что на этом пароходе одеваются, — обиженно сказала она. Носильщики взяли чемоданы. И как только разделили их багаж, Яценко почувствовал, что началось что-то новое в его отношениях с Надей.

Альфред Исаевич, опытный путешественник, поглядывал на Надю со снисходительной улыбкой. Они условились встретиться в главном баре первого класса в четверть восьмого. Обед был в восемь.

Несмотря на очень дурное настроение, в котором все время находился Виктор Николаевич, на него тоже подействовала волнующая, бодрящая суeta отъезда. «Хлопоты кончились, а там будет видно», — думал он. Устроившись в своей каюте, Яценко прошел по главным помещениям, стараясь запомнить, где что находилось, куда какая лестница ведет. На палубе он столкнулся с Надей. На нее произвели очень сильное впечатление размеры парохода, роскошь зал, эле-

гантность дам. Теперь не могло быть никаких сомнений в том, что они будут в Соединенных Штатах. Она была оживлена, весела и добра.

— Ах, какая красота! Я просто не могла себе представить, что здесь все так роскошно и удобно! Моя каюта чудная! Я уже познакомилась с соседкой, она американка и, кажется, очень милая. Она сказала, что я говорю по-английски без малейшего акцента!.. И ванна рядом. А в умывальнике горячая су — кипяток!.. По-турецки вода — су... Я не слишком накрасилась?

— Слишком.

— Нет, ты посмотри, ты даже не посмотрел! Я надела лиловое. Что ты думаешь?

— Думаю, что ты надела лиловое.

— Ну да, ты всегда такой!.. Скажи правду, разве ты не рад, что едешь?

— Рад, — искренно сказал он.

— То-то. А я просто не могу поверить! Столько мечтала об этом и вдруг еду! Милый, условимся так, чтобы хоть в дороге не хандрить! Давай пять дней наслаждаться жизнью без всяких забот!

— Давай.

— Я тебя люблю и ты, кажется, меня еще немного любишь, правда?.. Так ты не надел смокинга? Впрочем, я видела, большинство мужчин без смокингов. Ну, пойдем искать Альфреда Исаевича. На радостях я выпью. Как ты думаешь, будет качать?

— Нет, море как зеркало.

Альфред Исаевич уже сидел за столиком бара в огромном покойном кресле. Он тоже был в хорошем настроении духа.

— ...Ну, что, осмотрелись на этом небольшом парусном суденышке?.. Now, sugar plum, я угощаю вас шампанским! Вы знаете, теперь у нас в Америке мода: когда какой-нибудь туз уезжает, то он перед

отъездом устраивает на пароходе party для провожающих.

— Это отличная мода, но нас никто не провожает, мы с Виктором не тузы, — весело сказала Надя.

— Зато нас в Нью-Йорке будут встречать. Явится и мой директор, и интервьюеры. Но именно потому, что здесь нас никто не провожает, нам, бедненьким, надо утешать друг друга. Наденька, вы какую марку предпочитаете?

— Все марки.

— Что ж пить теперь шампанское, уж лучше за обедом, — сказал Яценко, чувствуя, что и он приходит в какое-то особенное светское состояние.

— Нельзя. Пароход отойдет до обеда, а у меня такое правило: пить шампанское в момент отъезда... Вот и он, красавец, и, разумеется, в смокинге, не то, что мы, грешные, — сказал Альфред Исаевич, увидев издали Делаваара. Смокинг очень к нему шел. Надя смотрела на него с сочувственным любопытством. — Ваше превосходительство, какую марку шампанского вы предпочитаете? — спросил Пемброк, переходя с южно-русского языка на бруклинский.

— Поммери 1911 года у них, конечно, нет. Тогда Монтебелло 1929-го, — весело сказал Делаваар, садясь рядом с Надей. — Господи, какие ужасные фрески в этом баре. Пьеро делла Франческа, если б зашел сюда, то немедленно бы удавился. Я обожаю Пьеро делла Франческа.

— That's right, — сказал Пемброк, тотчас скисавший от таких разговоров. — Стюард, дайте нам шампанского... Скажите ему сами ваш год, я уже забыл. Вы обедаете с нами или у себя, посреди великолепия вашего «Фонтенебло?»

— Год 1929-ый. Это небывалый год в истории французского виноделия. Обедаю я, разумеется, с

вами... Кстати, у меня в «Фонтенебло» замечательные boiseries.

— Значит, нельзя будет за столом разговаривать по-русски, сказал Наде Пемброк, пока Делавар обсуждал со стюардом марки вин. Сэр Уолтер, бросьте мерехлюндию! Едем в Америку, не плохая страна, а? Я люблю Францию, но всегда рад, когда возвращаюсь домой. Сильвия как будет рада!.. А я вам между прочим приготовил сюрприз.

— Какой? Альфред Исаевич, какой?

— Дорогая, на этом суденышке будет впервые показан наш фильм! Они меня умолили дать им ленту.

— Ах, как я рада! Я в восторге! — сказала Надя.

— Buenos, — сказал Пемброк, довольный своим сюрпризом. — Buenos Aires! Я страшно рад, что через неделю буду дома. Первым делом я приглашу к себе Мак-Киннона. Время от времени надо делать check up.

II.

На этом же пароходе был и Гранд.

Опасность во Франции ему как будто не грозила. Он в самом деле был уверен, что Тони жалобы на него не подаст. Но слова Норфолька о том, что полиция собрала о нем какое-то «досье», произвели на него впечатление. Гранд три раза сидел в тюрьме и, хотя это было не во Франции, материал для «досье» у французской полиции мог быть. Благоразумнее было поскорее уехать.

Кроме того, Гранд очень боялся встретиться в Париже с Тони. Ему было перед ней совестно. Гораздо легче и приятнее было бы, если б украденные им бриллианты принадлежали богатому человеку: Гранд убежденно считал всех богатых людей мошенниками — как Фенелон считал всех республиканцев ворами. Но, в конце концов, эти бриллианты не были собственностью Тони и достались бы наследникам погибшей дамы, — то есть верно также богачам.

Немного поколебавшись, он выехал в соседнюю страну и там продал три бриллианта из десяти. В библиотеке заглянул в словарь, узнал, какие страны заключили и какие не заключали конвенций о выдаче уголовных преступников, и остановился на одной южно-американской республике, где, по слухам, была чрезвычайно удобная, приятная, недорогая жизнь и где люди, имевшие деньги, могли быстро нажить еще очень много денег. Слова «уголовные преступники» были ему неприятны, но он опять подумал, что уж

после войны в Европе наверное не осталось ни одного честного богатого человека, — это его утешило. Он даже при случае выписал в тетрадку из соседней статьи в словаре случайно попавшуюся очень милую цитату.

Там же он купил билет первого класса на великолепный пароход, на который стремились попасть все богатые люди. Вернулся он в Париж за три дня до отъезда, а перед самым отъездом позвонил по телефону Дюммлеру (не из своей гостиницы, а из почтового отделения). Что-то придумал: внезапно заболел, подвергся операции, лежал, не мог написать. Дюммлер выслушал его холодно и сказал, что заседаний «Афины» летом не будет. Очевидно, он ничего о бриллиантах не слышал. «Все в полном порядке! Из Франции без всяких историй выпустили, назад впустили, старик трубки не повесил. Значит, милая Тони не только жалобы не подала, но очевидно даже никому и не сказала! — радостно, с нежным чувством к Тони, подумал Гранд. — Впрочем, она, может быть, еще и не заметила? Тем лучше!» Он попросил Дюммлера всем сердечно кланяться: «Я так измучен операцией и так плохо себя чувствую, что завтра уезжаю на отдых в санаторию!» — простонал он. Дюммлер пожелал ему поскорее поправиться и не выразил желания повидать его до отъезда.

После этого разговора Гранд пришел в такое хорошее настроение, что решил было послать Тони денег. Но затем подумал, что она обидится. Притом на переводе надо было бы указать адрес отправителя. «Можно, конечно, дать ложный адрес, да зачем же ей, бедной, было бы напрасно меня искать? В сущности, я оказал ей услугу. Она сама говорила, что это у нее навязчивая идея: боялась продать чужую вещь! Глупенькая... Правда, тогда она имела бы деньги. Но такой женщине, как она, лучше быть без денег и за-

то без навязчивой идеи. А я ей что-нибудь позднее пришлю».

Семи остальных бриллиантов он не продавал и решил показать их на таможне в Нью-Йорке: пошлины с него требовать не могли, виза была проездная. Вообще твердо решил впредь без необходимости ничего рискованного не делать. «Моисей был все-таки в общем прав, десять заповедей хорошая вещь. Есть достаточно способов жить, не нарушая уголовного кодекса, вот как живет Делавар». Перед отъездом Гранд купил дорогие Уиттоновские чемоданы, несколько шелковых рубашек и галстуков, золотые часы Longines (старые продал как раз перед делом с бриллиантами). На улицах все же осматривался, пешком не ходил, ездил на автомобилях, — полиции больше почти не опасался, но боялся наткнуться где-нибудь на Тони.

В последний день он пообедал в лучшем ресторане, заказал свои любимые блюда, самые дорогие вина. Гранд говорил любовницам, что после любви лучшая радость жизни — хороший обед и что он чувствует себя вполне порядочным человеком только в дорогом ресторане, когда твердо знает, что есть чем заплатить. После обеда он отправился на симфонический концерт. Исполняли Пасторальную симфонию Бетховена, его любимую. Гранд слушал со слезами. Садясь в автомобиль, опять вспомнил о Тони. Ему было чрезвычайно ее жаль. «Надо, надо что-нибудь сделать, но как? — думал он. — Нет, во-первых, это было бы рискованно. Во-вторых, у нее тотчас появилась бы опять ее навязчивая идея. В-третьих, как только я устроюсь в Южной Америке, я ей пришлю денег».

Он вернулся в свою гостиницу, — не в ту, в которой жил прежде, а в другую, одну из лучших. У входа стоял старик-нищий. Гранд пошарил в кармане, мелочи у него не оказалось. Он дал сто франков.

«Бедный человек, кажется, ошалел! — радостно подумал он. Вошел, не оглянувшись по сторонам. — Никакого полицейского досье не существует, все выдумал проклятый старик».

В Гавр он решил отправиться на автомобиле. Небрежно велел швейцару сговориться с шофером, не торговался, щедро всех наградил в гостинице и выехал с большим почетом. Этот общий почет тоже был немалой радостью жизни. У Гранда и прежде иногда бывали деньги, но их что-то давно не было, и они доставляли ему необыкновенное удовольствие. Он опять вспомнил разные изречения о золоте.

На пароход он взошел не слишком рано, как и полагалось привычному к путешествиям богатому человеку. В прекрасную одиночную каюту отнесли его превосходные чемоданы, — он немного даже пожалел, что они такие новенькие: пригодились бы наклейки вроде “Waldorf Astoria”, “Savoy Hôtel”, “Negresco”. После некоторого колебания — проклятые воры иногда заглядывают в каюты, — он для верности положил три бриллианта в мыльницу, лежавшую в несесере, который нарочно не затворил на ключ, — это был испытанный способ хранения драгоценностей, основанный на психологии воров. Остальные четыре спрятал на дно Уиттоновского сундука. Деньги решил носить с собой в бумажнике. Надел смокинг, не новый, но еще хороший, он сшил его как раз перед войной и с тех пор не пополнял. «В Англии теперь все лорды носят довоенные фраки и смокинги»... Проверил, все ли в порядке: бумажник, паспорт, ключи, зажигалка, портсигар, — вышел на палубу, прошел по главным гостиным, заглянул в еще пустой ресторан, пробежал карту блюд, — меню было изумительное, а на карте вин было не менее ста названий. Поднялся на верхнюю палубу. Вдруг при слабом свете кончающегося дня ему показалось, что к лестнице

подходил Делавар. «Вот тебе раз!.. Экая досада!» — подумал он. Гранд спустился к отделению кассира, где висел на стене список пассажиров первого класса. Разыскал себя — все правильно, — посмотрел на букву Д, — никакого Делаvara не было. «Верно, я ошибся, не он»... Однако пробежал весь список и под буквой Л увидел: «де Лавар», — «Он!.. Уже стал дворянином и французом!»

Это была первая неприятность за день, даже за всю последнюю неделю. Впрочем, большой неприятности тут не было. «Если Дюммлер ничего не знает, то, конечно, не знает и этот прохвост. В последний раз он был груб, и, разумеется, я к нему не подойду. Раскланяться можно, а затем пусть он поступает как ему угодно! Чорт с ним!» — подумал Гранд. Отправился в бар и заказал Том Коллинс, — барман принял заказ с таким видом, точно именно это и должен был заказать настоящий знаток. Рядом с ним у соседнего столика старый величественного вида американец, молчаливо с ним согласившись, заказал то же самое. Гранд выпил коктэйль, настроение духа стало у него еще более приятным: он путешествовал на одном из лучших в мире пароходов, в первом классе, в одноместной каюте, и, как все джентльмены на этом пароходе, был хорошо одет, имел достаточно денег, за все честно платил, уголовного кодекса нарушать не собирался, принадлежал к ордену богатых людей. На столике тоже лежал список пассажиров, в списке были графы, маркизы, баронессы, был, кажется, знаменитый французский писатель — или его однофамилец? — «Да, превосходный пароход! Только «Норманди» был лучше, я на нем плыл, когда он в первый раз пересек океан», — сказал кто-то рядом с ним. — «Норманди» все же немного качало, а этот не качает ни в какую погоду» — ответил другой. Гранд оглянулся на разговаривавших людей, очевидно тоже при-

надлежавших к ордену, — и далеко в углу огромной комнаты увидел Делаваара. Он сидел с очень красивой молодой дамой, со стариком еврейского типа и с господином средних лет, в котором Гранд узнал русско-американского драматурга, записавшегося в «Афину» и раза два там побывавшего. Опять заглянул в список пассажиров: там значился и Вальтер Джексон. Гранд еще раз разыскал себя, — почти рядом с ним был указан лорд с одной из тех благозвучных фамилий, какие бывают только у лордов.

Мальчик в мундире разносил газеты, журналы, папиросы. Гранд подозвал его, спросил «Лайф» и «Молборо», мальчик сказал “Yes, sir” тоже с таким видом, точно ничего иного от порядочного человека и не ожидал. — «Когда выйдет пароходная газета?» — спросил Гранд. Газета совершенно его не интересовала, но он давно не разговаривал и это его тяготило. Узнав, что газета выйдет завтра утром и тотчас будет разнесена по каютам, он одобрительно кивнул головой; спросил еще, где телеграфное отделение, хотя и это было ему совершенно не нужно, и отпустил мальчика, дав ему на чай не больше чем полагалось, чтобы его не приняли соседи за выскочку. Ему вспомнилась тема из Пасторальной Симфонии. «Ах, какая дивная вещь!.. Я все-таки буду играть на пароходе, не могу без музыки!» — подумал он и, оглянувшись в сторону рояля, опять увидел стол Делаваара. «Вероятно, это его кинематографические люди, ведь этот жулик занялся кинематографом. Дама очень, очень недурна, надо бы познакомиться. Если они случайно обо мне заговорят, то он, конечно, скажет, что я прохвост. Но это никакого значения не имеет, так как драматург наверное догадывается, что сам Делаваар прохвост. К драматургу можно будет потом подойти, этого даже требует вежливость». Он принадлежал к ордену порядочных богатых людей, но по-

нимал, что перезнакомиться с другими членами ордена будет нелегко, а молчать пять суток ему никак не хотелось. «Разве за бриджем познакомлюсь? Здесь наверное будут составляться партии»... В молодости Гранд передергивал карты, но теперь об этом не могло быть и речи: предполагал играть как джентльмен с джентльменами и только для удовольствия. Рядом с ним прекрасно одетые члены ордена переговаривались по-французски и по-английски о том, что пароход отойдет ровно в восемь и что ожидается очень хорошая погода.

III.

Норфольк тоже был задет тем, что ему было куплено место во втором классе. Сам он обычно путешествовал в третьем, а то и на грузовых судах. Случалось ему в былые времена ездить и в теплушках и в вагонах для скота. Комфорта во втором классе было больше, чем достаточно, но его расположение к Делавару ослабело. К тому же, как и Пемброк, он не понимал, в чем дело: в каюте из трех комнат было место и для него.

Забыв запасть в дорогу книгами, он прежде всего, прежде даже, чем зайти в бар, справился, где находится на пароходе библиотека, там выбрал последнюю книгу Бертрана Расселя и уголовный роман Уоллеса. За ним в комнату вошла молодая дама. Он тотчас узнал в ней ту русскую, которую в свое время встретил у ниццкого ювелира. «Господи, как она изменилась!.. И волосы как будто стали другие». Норфольк — по-европейски, первый — почтительно поклонился. Дама взглянула на него удивленно и, по видимому, не сразу его узнала. Холодно ответила на поклон и стала рыться в каталоге. «Подурнела, но еще хороша!.. Бриллиантов на ней больше нет». Он наудачу сказал, что мир очень мал. Она что-то проворговала. «Почему мы такие сердитые?»

Библиотекарь спросил имя дамы и номер ее каюты. Фамилию Норфольк разобрал плохо, это была фамилия на офф. После того, как книга была записана, дама вышла, ничего не сказал. — «Не общительная особа», — подумал Норфольк. Когда библиотекарь записывал его книги, он прочел в тетради, что

она взяла английский перевод романа русского автора. «Кажется, это эмигрант контрреволюционер, чуть ли не белый генерал».

Из библиотеки дама прошла в бар. «Походка у нее какая-то странная, неуверенная, точно у нее кружится голова. Качки, однако, никакой нет. Войти за ней в бар все-таки не совсем удобно, — с сожалением подумал он. — Познакомимся позднее». Когда позвонили к обеду, Норфольк немного подождал. В столовой русская дама сидела за четырехместным столом. — «Кажется, у стола № 8 есть свободное место?» — спросил он стюарда и, получив утвердительный ответ, подошел к этому столу. Поклонился, сел и изобразил на лице легкое удивление.

— Нам достался хороший стол, — сказал он по-французски с улыбкой. Выяснилось, что американская чета по-французски не понимает. Норфольк заговорил по-английски и выразил надежду, что погода останется хорошей. Чета тоже на это надеялась. Было еще что-то сказано о меню обеда. После этого он мог обратиться к русской даме. «Увы, в моем возрасте все становится прилично», — со вздохом подумал он. Она теперь стала как будто приветливей. «Кажется, мы немного выпили, вот и отлично. А волосы она выкрасила плохо: корни немного выделяются. И совсем ей не надо было краситься, у нее цвет волос был прелестный... Да, выпила»...

— Вы живете во Франции или в Америке? — спросил он опять по-французски. Дама немного подумала.

— Я жила во Франции, но теперь переезжаю в Америку, — тоже по-французски ответила она. С библиотекарем она говорила на хорошем английском языке, но Норфольку хотелось, чтобы разговор велся на языке, незнакомом их соседям. «Будем поддерживать фикцию, будто она по-английски не знает.

Собственно мне от нее ничего не нужно... То есть, может быть, и нужно, да поздновато»...

— Я надеюсь, что нас освободят на пристани еще при свете дня, — сказал он. — Вы Нью-Йорк не знаете? Ни в один незнакомый город не надо в первый раз приезжать вечером: немедленно овладевает тоска. Единственное исключение: Венеция. Она, напротив, ночью чарует. Но, может быть, вас встречают друзья?

— Нет, у меня никого там нет. А вы там живете?

Он назвал свою фамилию, сообщил, что работает в кинематографическом предприятии и едет со своим патроном в Нью-Йорк по фильмовым делам. Дама сказала, что едет в Америку искать работы.

— И вы ее найдете, хоть и не в первый день. Нью-Йорк превосходный город, Америка лучшая и самая гостеприимная страна в мире. Говорю это беспристрастно, так как я по происхождению не американец. Вы легко получили визу?

Она опять немного подумала.

— Я русская, родилась в Петербурге, а русская квота теперь не так забита, как, скажем, польская или немецкая.

— Почему?

— Потому, что проклятое советское правительство никого из России не выпускает.

— Ах, да, — сказал он. «Но, кажется, в Ницце она говорила, напротив, что-то очень левое и радикальное», — вспомнил Норфольк.

— Вы ведь эмигрантка?

— Да. И предупреждаю вас, что я правая и монархистка.

— Вот как, — сказал старик. «Зачем она мне это говорит?» — с недоумением подумал он. — Я левый и республиканец, но это не мешает нам разговаривать, правда? У нас в Америке полная свобода.

Однако, если память мне не изменяет, в Ницце вы не называли ваше правительство проклятым, напротив.

Она густо покраснела.

— Вам именно изменяет память.

— Тем лучше, потому что я большевиков терпеть не могу, как вообще всех профессиональных благодетелей человечества. Кроме того, они пролили слишком много крови даже для благодетелей человечества. В этом отношении уже французские революционеры 1794 года плохо знали меру. Правда, трудно сказать, кто больше совершил злодеяний: они ли или какой-нибудь Людовик XIV, которого так любят ненавидящие их историки. Французские революционеры хоть пытками не пользовались, в отличие от Людовиков. А ваши, говорят, восстановили пытку. Не все ли, верно думают, равно: во имя великой идеи дурачье проглотит и это... Но бросим политику, от нее и при хорошей погоде у меня может сделаться морская болезнь... А что, вы тогда в Ницце продали бриллианты?

— Бриллианты?.. Нет, у меня их украли.

— Как украли?

— Так украли. Подменили настоящие фальшивыми.

— И полиция ничего не нашла?

— Я не обращалась к полиции.

«Неужто просто лгунья? А может быть, и не совсем нормальная», — спросил себя он.

— Не смею вас расспрашивать, — сказал он изумленно и заговорил о другом. Дама отвечала довольно охотно, но перед каждым ответом с полминуты думала, это его раздражало. Ему вдобавок казалось, что она думает затрудненно. «Ах, глазки уже не те: были чудесные! Рановато». Все же Норфольк был очень рад знакомству. Ему жизнь была не жизнь без общества молодых женщин, особенно

таких, каким он мог покровительствовать. «Отеческое чувство, отеческое чувство», — подумал он. «Что-то очень много у меня развелось дочерей, с тех пор как не стало любовниц, и все дочери были хорошенькие. Ни к одной некрасивой отеческого чувства никогда не испытывал. Довольно гадко быть стариком. Это во мне проклятый Вальтер Джексон недурно подметил в своей пьесе. Хотя не Бог знает, какое психологическое открытие, но он кое-что подмечает и понимает в людях. Вообще и таланта не лишен».

Когда обед кончился, он для приличия еще поговорил с американской четой, затем сказал даме, что чрезвычайно рад знакомству и что будет все вечера проводить в баре второго класса. — «Я бываю у босс-а в первом, но там неинтересные дамы», — сказал он. Надя в самом деле ему не так нравилась, и ей уже покровительствовало трое мужчин. Поздно вечером в каюте он читал то Ресселя, то Уоллеса, но не раз отрывался, думал о русской даме и нежность скользила в его выцветших глазах.

Как пассажир второго класса, Норфольк не имел права бывать в залах первого. Но Делавар заявил пароходному начальству, что должен работать с секретарем, и начальство не могло отказать человеку, занимавшему самую дорогую каюту. Его секретарь получил разрешение бывать в первом классе, с тем ограничением, что завтракать и обедать он будет у себя.

Работы было немного. Делавар диктовал какую-то записку. Диктовка сводилась к тому, что он довольно безтолково высказывал какие-то мысли, которым Норфольк затем придавал литературную форму. Делал он это с таким видом, будто лишь стенографировал слова своего хозяина. Записка касалась общего политического и экономического положения западной Европы, и Норфольк про себя удивлялся:

как этот человек, наживший огромное состояние и очевидно тонко разбиравшийся во всяких частных делах, решительно ничего не понимал во всем том, что касалось общих и государственных вопросов. Такое же чувство испытывал Яценко, когда за обедом Делавар рассуждал о политике. «Нет, я довольно неудачно его «активизировал». Мой Лиддеваль значительно умнее», — подумал он.

Форму Норфольк своей записке дал хорошую. Делавар был доволен. Он, очевидно, придавал своей записке очень большое значение. Диктовал он около часа утром, затем снова от двух до трех. Никогда не отдыхал после завтрака, говорил, что это дурная привычка, преждевременно старящая людей. От одиннадцати до двенадцати он занимался гимнастикой. Днем в гостиной садились играть в карты. Партия составила на следующий же день после отхода парохода. Надя любила бридж, но играла плохо. Пемброк согласился играть только по маленькой.

— По половине цента! — решительно сказал он. На пароходе франки были тотчас забыты и все счета велись на доллары. Именно в виду богатства Альфреда Исаевича, его заявление звучало очень мило.

— По какой вам угодно! — ответил Делавар, и это тоже вышло недурно: все знали, что он привык не к такой игре. — Хотя бы и совершенно без денег.

— Нет, без денег скучно, — сказала Надя. — Это странно: если я выиграю пять долларов, то от этого я счастливее не стану, а вы, господа миллионеры, тем более, и все-таки без денег играть невозможно. Но где же мы возьмем четвертого, если глубоководный Вальтер Джексон до карт не опускается? Он занят высшими проблемами человеческого бытия, — говорила она, сама удивляясь тому, что говорит о нем иронически.

— И не надо ему играть: пусть творит! — решительно заявил Пемброк, окончательно усвоивший такой тон, точно Яценко был Гёте, еще, к сожалению, не всеми признанный. Он больше и не говорил, что сэр Уолтер внес свежую струю: это было бы недостаточной похвалой.

— Возьмем моего секретаря Норфолька, — предложил Делавар. — Он сказал мне, что умеет играть.

— Ах, да, ведь вы раздобыли ему пропуск в первый класс. Ну, что ж, отлично, он очень приятный и остроумный человек. Тогда тем более надо играть по маленькой: он ведь человек бедный.

— Он у меня получает достаточное жалованье, — ответил не совсем довольным тоном Делавар. — И, наконец, я могу покрывать его проигрыш.

— Узнаю вашу королевскую натуру, — сказал Пемброк. Они начинали отпускать друг другу колкости. — Тогда зовите его сюда.

Но опасаться за карман старика никак не приходилось. После первых же робберов выяснилось, что он играет не просто хорошо, а превосходно. Вдобавок, играл очень любезно и приятно: никогда никого не порицал за промахи, ни с кем ни о чем не спорил, чужие ошибки разъяснял только в том случае, если его об этом спрашивали. Объявлял карты по-своему, так что вначале вызывал некоторое недоумение. Но к концу третьего роббера с ним уже и спорить никто не решался. Все были поражены мастерством его розыгрыша, и даже Делавар, никого не любивший хвалить, признал, что трудно лучше играть, чем старик.

— Я и не знал, что вы такой артист, — сказал он ему. — Вы могли бы сделать состояние в моем парижском клубе.

— Я почти никогда не играю, — скромно ответил Норфольк. — Правда, в свое время я вел немалую

игру, у меня тогда были деньги, и раза два или три я даже на конкурсах получал первые призы.

— Отчего же вы раньше не сказали? — благодушно спросил Альфред Исаевич. — Если бы я знал, что я имею дело с чемпионом, то я и карт в руки не взял бы.

— Да я думал, что все перезабыл, но видно... — начал старик и вдруг раскрыл рот. Он увидел, что за одним из далеких столиков играет в карты Гранд.

— Что «но видно»?

— Нет, ничего, — ответил Норфольк.

Следующую партию он разыграл, хотя тоже мастерски, однако более рассеянно; затем в промежутках между робберами почти не разговаривал, что не было ему свойственно. Почему-то, совершенно непонятным образом, Норфольку внезапно пришла мысль, что должна быть какая-то связь между Грандом и той русской дамой. Решительно ничто в пользу такого предположения не говорило. «То самое полицейское чутье, о котором говорилось в романе Уоллеса... Я непременно расспрошу ее, непременно... Хотя бы пришлось разориться на вино. Такие всегда легко пьянеют. Расспрошу из любопытства, только из любопытства», — думал он.

IV.

Скучать в занятом праздничном бездельи парохода было невозможно. Надя, вообще никогда не скучавшая, наслаждалась путешествием необыкновенно. Впереди были Америка, карьера, слава; теперь была очаровательная жизнь. Завтракала она в восемь часов у себя в каюте с соседкой, с которой очень подружилась. Затем, наверху, поздоровавшись со всеми, спросив, как кто спал, выразив восторг по тому случаю, что солнце и ветерок, совсем не жарко, море гладко, как зеркало, она часа полтора необыкновенно быстрым, энергичным и деловитым шагом ходила по палубе: положила себе правилом делать каждое утро пятьдесят кругов по ней. Этот шаг вызвал бы общее изумление в любом другом месте, но на корабле так же быстро, энергично и деловито ходили еще десятки молодых людей, девиц и дам. С некоторыми из них Надя уже была знакома и почти со всеми обменивалась улыбками. Затем она спускалась к огромному бассейну, но не купалась, ссылаясь на то, что не взяла с собой купального костюма; Делавар, часто ее сопровождавший, говорил, что костюм можно купить в одном из магазинов парохода. Но ей не хотелось бросаться в воду рядом с молоденькими хорошенькими девушками, которых на пароходе было много. По сходной причине она редко останавливалась на верхней палубе у тех мест, где молодежь играла в пинг-понг, корабельный теннис и shuffle board: было обидно, что ей не восемнадцать лет. Часов в

одиннадцать она ложилась в складное парусиновое, покрытое пушистым пледом, кресло на палубе и разговаривала то мило-кокетливо с Делаваром, то милостепенно с Пемброком, то мило-любовно с Яценко.

Они записались на *premier service*, и к завтраку их звал гонг ровно в двенадцать. Подавалось множество блюд, одно лучше другого. После завтрака Надя опять бегала по палубе, — теперь полагалось двадцать кругов. Альфред Исаевич, проходя по палубе в свою каюту, для отдыха, испуганно на нее смотрел, как на тихопомешанную, хотя привык к кинематографическим артисткам и больше ничему у них особенно не удивлялся. Делавар гулял с Надей, описывал сокровища своего люксембургского замка (о своих вещах он мог говорить часами, они все были изумительны). Спрашивал ее, любит ли она Апокалипсис и виденье саранчи, говорил ей, что у женщин есть тридцать прелестей: три красные — губы, ногти, щеки, — три белые — кожа, зубы, руки, — три черные, — глаза, брови, ресницы — перечислял на память все тридцать. Она слушала не без удовольствия, но думала, что этот прославленный делец глуп. Глаза у него при разговорах с ней блестели почти неприлично. «Конечно, я могла бы женить его на себе», — думала Надя; удовольствие было двойное: от того, что «могла бы женить», и оттого, что и не подумает это сделать. Физически он ей нравился, нравилось и его увлечение, переходившее, как ей иногда казалось, в настоящую страсть. «Но, во-первых, я никогда Виктора не брошу, а во-вторых, это было бы просто смешно до глупости: как это я буду замужем за левантинским богачом, который и по-русски ни слова не знает! Нет уж, русская и должна идти за русского. Главное же, я нисколько не люблю его. Ни в коем случае не заходить в его каюту: уж очень он зовет, а кто там их знает, левантийцев?»

В три часа Надя, Пемброк и Делавар ходили в кинематограф. В пять сходились в гостиную на бридж. В семь полагались еще круги, и наступало лучшее время: обед, к которому одевались. Надя окончательно убедилась, что не полнеет, и почти не соблюдала режима. Стюард приносил по рюмке ледяной водки Пемброку и Яценко, замысловатые коктэйли Делавару, французские аперитифы Наде, — она решила перепробовать по дороге разные напитки и каждый вечер заказывала другие. Пили все больше обычного. Альфред Исаевич неизменно говорил, что Суворов пил английское пиво с сахаром. — «А все-таки, Наденька, очень много есть и пить не надо, — рассудительно советовал Пемброк Наде, — все надо делать в меру, вы лучше не бегали бы по палубе, как сумасшедшая, три раза в день. Зачем вы это делаете? Только еще что-нибудь себе наживете. Какое у вас давление крови?» — «У меня нет никакого давления крови!» — возмущенно отвечала Надя. — «Вот я же не бегаю по палубе, хотя мне сам Мак-Киннон сказал, что у меня сердце как у молодого человека»... Проглотив с видом человека, берущего крепостной вал штурмом, свою рюмку ледяной водки, он приходил в еще лучшее, уж совсем праздничное настроение. Делавар с восторгом смотрел на Надю и старался ее забавлять. Он оказался недурным имитатором и отлично подражал кинематографическим звездам. Этот род дарования всегда изумлял Яценко, — сам он был совершенно его лишен; обладали же даром подражания нередко ограниченные и даже просто глупые люди. «Выходит так, они видят в человеке такое, что от умных ускользает, — с недоумением думал Виктор Николаевич. — Зато этот господин сам точно создан для имитаторов, разве только неизбежно будет походить на карикатуру: он живая карикатура на самого себя».

После обеда Пемброк решительно отказывался играть в бридж. На пароходе каждый вечер танцевали, либо в большой зале, либо в главной кофейне, в середине которой пол, нарочно для танцев, был сделан из очень толстого стекла, освещавшегося вечером снизу разноцветными огнями. Альфред Исаевич любовался танцовавшими парами и, одобрително кивая головой, говорил, что обожает румбу; впрочем, иногда забывал, что надо любить все новое, и с видом отставного удальца, утверждал, что ничто не может сравниться с полькой, венгеркой и мазуркой. Делавар знал все новые танцы и танцевал их с Надей, тут же объясняя ей, как их надо танцевать. Крепко держа ее за талию и за руку (он рассчитывал при этом на магическую силу своего рукопожатия), говорил о красоте ее ножек, говорил о фресках Пьеро делла Франческа, повторял, что поставит для нее грандиозный фильм, и с очень значительным видом шептал, что она непременно, непременно должна посмотреть замечательные *boiseries* в его каюте. При этом зрачки его красивых глаз опускались. В его словах часто не было ничего глупого, но говорил он их так, что от них веяло глупостью, и вид при этом имел очень значительный, какой мог быть, например, у номиналистов, когда они вели философский спор с реалистами. Наде, при разговорах с ним наедине, было и забавно, и приятно, и немного жутко. Часов в десять, когда читать надоедало, заходил в зал Яценко и посматривал то на Надю, то на Делаvara.

Надя в первый же день, смеясь, ему объяснила, что ей от Делаvara нужно.

— ...Конечно, он в меня влюблен, — говорила она весело. — Ты знаешь, я даже думаю, что, если бы я очень хотела, то он на мне женился бы.

— Я этого не думаю, но что ж, попробуй.

— Ей Богу, женился бы! Он предпочел бы так, но если так нельзя, то женился бы, даю тебе слово Пемброка! И согласись, это очень мило с моей стороны, что я за него не выхожу. У него миллиард франков, и моя карьера в кинематографе была бы молниеносной.

— Отчего же, выходи за него замуж. У меня миллиарда нет, и я тебе молниеносной карьеры обеспечить не могу.

— Ты просто скромная недурная партия, а Дела-вар партия превосходная. И если хочешь, он даже мне нравится, он очень сильный и властный человек. Ты вот думаешь, что ты его «активизировал» в Лиддевале? То есть, ни малейшего сходства нет, кроме того, что оба деловые люди. Ты вообще слишком упрощаешь людей. Твой Лиддеваль мелкий жулик. А Делавар правду говорит, что для него деньги — ничто. Альфред Исаевич его называет трубадуром! Скажи я ему одно слово, он мне отдаст половину своего состояния.

— Вот ты попробуй.

— Я тебе говорю, что отдаст! И через год снова их наживет!

— У тебя даже глаза заблестели. Что ж, выходи за трубадура замуж. Совет да любовь.

— Нет, уж не стоит менять. Дай, думаю, выйду за тебя. Жалко ведь: ты без меня пропадешь.

— Как-нибудь проживу. И все ты врешь: ты с Делаваром горда, как Юнона, к которой пристал простой пастух Эндимион.

Она смеялась.

— Ты теперь и говорить стараешься, как твой Дюммлер!

Утром он гулял с Надей по палубе, еле поспевая за ее гимнастическим шагом. «Ах, ее несчастная vi-

talities!» — теперь со вздохом думал Яценко, и прежде так восторгавшийся этим ее свойством. Отбыв повинность, он большую часть дня проводил в кресле на палубе. На пароходе выходила каждое утро газета. В ней появились заблаговременно напечатанные во Франции статьи, объявления, заметки, но две страницы отводились последним, получавшимся по беспроволочному телеграфу новостям. Именно вследствие сжатости этих новостей, из пароходной газеты еще больше, чем из других, было ясно торжество зла над добром в мире. На одной странице сообщалось о действиях разных гангстеров, на другой о действиях некоторых правительств, и порою совершенно нельзя было понять, чем одни отличаются от других. «Конденсированное зло, как есть конденсированное молоко. Как же могут при этом уцелеть идеи, о которых в моей пьесе кратко говорит Лафайетт? Эти идеи устарели, но их дух, «лафайеттизм», со всеми необходимыми огромными поправками и дополнениями к нему, это все же единственное, что может помешать превращению мира в грязное кровавое болото. И, разумеется, тьма теперь идет с востока. Договор с разными Александрями Невскими, заключенный большевиками в 1941 году, просуществовал столько же времени, сколько их договор с Риббентропом. Великое же несчастье человечества в том, что разрешен будет моральный спор лишь в зависимости от соотношения военной мощи. Ничем не могут помочь и Объединенные Нации, где из произносящихся слов девяносто девять лживы или слащаво-лицемерны, как те надгробные речи, которые своим полным противоречием правде об умершем производят на людей, его знавших, впечатление неприличия или издевательства... О моем отце ничего нигде не писали». Он вспомнил похороны матери. Слишком страшно было думать о том, что теперь лежало под могильным памятником

на петербургском кладбище. «А папа вообще неизвестно где был закопан. А я пожимал руку его убийцам».

Работы у него больше никакой не было. «Это тоже наша писательская беда, — думал Виктор Николаевич. — Когда кончил одну вещь, тотчас начинай другую. В таком положении из всех людей только мы, да еще композиторы: либо пиши всегда, а это невозможно, либо будь полжизни бездельником». Тем не менее безделье не очень его тяготило. «С другой стороны, есть и очарование в нашей свободе: работаешь в любое время, утром, днем, ночью, никаких обязательных часов нет, а несколько дней можно и бездельничать без угрызения совести».

В Париже он по случаю купил коллекцию старых русских книг. С тех пор, как у него оказалось немало лишних денег, доставлял себе это удовольствие, в котором, впрочем, не отказывал себе, в меньших размерах, и прежде, даже в Петербурге, где еле сводил концы с концами. Большая часть коллекции была отправлена в Нью-Йорк в заколоченных ящиках, но несколько книг он взял с собой и теперь их читал. Нашлось несколько томиков Тургенева. Он не любил этого писателя и считал его второстепенным. Слова «Тургенев и Толстой» всегда казались ему оскорбительными, как впрочем и слова «Толстой и Достоевский»: рядом с Толстым не должно было ставить никого. Теперь на пароходе Яценко — неизвестно для чего — выписал из «Дворянского Гнезда» две позабавившие его фразы: «Что-то грациозно-вакхическое разливалось по всему ее телу»... «Однако уже, кажется, одиннадцать часов пробило», — заметила Марья Дмитриевна. Гости поняли намек и начали прощаться»... Какие понятливые гости! А все-таки написал он и одну необыкновенную книгу «Отцы и дети», и несколько маленьких шедевров, как «Ста-

рые портреты». И этим слава его оправдана»... Но вся вообще жизнь, изображавшаяся Тургеневым в романах и рассказах, вызывала у него полное недоумение. «Неужто в самом деле была такая Россия? Во всяком случае, кроме ее природы, кроме чудесных лесов, рек, равнин, ничего от нее не осталось, и народ в ней живет совершенно другой».

В одной из наудачу захваченных книг Яценко наткнулся на слова Феофана Прокоповича: «Суть нецыи (и дал бы Бог, дабы не были многии) или тайном бесом льстимии, или меланхолией помрачаеми, которыи такова некоего в мысли своей имеют урода, что все им грешно и скверно мнится быти, что либо увидят чудно, весело, велико и славно, аще и праведно, и правильно и не богопротивно, например: лучше любят день ненастливый, нежели ведро, радуются ведомостями скорбными, нежели добрыми; самого счастья не любят, и не ведают как то о самих себе думают, а о прочих так: аще кого видят здрава и в добром поведении, то, конечно, не свят; хотели бы всем человеком быти злообразным, горбатым, темным и неблагополучным, и разве в таком состоянии любили бы их.»

Его решение было принято. Он знал, что уйдет и из кинематографа, как ушел из ОН, и уйдет по тем же причинам. Теперь беспристрастно оглядывался на свою литературную работу. «Мои «Рыцари Свободы» были вполне честной пьесой. Может быть, эта пьеса нехороша или устарела по фактуре, может быть, Тони права в том, что я слишком рационалистичен. Может быть Лина не очень активизировала Надю или даже не была на нее похожа, может быть, Лиддеваль не «активизировал» Делаваара, и самая мысль о том, чтобы показать Надю и Делаваара «в движении», — не в статическом, а в динамическом состоянии, — была неправильна, так как они оба по при-

роде к движению, к драме — едва ли способны. Но это была м о я мысль, за успехом я не гонялся и даже, когда писал, не имел почти никакой надежды на постановку; т. е. писал так, как только и надо было бы писать. Пемброк купил пьесу случайно, да, вероятно, никогда ее и не поставит. В «Рыцарях Свободы» была большая идея, одна из больших идей века. Их сюжет был очень значителен. “The Lie Detector”, как пьеса, много лучше, много лучше и диалог. Но сюжет и идея уже гораздо менее значительны, а главное, здесь я пошел на уступки, о которых стыдно вспоминать. Не случайно в этой пьесе оказалась одна декорация и очень немного действующих лиц. Так теперь пишут почти все, именно для облегчения постановки. Драматическое искусство изменилось оттого, что жизнь вздорожала. Да, я эту пьесу писал для успеха, хотя и не только для успеха. Это, во всяком случае, был предел возможных уступок, дальше — правда, значительно дальше — антиискусство. Согласившись же на фильм, я предел перешагнул, и это тотчас почувствовали Пемброки и Делавары, теперь желающие купить меня для постоянной работы. И, конечно, если уж «изобличать», то не кинематограф, что легко и банально, а писателей, идущих в кинематограф. Теперь, будучи обеспечен на год или два, я даже не имел бы оправдания в бедности. По существу, в бедности дело бывает и редко: за исключением эмигрантов, писатели почти никогда не голодают, по крайней мере в настоящем смысле слова. Нас соблазняют деньгами собственно не с целью подкупа: в конце концов, кому мы так особенно нужны? Человечество и вообще могло бы обойтись без писателей, а люди «подкупающие» тем более. Нам просто говорят, чтобы мы позаботились о человеческом развлечении. А так как развлекать людей легче всего несложным, условным, занимательным, п р и я т н ы м искусством, то вы нам

такое и подавайте: нам будет хорошо, и уж вы тогда никак не останетесь в убытке».

В смягченной форме он изложил эти мысли Наде. Они очень ей не нравились. — «Что же, по-твоему, подаянием вам надо жить, что ли? — спрашивала она. — А то уж лучше ты оставался бы в Объединенных Нациях! Меня только не брани: я тебя никогда не уговаривала уходить оттуда! Было бы второе ремесло, как у многих других».

Он знал, что это правда. «Она, однако, не понимает, что второе ремесло высасывает из нас соки. Разумеется, писатели ничем не лучше, чем другие люди: из-за болезненного честолюбия и тщеславия они, скорее, даже хуже большинства других. Но чаще всего писатели, при втором ремесле, фактически больше искусством заниматься почти не могут и уж, во всяком случае, не дают того, что могли бы дать. Теперь все эти Лиги Наций, ООН, планы Маршалла создали новый огромный казенный пирог, на который и набросилось множество предприимчивых честолюбивых людей, они соблазнили и меня. Это легко сказать: “*Vivre en bourgeois et penser en demi-Dieu*”.*) Какие уж мы полубоги! Да, у нас, людей искусства, есть свой «Мост вздохов»: символически выражаясь, с одной стороны, дворец, с другой стороны, тюрьма: выбирай. И столь многие «сребролюбием недуговав», выбирают либо казенный пирог, либо легкое приятное, то есть очень плохое, искусство. Каждый должен решить, чему хочет служить. И мне теперь ясна связь моего личного освобождения с общим огромным делом освобождения человечества. В мире идет одна великая борьба, каждый обязан стать на ту или другую сторону, я свою сторону выбрал давно: за свободу нынешнего человека против небывалого рабства с санаториями и со всякими хо-

*) Жить как буржуа и думать как полубог.

рошими обещаниями в будущем. Но нельзя участвовать в борьбе, если одновременно ради выгоды работаешь в учреждениях лицемерных, в предприятиях, развращающих мысль и вкус рядовых людей. Я сначала пристроился к одному казенному пирогу, теперь меня приглашают пристроиться к другому, и я не буду себя убеждать в том, что первый служит идее мира, а второй служит искусству... Да и Дюммлеровская «Афина» была сбившейся на пародию Организацией Объединенных Наций. Впрочем, слова «пошлость», «пародия» тут не подходят. Но Дюммлер прав: было что-то общее, ирреальное, не поддающееся определению. Быть может, оно было связано с тем, что взята была прекрасная идея, в которую почти никто из основателей не верил, что пытались объединить людей, которых объединить невозможно, что в дело вошли люди, ставящие себе совершенно разные цели, что примазались и господа, никаких целей, кроме личных и скверных, не имевшие. Получилось что-то ненужное, порой уродливое, вводящее людей в заблуждение, дающее несбыточные обещания, порождающее ложные иллюзии. И Лига Наций, и ООН, и многие личные драмы, все это тот же «Звонок Кут-Хуми». — Он вдруг с радостью подумал, что так, быть может, назовет свою книгу. — «Но я даже не мог бы передать все то, что кажется мне ирреальным. Я не буду участвовать в протитуировании мысли, принимающей характер общественного бедствия. Хороши ли мы или нет, со всеми нашими моральными недостатками, со всеми нашими смешными сторонами, с нашей профессиональной манией величия, мы, писатели, все-таки соль земли. И наше освобождение от власти денег, от соблазна успеха, это важная часть общего вопроса об освобождении. Умные люди, правда, говорят, что задача нашего времени это создать свободные учреждения. Но это недалеко ушло от

большевистских представлений: пока нужны концентрационные лагеря, а потом придут хрустальные дворцы»...

Яценко со смешанными чувствами подумал, что все же в нем очень сильно то морализующее начало, о котором говорил ему Дюммлер, цитируя Оскара Уайльда. «Где же я найду точку приложения для новых своих взглядов, если брошу литературу? Если же не брошу, то попытаюсь по-новому увидеть углубленную правду, а в ее свете человеческую душу».

О «Рыцарях Свободы» Пемброк теперь только изредка упоминал, как-то скороговоркой сказал, что вынужден отложить постановку на неопределенное время этой удивительной пьесы, — сказал с таким выражением ужаса и отчаяния, какое могло быть у Гоголя, когда он бросил в печь «Мертвые Души» (если это в самом деле было). Яценко хотел было спорить, но заранее почувствовал необычайную скуку и не поспорил.

Как будто все стало ясным и в отношениях с Надей. Он знал, что женится на ней как только она получит развод. «Это главное предложение, все остальное придаточные, разные «хотя»: «хотя» не влюблен, «хотя я люблю ее «как человека», «хотя столько лет разницы в возрасте тяжелое препятствие», «хотя она и для своих лет еще слишком молода», «хотя она любит все то, что я не люблю или почти разлюбил: успех, деньги, светскую жизнь, having a good time. Теперь у нее все это, вероятно, будет и без меня. Даже слишком много будет всего этого!» — думал он, морщась при мысли о Делаваре.

Яценко прекрасно знал, что Надя Делаваром не увлечена. «Если б была увлечена, она, со свойственной ей честностью и прямоотой, мне это сказала бы и уж во всяком случае не стала бы над ним смеяться... Она сказала бы, а что я ответил бы? — с внезапной зло-

бой спросил себя он, вдруг ясно почувствовав, как он ненавидит Делавара. «Он стал мне действовать на нервы еще с первого дня нашего знакомства... Что я ответил бы? Я сказал бы ей, что он на ней не женится, что он ее бросит, даст ей денег и бросит... И то, что я ей это сказал бы, показывает, конечно, что я в нее не влюблен: влюбленные в таких случаях отвечают иначе. А если б мосье Делавар великодушно предложил ей руку и сердце? Нет, ему я ее не отдам!.. Но для видимости пришлось бы начать соревнование в благородстве с Надей: она сказала бы, что не может меня бросить, я ответил бы, что она должна меня бросить. Делавар это, конечно, ерунда. Но она просто была бы свободнее без меня, может быть, даже и счастливее? А вдруг окажется, что никакого успеха у нее нет? Тогда я умолял бы ее взять у меня денег, а она отказывалась бы. С точки зрения «нецких» это, впрочем, еще недостаточно «злообразно»: надо было бы, чтобы она меня умоляла дать ей денег, а я отказывался бы. Я мог бы еще ей предложить, что я останусь на службе, если она откажется от кинематографа? Так Генрих IV-й предлагал своей жене бросить любовника и в обмен соглашался бросить своих любовниц... Нет, пусть она решает вполне свободно: выходить ли ей за меня или нет», — нерешительно отвечал он себе, понимая, что ее отказ был бы для него все-таки тяжелым ударом. «Значит я стар... Во всяком случае тут необходимо быстрое решение, хирургическая операция... Все хирургические операции удаются, только больной умирает»...

Он думал также, что, если б Надя его бросила, то он постарался бы себе создать такую жизнь, как Дюмлер. «Он провел свой век лучше, чем кто бы то ни было другой из всех, кого я знаю... Но это одиночество старого холостяка, эта квартира без женщин, его одинокие, нескончаемые ночи»...

Иногда он все же не без удовлетворения думал, что кое-что, правда не то, — «избави Бог! совсем не то!» — он предвидел в «Рыцарях Свободы». Надя не очень походила на Лину, Делавар только отдаленно был похож на Лиддеваля, никакого романа между Надей и Делаваром не могло быть, — «интуиция» позволила ему лишь схватить что-то очень внешнее, поверхностное, маловажное. «Мы все только ходим около жизни, кое-что интуицией чувствуем, но немного. Иначе мы и жить не могли бы, — думал он. — Нет, я все-таки не назову свою книгу «Звонок Кут-Хуми». В таком заглавии было бы что-то искусственное, неприятно-эстетское. Дюммлер говорил о “Pursuit of Happiness”. Это было бы недурное заглавие для книги: «Путь к счастью» или «Освобождение», — в сущности это почти одно и то же. Пьесы же надо бросить. В обеих пьесах есть вдобавок искусственность, почти фальшь, происходящая от того, что действующие лица — иностранцы. Нет, с театром конечно. Если я вообще буду писать, что сомнительно, то скорее всего напишу трудно-читаемую психологическую книгу, с множеством всевозможных отступлений, и пусть критики говорят о непродуманности плана, о сумбурном строении, о плохой композиции, я постараюсь стать равнодушным к этому», — подумал он, возвращаясь к все больше его мучившим мыслям. «Знаю, как это трудно. Сам Достоевский не мог от этого вполне освободиться: в своих письмах он часто беспокоится об э ф ф е к т е, который произведет то или другое его произведение, — и слово какое неприятное употреблял: «эффект». Но всем, и большим писателям, и нам, грешным, одинаково необходимо освободиться от всех видов тоталитаризма, даже от полутоталитаризма театрального и книжного рынка: «пиши так, чтобы нам нравилось, или не пиши и пропадай», как пропал бы сам Марсель Пруст,

если б не мог жить на свои деньги, писать независимо и быть собственным издателем. Талант, а тем более гений, профессией быть не может. Между тем мы сделали ремеслом то, что по самой природе своей ремеслом быть не должно».

Один вечер выдался холодный. Пароход немного качало. В небе мерцали всего три звезды. Оно было мрачное, темное с редкими беловатыми фигурами и полосами, как на картинах Греко. Внизу было одноцветно-черное море. Виктор Николаевич опустил руки в карманы надетого в первый раз на пароходе пальто. В правом кармане он нашел большой конверт с брошюрой и журналом. «Это еще что? Ах, да»... Перед отъездом из Парижа он побывал опять в «Юнеско» у него там были знакомые, и он все больше интересовался этим учреждением. Там тоже были вежливые служители, справлявшиеся о посетителе, звонившие куда-то по телефону и выдававшие затем пропуск, тоже висели разноцветные карты мира, тоже продавались в киосках газеты, тоже на дверях комнат были прибиты карточки с именами, все как в ООН; с внешней стороны разница была лишь в том, что в кабинетах высших служащих были умывальники, — это огромное здание прежде было гостиницей. В «Юнеско» ему и дали эти издания.

На палубе было пусто и неуютно. Он вошел в ярко освещенную маленькую гостиную. “*Si le roi le savait, Isabelle*”, — пела с неподражаемым искусством Эдит Пиафф. Он сел в кресло и, прислушиваясь к граммофону, стал просматривать бывшую в желтом конверте брошюру. «Организация ставит себе целью способствовать миру и сотрудничеству между народами посредством воспитания, науки и культуры», — неуклюже переводил он мысленно. В брошюре указывалось, что именно организация будет делать для достижения этой цели, а также то, что уже

делается. «Да ведь это и есть выход, — разумеется, только как символ, — подумал Яценко. — Конечно, не Юнеско само по себе. Вероятно, и там так же пахнет казенным пирогом, как в ООН и в других таких же организациях. Но, по крайней мере, в теории это первая, и единственная, пожалуй, в настоящее время практическая попытка воплотить в жизнь картезианские начала. В этом теперь главная надежда человечества, его «путь к счастью», который и в кавычках, и без кавычек будет поважнее моего. Дюммлер как-то при мне повторял слова Прудона: “*L’ironie est le caractère du génie philosophique, l’instrument irresistible du progrès*”^{*)}). Да так ли это? Нельзя ли сократить роль иронии и в моем миропонимании? Буду ли я еще что-то писать или нет, мой путь впредь будет иной, чем до сих пор.

Волнение у него все росло. “*Isabelle, si le roi le savait*”... Да, да, если бы они знали?.. Идею мирного развития человечества, идею разумного соглашения, служению разуму и знанию *с т о и т* отдать остаток жизни. Все же какая-то новая жизнь появится, и строить ее будут новые люди, верящие в нее и в разумное начало в человеке, что бы такое он ни натворил в последние сорок лет. В этом строительстве найдется и место для меня, со всеми моими слабостями, со всеми моими грехами и ошибками, даже с малым запасом отпущенной мне веры».

И вдруг, непонятным образом, при звуках этой, не очень хорошей, никак его не волновавшей песенки, ему стало особенно ясно, что и Надя воплощает в себе кое-что из препятствий на пути к его резонерской свободе. «Но, если так, то, значит, я не люблю ее, — сказал он себе. — Может быть вся моя душевная жизнь в последние недели была «осво-

^{*)} «Ирония особенность философского гения, могущественное орудие прогресса».

бождением» и от нее? Она слишком молода для меня и слишком любит все то, чего я больше не люблю... Тогда мой долг был бы сказать ей это, — подумал он, твердо зная, что первый никогда этого ей не скажет. — Но моя совесть спокойна. Писать я, быть может, не буду и слава Богу! Пусть пишут настоящие большие люди, пусть выходит в год сто книг, как когда-то, а не, как теперь, сто тысяч книг, которых прочесть все равно нельзя и которые навсегда забываются через несколько месяцев. Да и они должны создавать добрую литературу. Прав был и тут Дюммлер, и что же мне делать, если добрая литература почти всегда мне в художественном смысле неприятна и скучна? Нет, если я уйду от Нади, то уйду в то, что называется двумя испошленными словами: «общественное служение». Мое главное «освобождение» будет в этом».

V.

На третий день в пароходной газете появилась заметка с большим заголовком "The Lie Detector":

«Благодаря исключительной любезности больших кинематографических деятелей, м-ра Пемброка и м-ра де Лавара, а также знаменитого драматурга м-ра Джексона, совершающих рейс на нашем пароходе, на долю г.г. пассажиров выпадает редкая радость: завтра в 2 часа 30 в театральном зале будет показан фильм "The Lie Detector", только что поставленный м-ром де Лаваром и м-ром Пемброком по известной пьесе м-ра Джексона. Фильм этот еще нигде не шел. Знатоки предсказывают ему огромный успех».

Дальше перечислялись имена актеров. Имя Нади было набрано жирным шрифтом, и в очень лестной форме сообщалось, что она тоже путешествует на пароходе. Было также сказано, что собственники фильма любезно предоставили его в распоряжение администрации совершенно безвозмездно. Однако администрация решила в их честь сделать пожертвование в благотворительный фонд пароходного общества.

В тот же день Пемброк, Делавар и особенно Надя и Яценко стали предметом общего почтительного интереса. К ним подходили и представлялись более бойкие из пассажиров, молодые люди и девицы просили об автографах. Представитель благотворительного фонда посетил их в каютах и благодарил. Альфред Исаевич был очень доволен, хотя его чуть задело, что, при втором упоминании, в заметке на первом месте был назван Делавар. Но автор был знаток чело-

веческой души, имел немалый опыт с путешествовавшими знаменитостями и вдобавок не знал, что де Лавару принадлежало только сорок процентов в деле.

— ...А я и понятия не имел, что вы французский дворянин! Вероятно, ваш предок-крестоносец застрял когда-то на востоке, — съязвил Альфред Исаевич. Делавар пожал плечами и сделал вид, что он тут совершенно не при чем. Формально было действительно так: «де Лаваром» его записал Макс Норфольк, нашедший, что давно пора пожаловать боссу дворянство. «Попробуем, а там видно будет. Он не рассердится и в крайнем случае взвалит все на меня». Босс и в самом деле не рассердился. С этого дня Альфред Исаевич называл его виконтом. Виктор Николаевич был очень доволен.

Зал был переполнен еще минут за десять до начала спектакля. Когда Надя вошла, несколько человек встали и предложили ей занять их место. Она, отрицательно мотая головой, поблагодарила их улыбкой, — и Пемброк, и Норфольк, и Яценко одновременно подумали, что у нее уже именно такая улыбка, какая полагается кинематографической знаменитости.

Фильм имел большой успех. Пассажиры этого парохода видели все и всех в театральном мире и никогда шумно восторга не выражали. Но и на них подействовала праздничная атмосфера, присутствие в зале автора и звезды. При появлении на экране горничной раздались довольно долгие рукоплескания. Позднее публика была в недоумении: неужели в самом деле кинематографическая звезда согласилась играть столь маленькую роль? Тем не менее после окончания фильма аплодировали много и даже кто-то вызвал автора, который быстро и незаметно скользнул к выходу. Сотрудник пароходной газеты просил сообщить подробности о постановке. Альфред Исаевич сиял.

— Огромный успех! Огромный! — говорил он.

— Триумф! Полный триумф! — говорил Норфольк.

Фильм и в самом деле был очень недурен. Играли все хорошо, особенно знаменитая артистка с остановившимися глазами. Надя, порозовевшая и похорошевшая, принимала комплименты, давала автографы, сердечно благодарила. Прежние ее съемки, даже песнь комсомолки на оружейном заводе, не дали ей в свое время и десятой доли нынешней радости: так там все было серо, и так у всех над всем преобладал страх: что скажут рецензенты «Правды» и «Известий». Публика этого парохода, конечно, была самая избалованная в мире.

Делавар пригласил своих спутников в «Фонтенебло».

Он по-настоящему влюбился в Надю, готов был на ней жениться, готов был перевести на ее имя миллионы. Мысль, что он для нее никаких денег не пожалеет, наполняла его гордостью. Раз даже подумал о дуэли с американским драматургом, но Джексон был недостаточно известный человек, и в Соединенных Штатах дуэли были не приняты, и секундантов было бы достать невозможно. Надя снилась Делавару каждую ночь. Ему приходили в голову и благородные, и менее благородные планы. Он раза три звал Надю в свою каюту — полюбоваться *boiserie*; она под разными предлогами отказывалась. Теперь в его гостиную принесли Монтебелло 1929 года, и он опять сказал небольшое, очень милое слово.

Бридж был отложен до шести часов. Надя зашла в каюту Виктора Николаевича, — бывала у него на пароходе из приличия очень редко. Но в это время дня в каютах никого не было. Она его обняла и горячо благодарила.

— ...Правда, ты свинья. Моя роль такая крошечная, что неловко смотреть людям в глаза! Но я знаю, что я имела успех и что без тебя я никакой роли не получила бы. Ты свинья, но я всем тебе обязана! Это очень неприятно быть всем обязанным свинье!

Он понимал, что она ругает его все-таки не совсем шутливо. Тем не менее он был тронут. Они затворили дверь.

Выйдя из каюты, Надя отправилась к себе переодеться: теперь, как известная всем на пароходе звезда, она должна была бы менять платья три раза в день, но скоро подсчитала, что платьев не хватит. Она зажгла лампу. На столике лежала телеграмма. Надя не сразу поняла, что это такое: забыла, что на пароход можно телеграфировать. «Телеграмма? В чем дело! От кого?»..

Поверенный, взявший на себя ее бракоразводное дело, сообщал, что пока, по формальным причинам, развода получить нельзя и что дело затянется. Обещал сообщить все письмом и просил указать нью-йоркский адрес.

VI.

— Так теперь вы, дорогой мой, решили заняться шантажем? — спросил, немного успокоившись, Гранд. — А как же законы вашего штата? Не сделаете ли вы мне ваше предложение письменно?

— Давайте говорить серьезно, — сказал Норфольк. — Тони мне все сказала.

— Кажется, вы мне говорили, что наши умственные источники света поляризованы по-разному. Очевидно, у вас изменилась плоскость поляризации?

— Давайте говорить спокойно, откровенно, деловым образом. Да, если хотите, вы указали мне способ действий. Вы начали. Я тоже дилетант... Мы кстати и разговариваем с вами неправдоподобно. О таких делах настоящие люди, не дилетанты, верно разговаривают иначе. Слишком много иронии, — сказал с досадой старик. — Ирония хорошая вещь, но не надо ею злоупотреблять. Ею злоупотребляют только очень несчастные люди. Мне еще можно, а вы молоды, бодры, умны. Будем говорить без иронии, надоело. Тони мне все рассказала.

— Хорошо, будем говорить серьезно. Вы сказали, что политика силы это псевдоним шантажа. Но ведь для того, чтобы ее вести, надо иметь силу. Скажем правду, у вас ничего нет. Я в свое время предлагал вам соглашение, выгодное для обеих сторон. Вы же просто хотите, чтобы я ни с того ни с сего отдал вам мои бриллианты.

— Не ваши, а те, которые вы украли!

— Если вы будете говорить в таком тоне, то я попрошу вас выйти вон! — вспыхнул Гранд.

— Пожалуйста, извините меня. У меня это слово сорвалось.

— То-то... Вы меня тогда угощали хорошим шабли, — сказал Гранд. Голова у него быстро работала. «Что у него в руках?.. Неприятно... Эх, жаль, только что начал новую жизнь». — Хотите я закажу? — Он взялся за телефон. — Что прикажете? Впрочем, у меня и в каюте есть арманьяк. Хотите?

— Ну, что ж, дайте, — не сразу ответил Норфольк. — Кстати у вас телефон только местный, пароходный?

— А то какой же?

— Мой босс из своей каюты «Фонтенебло» может в любую минуту вызвать Париж или Лондон.

— Подумайте, до чего дошла техника! Нет, я могу отсюда говорить только с буфетом. Неужели он может прямо из каюты позвонить в Париж?

— Может. И я с его разрешения в Париж и позво-ню, если мы не договоримся.

Гранд сделал вид, будто не расслышал, достал несессер. Норфольк внимательно на него смотрел. «Бриллианты здесь, я так и думал»...

— Покорно вас благодарю... Нет ли у вас другого дорожного стаканчика?

— Нет. Я выпью из этого, — сказал Гранд и взял стакан со стеклянной полки над умывальником. — Здесь два, я для зубной щетки употребляю тот, левый.

Они выпили.

— Вы меня подкупаете тем, что так любите пить, — сказал Гранд. — Я тоже люблю. Без этого я и разговаривать с вами не стал бы.

— Отчего же нет? Вы сказали, что я вам ничего

не предлагаю. Это неверно. Я вам предлагаю оставить себе четыре бриллианта из десяти.

— Почему же такое великодушное предложение?

— Я учитываю конъюнктуру и соотношение сил. Если дойдет дело до прокуратуры, то моя приятельница получит камни не скоро, а у нее нет ни гроша.

— Ни гроша? — спросил Гранд и задумался. — Да, в самом деле откуда же у нее могут быть деньги? Я и то удивляюсь, как она купила билет. Бедная... Но насчет прокуратуры вы это забудьте думать. Ни к какой прокуратуре вы обратиться не можете и не обратитесь.

— Почему?

— Потому, что для этого нужны были бы доказательства.

— А вы думаете, у меня их нет? Во-первых, у Тони остались ваши поддельные бриллианты. Полиция, конечно, легко выяснит, кто и кому их заказывал. Кроме того, я вам, помнится, говорил, что у парижской полиции есть ваше досье. Кроме того, полиция меня знает. Кроме того, на этом же пароходе путешествует мой босс, который видел настоящие бриллианты Тони.

— Все это пустяки. Во-первых, я м о г заказывать бриллианты по просьбе самой Тони. Во-вторых, никакого досье полиция обо мне не имеет. В-третьих, я вас обоих тотчас привлек бы к ответственности за клевету. В-четвертых, шум и вам будет не очень приятен, особенно Тони, — многозначительно сказал Гранд. «Какую-то кость придется ему выкинуть, очень подлый старик», — думал он.

— Я вообще, как уже, кажется, говорил вам, всегда предпочитаю любовное соглашение. Но как вам угодно. Не дадите шести бриллиантов?

— Не дам, конечно. Добавьте, что у меня их осталось всего семь.

— Куда же делись остальные? — тревожно спросил Норфольк. Он этого в особенности опасался.

— Продал.

— Зачем?

— Глупый вопрос!.. Впрочем, извините, мы условились говорить вежливо. Станный вопрос. Нужны были деньги, потому и продал. Тони верно вам сказала, в каком материальном положении я был перед делом. Если б не такое положение, разве я сделал бы неприятность этой милой женщине?.. Скажите, как ее здоровье?

— Неважное, неважное, — сказал Норфольк. — Зачем же вы продали три бриллианта? Достаточно было бы продать один.

— Вы что, считали в моем кармане? У меня были долги. И я уезжал за границу. И за эту каюту надо было заплатить, правда? Я продал три бриллианта.

— Почему?

— Один за триста сорок тысяч французских франков, другие два за шестьсот пятьдесят.

— Продешевили, они стоили много дороже, — сказал Норфольк, чтобы сделать ему неприятность.

— А вы откуда знаете? Вы разве их видели?

— Видел раз, в Ницце, и я знаю толк в драгоценных камнях... Они у вас тут, в несессере?

На лице Гранда скользнуло неприятное удивление.

— В несессере? Почему вы думаете? Кто же держит бриллианты в несессере?

— Многие. Человек хранит у себя драгоценности и боится воров. Если он не хитер, он запрет их в сундук на ключ. Если он хитер, то он рассуждает так: вор взломает сундук, но ему не придет в голову, что ценные вещи могут храниться в незапертом чемоданчике или шкапу: поэтому положу-ка я их на полку и прикрою полотенцами или газетой, а шкапа не затворю. Если же человек очень хитер, то он себе ска-

жет: вор не дурак, он понимает, что я для отвода глаз могу положить драгоценности на полку под полотенце, и он именно там и будет искать. Поэтому очень хитрый человек, в отличие от хитрого-просто, сделает то же самое, что не-хитрый: спрячет все под замок... В несколько иной форме то же самое происходит порою в политике: ультра-обманщики, в отличие от обманщиков-просто, говорят о своих планах совершенную правду, с полным основанием предполагая, что им все равно не поверят: люди будут искать в их словах скрытого смысла, конечно какой-нибудь скрытый смысл найдут и таким образом попадутся на удочку. Так делал Гитлер. Обманщики расходятся с честными людьми, но ультра-обманщики с ними сходятся.

— Слишком много вы болтаете... Так вы меня не считаете о ч е н ь хитрым человеком?

— Если б я был помоложе, то я, может быть, решился бы без вашего ведома заглянуть в эту каюту, скажем, часа в четыре, когда каюты пустуют. Никаких инструментов у меня с собой нет, и хотя бы уже поэтому я ваших Уиттоновских сундуков не тронул бы, но в несессер позволил бы себе заглянуть.

— Значит, вы готовы только на простую кражу, а на кражу со взломом вы не пошли бы? Это делает вам честь. Надеюсь все же, что вы в мою каюту не заглядывали?

— Нет. Риск был бы слишком велик: могла бы, например, войти горничная, и вышла бы большая неприятность. Кроме того, заметив кражу, вы подняли бы на ноги пароходную полицию. Я решил, что гораздо проще зайти к вам в гости и поговорить поджентльменски. Рад был вдобавок при случае отдать вам визит... Покажите же мне бриллианты.

Гранд подумал, пожал плечами и достал камни из несессера.

— Не подумайте только, что я вам их отдаю, — сказал он. — С вашего разрешения я их вам в руки не дам, вы можете полюбоваться ими на расстоянии. Видите, здесь три, остальные четыре лежат в сундуке, их я вам не покажу: слишком утомительно.

— Но я хотел бы получить и те.

— Перестаньте шутить. Небольшую сумму я готов был бы вам заплатить, и то лишь потому, что мне жаль Тони.

— Что вы называете небольшой суммой?

Гранд еще подумал.

— Я вам дам один бриллиант.

Норфольк встал со складного стула. «Был бы моложе и сильнее, дал бы ему пощечину!» — подумал он, скрывая бешенство.

— Жаль, очень жаль, что вы не идете на соглашение. Прощайте, я иду сообщить о деле капитану парохода.

— Идите, идите, дорогой мой, — сказал Гранд. Старик отворил дверь. «Кажется, в самом деле подаст жалобу», — подумал с тоской Гранд. Понимал, что, независимо от дальнейшего, он вылетит из ордена богатых людей после первого же сказанного капитану слова. Блефф был с обеих сторон. Норфольк перешагнул через порог, но не прочь был вернуться. — А не хотите допить арманьяк?

— Какая ваша последняя цена?

— Два бриллианта.

— Не могу! Три и, клянусь, это мое последнее слово, — сказал Норфольк и опять сел на стул. — Послушайте, у вас останутся четыре бриллианта, они стоят полтора миллиона франков. Этой суммы хватит в Америке надолго, вы умный и ловкий человек. А она нищая, у нее ничего нет, она едет искать там работы и, может быть, ничего не найдет. Вдобавок, она больна. Эта женщина вас любила, и вы ее люби-

ли или, по крайней мере, говорили, что любите. Неужели вам не совестно?

Гранд с полминуты сидел молча и вдруг заплакал. Норфольк смотрел на него с изумлением. «Плачет по-настоящему, почти как ребенок!»

— В чем дело? Я, право, не хотел... Вы легко можете исправить свою вину.

— Я вам отдам эти бриллианты... Три бриллианта... Я сам хотел послать ей деньги из Южной Америки, — сказал Гранд, вытирая глаза платком. — Вы мне, конечно, не верите, но это так, даю вам слово!

— Я вам верю.

— Я любил ее. Рана зажила, но шрам остался, — сказал Гранд. Это изречение немного его утешило. — Я сейчас дам вам три бриллианта.

— Вот это гораздо лучше, — сказал старик и выпил еще арманьяка. «Не потребовать ли все-таки четыре? Нет, нельзя. Еще взбесится!»

— Если б вы с самого начала сказали, я не торговался бы. Чем она больна?

— По-моему, сильнейшим нервным расстройством.

— Это от морфия, — сказал Гранд. Он подумал, что следовало бы послать Тони цветы. «Розовые хризантемы, — «вы меня не поняли»? Хотя что же тут непонятного?.. Эдельвейс, — «сохраним друг о друге воспоминание, полное благородства»? Нет, она рассердится. И тогда надо было бы к ней зайти. Нельзя, нельзя. Хорошо, что она едет во втором классе и что послезавтра мы будем в Нью-Йорке. Не встретиться бы на пристани... Бедная, так ее жаль».

— От морфия! Она морфинистка?

— Да. Вы не знали?

— Понятия не имел! — сказал старик пораженный. «Вот оно что! Это многое объясняет!» — подумал он и назвал себя старым дураком.

Теперь Гранд смотрел на него с любопытством. «Старичку Тони нравится! В его годы — и туда же! Я, впрочем, и предполагал, что он фальшивый Дон-Кихот. Может быть, он и комиссию с нее получает? Моя психопатка способна была предложить ему пятьдесят процентов! Я посоветовал бы ей больше четверти не давать», — подумал он и сразу совершенно успокоился. Гранд почти никогда долго ни о каких своих действиях не жалел, — «ну, ошибся, кто же не ошибается?» О трех бриллиантах жалел, но тоже не слишком: не был скуп, и оставалось у него достаточно. Еще тяжелее было бы выскочить из ордена. «Может быть, оно даже и к лучшему: она несчастная и сумасшедшая, потому отчасти и несчастная, что сумасшедшая. Теперь она, конечно, никаким наследникам отдать ничего не может, значит, я ее спас»... На старика же он был несколько зол: «Я понимаю, шантажист, но будь шантажистом вежливым! А он пристал с ножом к горлу! «Украли»! Невоспитанный человек!» Ему было совестно, что он заплакал. «Сдают нервы».

— Вы сами отдадите ей бриллианты? — спросил Норфольк.

— Нет, мне тяжело было бы с ней встретиться. Отдайте ей с моим сердечным приветом... Принесите мне от нее расписку, что я купил у нее десять бриллиантов, и я вам передам три.

— Расписка приготовлена. Именно такая, — сказал старик. Гранд кисло улыбнулся. — Вот она. Вы знаете почерк Тони? Дайте мне три бриллианта, и я вам передам расписку. Если хотите, я положу расписку на умывальник, а вы рядом положите камни, и мы возьмем одновременно, — добавил он, хотя знал, что в такой предосторожности никакой надобности нет. Гранд пожал плечами.

— Вы умный человек, но комедиант.

— Я это часто слышал, однако это неверно, — сказал Норфольк.

— Только, пожалуйста, не забудьте отдать ей бриллианты.

— Нет, я не забуду. Вы видели, что у меня хорошая память, — ответил старик.

— Но я теперь не вполне уверен, что у вас именно Дон-Кихотская плоскость поляризации, — сказал Гранд, оскалив квадратные зубы в улыбке. Лицо Норфолька исказилось злобой. Он отвернулся и вышел.

VII.

Состоялся и бал-гала в предпоследний день рейса, и концерт, в котором по традиции приняли участие находившиеся на пароходе известные артисты. В понедельник, под вечер, вдали показалось что-то длинное, бледное. Моряки говорили, что это земля.

Среди пассажиров третьего класса распространился слух, что их высадят лишь на следующий день. Наиболее же мрачные, в громадном большинстве иностранцы, говорили, что может пройти и три дня.

— ...И то, если вы не попадете на Остров Слез и если вас не отправят назад... Не может быть? Очень может быть! — говорил Ди Пи, бывший венец, бывший владелец галантерейного магазина на Кернтнерштрассе. Он всем в дороге рассказывал, что настоящая жизнь была только при императоре Франце-Иосифе и что у него были лучшие галстуки в Европе. «Эрцгерцоги могли покупать и даже иногда покупали! — говорил он и меланхолически добавлял: „Aber für das Gewesene giebt der Jude garnichts“.

Как полагалось по всем фильмам, пассажиры выстроились в несколько рядов на палубах, чтобы увидеть Статую Свободы. Но вечер был туманный, впереди ничего не было видно, кроме бесчисленного множества разноцветных огней. И только по этим огням можно было догадаться, где дома, где корабли, где мосты.

К двигавшемуся теперь очень медленно пароходу подошло что-то темное. Точно прямо из воды всплыл и оказался на палубе осанистый человек в ту-

журке и фуражке. — «Инспектор!».. — «Доктор!».. — «Начальник полиции!» — слышался почтительный шопот, и испуганный, и полный надежды, точно теперь все и должно было решиться. Свистки учащались. — «Вот и Америка!» — «Ну, посмотрим, что с нами тут будет». — «Хуже во всяком случае не будет»... — «Это небоскребы? Не может быть! Я думал, что они гораздо выше!» — «Чего вам нужно еще! Смотрите, где у того верхний этаж!» — «Какой это верхний этаж! Это звезда!» — «...Самый большой порт в мире!» — «Да, это вам не Гдыня». — «Тетя наверное будет на пристани» — говорили негромко люди, в большинстве нерадостно прожившие последние годы в Европе. Все были очень взволнованы.

В девятом часу пароход с протяжным свистом остановился, причалив не то к пристани, не то к чему-то тоже пловучему, что как будто вдруг могло сорваться с цепи и уйти в Европу: в Америке все возможно. Долгий страшный свисток еще усилил оживление. Но тотчас стало известно, что медицинский осмотр, допрос и проверка документов начнутся лишь на следующее утро. Утомленные люди, крича и упрекая друг друга в легковерии, раскладывали чемоданы и мешки, с трудом сложенные еще с утра. «И куда было так спешить! Ты еще должна была перевязать эти проклятые ремни!» — «Выдумали: «инспектор!» — «Какой это к чорту был инспектор! Это был чорт знает кто, а не инспектор!» — «Я с самого начала говорил, что нас сегодня не высадут! И завтра тоже не высадут, помяните мое слово!»..

Макс Норфольк тоже находился на палубе третьего класса. Его всегда тянуло к непривилегированным людям, к *underdog*. Он тотчас и здесь кое с кем познакомился.

— ...Вот оно, мое счастье, — саркастически-горестно говорил венец. — Другие люди уехали в Аме-

рику до прихода к власти дорогого Гитлера, а я все время жил в Европе. Если это можно назвать «жил». Уезжаю же я в Америку тогда, когда дорогого Гитлера больше нет!.. Если впрочем его действительно больше нет? Вполне возможно, что он жив и здоров и даже едет с нами на этом пароходе. У него наверное были аффидэвиты от миллиардеров, и бумаги у него в полном порядке. Приклеил себе бороду, надел темные очки, называется теперь Рабинович и едет в первом классе в Нью-Йорк, а? Вы этого не думаете?

— Нет, я этого не думаю, — смеясь, ответил старик.

— Не знаю, не знаю... Увидите, теперь Европа расцветет, как только я оттуда уехал. А в Соединенных Штатах наверное начнется кризис, а? Такое мое счастье!.. Подъехать к Нью Йорку и не видеть Статуи Свободы! Как бы только я ее не увидел на обратном пути! Может быть, меня не пустят в Америку.

— Отчего же не пустят? Ведь у вас есть виза.

— А если у меня завтра найдут трахому? Я в жизни не болел трахомой, но разве можно знать, что они найдут? Я дал под присягой подписку, что я не содержатель публичного дома и что я не собираюсь уничтожить американский государственный строй. Хорошо, я как-нибудь им завтра докажу, что публичного дома у меня нет, но как я могу доказать, что я не собираюсь убить президента Трумана? И особенно как я могу это доказать, если я по-английски знаю только «плиз, мистер консул»?

— Вас никто не встретит?

— Вероятно, никто. У меня племянник в Филадельфии, у него магазин готового платья, он мне прислал чудный аффидэвит. Консул просто ошеломлен, когда его увидел, и сказал мне: «ну, господин Эпштейн, вам нечего беспокоиться»... Впрочем, он, может быть, сказал что-нибудь другое: откуда я могу знать,

что он сказал?.. Но дядя хорош только американский. Кому нужен европейский дядя? Мой племянник наверное теперь думает: «аффидэвит я дяде дал, и с него совершенно достаточно. Если же я выеду встречать дядю, то он сядет мне на шею». А оспа! — с ужасом сказал венец. — Я привил себе оспу и заплатил за это как все. Но у других она привилась, а у меня, конечно, нет! Верно, заставят прививать опять!

— Зачем так мрачно смотреть на вещи? — сказал Норфольк, смеясь. Он вспомнил, что читал что-то сходное в пьесах Вальтера Джексона. «Впрочем, образ сверхпессимиста не слишком интересен». — Я понимаю, что о вашей жизни можно написать целый роман...

— И какой! — прервал его венец.

— Авантюрный роман, как о жизни всякого человека, особенно путешествующего на пароходе в третьем классе. Читать, впрочем, никто не будет потому что несчастья беженцев всем надоели. Но в конце концов все выходит, если не хорошо, то, по крайней мере, сносно. Мудрый Спиноза сказал, что свободному человеку ничего не нужно, тем более, что все в мире одновременно и плохо, и прекрасно.

— Неужели Спиноза это сказал? — спросил недоверчиво венец. — Но если он это и сказал, то что он мне рассказывает, будь он хоть двадцать раз Спиноза! Что было прекрасного в Гитлере? И я могу вас уверить, что свободному человеку, например, виза в Америку может быть очень нужна.

Норфольк разыскал Тони. «Может быть, тот мерзавец и соврал. В моей коллекции только морфинисток нехватало!» — думал он, внимательно в нее всматриваясь.

— Где вы остановитесь в Нью-Йорке? — спросил он ее.

— Не знаю. Буду искать гостиницу. Говорят, теперь Нью-Йорк совершенно переполнен?

— Да. Позвольте вам рекомендовать один недорогой отель в центре города, недалеко от Бродвэя. Меня там знают, я там долго жил, и я думаю, что если вы на меня сошлетесь, то вам комнату найдут. Хотите?

— Хочу, — ответила она, подумав. Он вынул карточку и записал название и адрес гостиницы. — Очень вас благодарю. Вы и сами там остановитесь?

— Нет, я ведь еду с кинематографическими магнатами, на счет их предприятия. Для нас заказаны комнаты в Уолдорф Астория, — сказал он оправдывающимся тоном. — Вы разрешите мне к вам зайти?

— Я буду очень рада. И еще раз вас благодарю. Вы мне оказали большую услугу... Хотя и поздно.

— Поздно для чего?

Она с вызывающей, прежней, улыбкой смотрела на него.

— Много будете знать, скоро состаритесь. Это у нас есть такая поговорка, — сказала она.

— Я ни о чем вас не спрашиваю. Если хотите что-либо рассказать, расскажите. — Давайте посидим где-нибудь, на прощание, — сказал он, всматриваясь в нее все внимательнее. «Может быть, она от волнения перед приездом даже увеличила дозу? Тогда сейчас же все о себе расскажет»...

— С большим удовольствием. Я сама хотела вам предложить это, — с вызовом в тоне ответила она. — Только ведь вы в сущности не знаете, кто я такая. Может быть, я агентка Коминтерна?

— Я думаю, вы последняя женщина, которую большевики взяли бы в агентки, — сказал он, смеясь.

— Почему? — быстро спросила она. — Потому что я ненормальна?

— Потому, что вы слишком нервны. Впрочем, я

не настаиваю, им могут быть нужны всякие люди. Так вы агентка Коминтерна?

— Я сама не знаю, — ответила она серьезно.

«Уже пьяна!» — тревожно подумал Норфольк.

— Во всяком случае я отроду ни одной шпионки не видел. Очень приятно познакомиться с первой, — сказал он, неуверенно стараясь обратить разговор в шутку.

В этот последний вечер в другом конце парохода у Виктора Николаевича был разговор с Надей.

— Ты понимаешь, твое предложение застает меня врасплох, — взволнованно говорила Надя. Ей действительно так казалось, хотя она думала об его словах целый день. — Совершенно врасплох! Конечно, эта телеграмма была для нас полной неожиданностью. Я думала, что месяца через два мы будем женаты. Посмотрим еще, что будет в письме адвоката. Во всяком случае, до того ни о каком решении не может быть речи!

— Разумеется, — поспешно сказал он.

Ему было ясно, что Надя уже приняла его предложение. «Она огорчена, но я предполагал, что она будет огорчена гораздо больше», — думал он с неприятным чувством. Ему самому было совестно этого неприятного чувства: он почти с облегчением узнал от Нади, что ее развод откладывается на неопределенное время. «Судьба мои колебания разрешила и разрешила благоприятно... Теперь ясно: освобождение «во всех смыслах». Но отчего же мне неприятно, что она не так огорчена? Для начала новой жизни не очень подходит психология собаки на сене»...

— Ты говоришь, что я должна сохранить свободу. Что это означает на деле? Только то, что я поселюсь не в твоей квартирке, а в гостинице, больше ничего, —

быстро говорила она, нервно вертя кольцо на пальце. — Наша любовь остается и останется прежней.

— Разумеется, — подтвердил Яценко. Слово «квартирка» его задело. В нем ему послышался намек на его бедность, хотя Надя этого и в мыслях не имела.

— Я понимаю, в Америке нельзя жить в одной квартире, если мы не венчаны. Об этом тотчас узнает консьерж или, как у вас говорят, супер-интендант. Говорят, на этом можно погубить карьеру, я тоже слышала, — говорила она. — «Я ничего об этом не сказал. Она сама об этом подумала и еще до того, как мое предложение застало ее «врасплох». Что ж делать, она не может быть другой. У нее трезвый практический ум, и это не мешает ей быть прелестным существом», — думал он. — Ты согласен со мной?

— Да, это тоже имеет некоторое значение.

— Как «тоже»! Только это и имеет значение. Что же еще?

— Я беспокоюсь не о том, что подумает мой супер-интендант, — сказал он и тотчас, спохватившись, подавил раздражение. Надя покраснела. — Знаю, знаю, что и ты думаешь не об этом. Но есть и другие причины. Я старше тебя на много лет. Ты гораздо моложе меня и душой. Конечно, ты могла бы всегда от меня уйти, — сказал он, бросив на нее быстрый вопросительный взгляд. — Не сердись. Я говорю то, что должен был бы сказать всякий порядочный человек.

— Ты вообще слишком много думаешь о том, что должен делать порядочный человек!

— Может быть. Если ты выйди замуж за меня не можешь, то ты должна быть совершенно свободна.

— Но я люблю тебя!

— Ты знаешь, как я тебя люблю. Пока ты любишь меня...

— Не «пока», а так всегда будет! — перебила его

Надя со слезами в голосе. Она сама не понимала, о чем с ним спорит и почему спорит: то, что он предлагал, было разумно. Однако ей было очень больно.

— Так будет, пока ты будешь хотеть, чтобы так было, — сказал Яценко и закурил папиросу. — Я предлагаю что-то вроде «свободной ассоциации», — шутливым тоном пояснил он.

— Повторяю, вся разница будет в том, что мы будем жить раздельно.

— Я достану для тебя комнату в гостинице.

— Дело не в этом. Альфред Исаевич мне сказал, что для меня будет комната в Уолдорф Астория.

— Ты уже говорила с Альфредом Исаевичем?

— Не об этом, конечно, не о том, о чем сейчас с тобой. Но он давно мне намекнул, что в Америке мне не очень удобно жить у тебя, пока мы не венчаны: «Когда повенчаетесь, тогда и переезжайте, а до того живите раздельно»... И не вздумай говорить, что ты будешь за меня платить! Платить буду и не я, а фирма Пемброка. Он сам говорит, что это входит в издержки производства.

— Какое производство, когда у тебя нового договора нет?

— Новый договор скоро будет. Они предлагают мне суточные, пока не окажется для меня роли. А когда будет роль, то будет и договор.

— «Они»? Кто «они»?

— Да Пемброк же, конечно! Фирма Пемброка. — Она вдруг расхохоталась. — Неужели ты в самом деле ревнуешь меня к Делавару? А я его просто терпеть не могу!

— В мыслях не имел! — сказал Яценко, пожимая плечами. — Теперь это твое дело, но я не советовал бы тебе соглашаться ни на какие суточные. Я тебе найду комнату в гостинице поскромнее.

Она вздохнула.

— Тогда контакт с Альфредом Исаевичем будет потерян или во всяком случае очень ослабееет. Ведь к нему будут каждый день приезжать самые важные кинематографические люди, он обещал знакомить меня со всеми. И ты понимаешь, что в Америке одно отношение к артистке, которая остановилась в Уолдорф Астория, и другое — к такой, которая живет Бог знает где. Пойми же, как это важно для моей карьеры! Ты знаешь, Альфред Исаевич сказал мне, что тотчас заключил бы договор и со мной, если бы ты с ним подписал контракт на два года. Но ты не хочешь, — сказала она полувопросительным тоном.

— Не хочу и не могу, — сухо ответил он. — Я тебе сто раз объяснял.

— Знаю, знаю, незачем объяснять в сто первый! Ты считаешь это «проституцией»! Я не считаю, и никто не считает, но это твоё дело. Я убеждена, что Альфред Исаевич все равно мне работу даст. Наконец, скоро будут поставлены «Рыцари Свободы». Я буду получать жалованье. И я тебе тоже сто раз говорила, еще в Ницце, что не хочу и не могу жить на твои деньги.

Он спорил еще долго, но чувствовал, что спорит без желания переспорить.

«Да, она, как мы все, не может быть другой. Если никто никого не может переспорить, то уж тем более никто никого не может переделать. У нее свой «путь к счастью», это успех, «красивая жизнь», как у большинства людей. Может быть, она всего этого и добьется. Есть кинематографические звезды, которые так же далеки от искусства, как она»...

— Впрочем, еще будет время обо всем поговорить. Ты уже уложила вещи?

— Нет, еще не все. Кстати, мое лиловое имеет, кажется, бешеный успех, а стоило всего восемь тысяч, — сказала Надя.

Часов в одиннадцать в залу заглянул Макс Нор-

фольк, совершавший свой вечерний обход парохода. Он попросил разрешения присесть. Они и на пароходе не раз разговаривали о самых разных предметах. «Умный и образованный человек, — думал о нем Яценко, — но у меня не лежит душа к людям, устраивающим ремесло из остроумия. Теперь он для меня особенно старается: догадался, что я его изобразил в Максе. И он все больше походит на моего Макса; вот уж именно не очень интересная жизнь старается подражать не очень хорошему искусству».

У Норфолька был необычный для него растерянный вид.

— Правда ли, м-р Джексон, что вы скоро собираетесь бросить кинематограф? — спросил старик.

— Да, это правда.

— Не мое дело давать вам советы, и вам, конечно, совершенно безразлично мое суждение, но я думаю, что вы правы. Мисс Надя сказала мне, что вы считаете работу над фильмами... Она употребила резкое слово. Это, конечно, так, хотя в теории могло бы быть совершенно иначе. Верно, вы будете писать романы?

— Может быть. Еще не знаю.

— Как я вам завидую! Я пробовал когда-то заниматься литературой, да не оказалось никакого таланта. Кроме того, мой общий коэффициент смешного в отношении людей оказался слишком высоким. Природу я люблю, но природа давно описана. Идеи тоже люблю, но тогда надо было бы писать философские книги. Если хотите, я и людей люблю, однако они в моем изображении всегда выходили бы слишком смешными и жалкими... Сам Марсель Пруст бессмертен, если можно так выразиться, мертвым бессмертием: его читают, но не перечитывают. Он был органически неспособен ценить красоту мира. Впрочем, и жестокая литература всегда отстает от жизни. Вы следили за процессами расистов?

— Конечно. Как все.

— Помните там фигуру Рудольфа Гесса? Его не надо смешивать с тем Рудольфом Гессом, который считался третьей особой Третьего, но не последнего Рейха, пока на процессе не оказался просто кретином. Нет, я говорю о другом человеке, занимавшем гораздо более скромное положение: он был начальником Аушвицкого лагеря и на процессе откровенно показал, что сначала отравил газами, а затем сжег в печи два с половиной миллиона людей, «потому что ему это приказал сделать Гиммлер именем Фюрера». Наладил фабричное производство с побочными продуктами, вроде волос, жира, золотых пломб. Согласитесь, что никакой романист этого не придумал бы. Предупреждаю вас, если б вы хотели изобразить этого господина, то вы потерпели бы полную художественную неудачу. Однако, в литературе сентиментальность еще хуже мизантропии. За нее критики тоже очень ругают. Все авторы боятся критики и, верно, после выхода книги с тревогой по ночам представляют себе все грубое и издевательское, что может сказать о них критик. Ведь публика не отдает себе отчета в том, что самая нелюбезная рецензия это только мнение о книге мистера Джонсона или мистера Томсона.

— Не знаю, что вы называете сентиментальностью, но если я еще буду писать пьесы или рассказы, то буду писать хороших людей.

— Я выбирал бы людей средних, т. е. тех, что все-таки ближе к хорошим, чем к дурным. Они, на зло мизантропам, составляют большинство в человечестве. Впрочем я вас понимаю. Вы человек серьезный, я сказал бы даже важный, разумеется «раздираемый сомнениями», но любящий добро, ищущий его и, главное, понимающий, в чем оно.

— Вы очень любезны, — перебил его Яценко.

«Приблизительно то же самое мне говорил Николай Юрьевич, — подумал он. Эта мысль была ему приятна. — Но в том-то беда, что она мне п р и я т н а».

— Добавлю, что вы, как громадное большинство писателей, все упрощаете. Простите, что вам говорю это. Но, быть может, мы больше никогда не увидимся, отчего же на прощанье не сказать? Вы даете только первое приближение к истине. Ну, вот, скажем, вы познакомились с каким-нибудь человеком, поболтали с ним за вином, он любит выпить, он ничего не подозревает, у него плохая и глупая привычка откровенничать. А вы тут как тут: подметили кое-как кое-что, разумеется больше внешнее. И вот у вас персонаж, которым вы верно очень довольны. А он все-таки гораздо сложнее, чем вы думаете. А уж четвертого измерения вы и совсем не видите. Его видят только очень немногие гениальные писатели. Английский математик Хинтон, при помощи каких-то физических фокусов и психологических приемов, довел себя до того, что в и д е л четвертое измерение. А вы не видите. Попадется вам Норфольк, — возьму и огрублю Норфолька, — сердито сказал старик. — У вас, кажется, и Лиддеваль навеян моим босс-ом. Только этого вы вдобавок приукрасили. Первое приближение к истине, первое приближение к истине. Вы думаете, что вы знаете людей? Так думают все писатели. 'Это чистейшая иллюзия. В ваших произведениях вы сами составляете человека, поэтому он вам и ясен. Так часовых дел мастер знает часы, которые он сам же собрал. А в жизни с людьми, не вами сочиненными, вы теряетесь. И не только вы, конечно. Все писатели таковы, кроме двух-трех человек. Все остальные, даже самые знаменитые, бессмертны, если можно так выразиться, только мертвым бессмертием.

— Да я ни на какое бессмертие не претендую, ни на живое, ни на мертвое, — ответил Яценко смущенно.

— Полноте, всякий солдат хочет быть, если не фельдмаршалом, то хоть фельдфебелем, а уж фельдфебельский же з л у каждого в ранце, — сказал Норфольк, поднимаясь. — Я впрочем немного преувеличиваю. Я не отрицаю, писатели кое-что видят из того, что от нас ускользает. И вы кое-что во мне увидели, это правда... Позвольте с вами проститься, мне еще надо зайти к босс-у. Кстати, он мне сегодня увеличил жалованье. Что ж, капиталистический строй имеет некоторые преимущества... Очень скромные сами по себе, но сильно выигрывающие от сравнения. Все прежние экономические системы были хуже его, а все предстоящие будут не лучше и уж во всяком случае скучнее. Я его больше и не ругаю, тем более, что тут на каждое общее место так легко ответить противоположным общим местом... Мой босс по крайней мере не скуп и вдобавок чрезвычайно любит женщин, что меня всегда подкупает в людях. Я должен отнести ему проект интервью, которое он завтра будто бы даст репортерам.

— В ваши обязанности входит и составление интервью?

— Я представлю проект, а он его забракует. Он уверяет, что всегда импровизирует и всегда выходит отлично. Я состою Аристотелем при этом Александре Македонском, но отвечаю за него еще гораздо меньше, чем Аристотель за Александра.

VIII.

Пристань походила на исполинскую фабрику из фильма передового режиссера.

Пемброк с Надей спустились с парохода в числе первых. Надя была в еще более возбужденном состоянии, чем в тот день, когда садилась на пароход: попала в самую главную страну в мире! Альфред Исаевич объяснял ей все с таким гордым видом, точно Америка была его собственным именем, которое он очень хорошо и удобно обставил.

Багаж был разложен по первым буквам фамилий пассажиров; чемоданы Нади оказались далеко от вещей Яценко и Пемброка. Она всё волновалась, что их украдут, и не хотела было отходить, но Альфред Исаевич, улыбаясь, объяснил ей, что этого никак быть не может. Все же он приставил к вещам носильщика и повел Надю в большую освещенную сверху залу, где дамы какой-то благотворительной организации угощали приезжих Ди-Пи кофе в картонных стаканчиках, бутербродами и сухим печеньем. Надя смотрела на них с восторгом. Нигде в мире этого не было. Ди-Пи были именно такие, какими им надлежало быть: испуганные, растерянные, плохо одетые; они с изумлением принимали картонные стаканчики от улыбавшихся дам. «Верно, бедные, лет десять, а то и всю жизнь, не слышали ласкового слова!» — говорила вполголоса Надя.

Пемброк одобрительно кивал головой. Он еще на пароходе сообщил репортерам о своих планах и принял своего директора, который доложил, что дела в

совершенном порядке. Оказалось также, что у Сильвии все благополучно: от нее пришла длинная телеграмма из Калифорнии. Директор хотел остаться на пристани, но Альфред Исаевич отпустил его. Он был очень весел, как всегда при возвращении в Соединенные Штаты.

Надя изучала американскую жизнь. Везде были автоматы, огнетушители, телефонные будки, объявления магазинов и гостиниц. Висели надписи: “No smoking” — и все курили, — “Stop. Danger”, “Watch your step!” — и никто на них не обращал внимания. Она с жадностью искала по стенам театральных объявлений, но именно их было очень мало. Издали ей показалось, что как-будто висит театральная афиша, — оказалось: “My beer is Rheingold, the dry beer”. Альфред Исаевич объяснял ей, что в одном Нью Йорке больше телефонов, чем во всей Европе вместе взятой. «Где же бегают Виктор?» — думала она. Ей хотелось, чтобы он, а не Пемброк показывал ей Америку.

Среди первых отпущенных на свободу пассажиров был Гранд. Он с самого начала показал таможенным чиновникам свои бриллианты и объяснил, что едет в Южную Америку. Носильщик, видимо очень им довольный, нес за ним превосходные новенькие чемоданы. Гранд учтиво поклонился Наде. На пароходе Делавар его ей не представил, сказав кратко, что это прохвост. Наде не верилось: такое милое у него было лицо. Впрочем, она теперь была расположена ко всем людям.

— Вот видите, honey, у вас во Франции сегодня пишут специально для нас, янки: “Smoking is not allowed”, и они думают, что это по-американски. А у нас пишут: “No smoking”, насколько это проще и какая экономия! Вот она, американская efficiency! — говорил Пемброк. Он увидел плакат “Welcome home” и чуть не прослезился от умиления. На-

дя огорченно чувствовала, что к ней, с ее пятидесятилетней визой, эта надпись пока не относится.

Тем временем Делавар давал интервью.

Ему уже стало ясно, что с Надей ничего не будет: такая подходящая обстановка, как на пароходе, больше не повторится. Он вспомнил слова Наполеона: «В любви есть только одна победа: бегство». Эти слова несколько его успокоили. Еще больше его утешила мысль о репортерах, которые скоро его обступят. Хотя он знал, что репортеров угощать не обязательно, велел подать в гостиную «Фонтенебло» три бутылки шампанского. Пришло всего два человека; они видимо были удивлены, но приятно.

— ...Европа переживает серьезный кризис, — очень отчетливо с расстановкой, почти так, как он диктовал секретарям, говорил Делавар. — Возможность войны, конечно, не может считаться совершенно исключенной, но есть все основания думать, что войны не будет, так как ее никто не хочет. Здравый смысл человечества может восторжествовать, должен восторжествовать и восторжествует! — с силой сказал он. (Репортеры уныло записывали на всякий случай: догадывались, что в редакции все это будет брошено в корзину). — Европа и в частности Франция понемногу оправляются от последствий войны, которые, конечно, не могли не быть тяжкими. В этом отношении очень большую роль сыграл и план Маршалла. Теперь же основная задача человечества заключается в том, чтобы не для разрушительных, а для конструктивных целей была использована атомная энергия. Додумавшийся до нее пытливый гений человечества, быть может, в первый раз в истории мира вызвал к бытию силы, с которыми при неблагоприятно сложившейся конъюнктуре было бы трудно справиться. Вы все помните легенду об Apprenti sorcier (он перевел эти слова на английский язык): ученик колдуна вызвал злого духа и не мог водворить

его на прежнее место. Этой тяжелой проблеме, повисшей над всем человечеством, будет посвящен грандиозный фильм, который я намерен поставить при участии моего друга м-ра Альфреда Пемброка из Голливуда...

Норфольк все время многозначительно кивал головой, как бы приглашая репортеров оценить глубину мыслей босса. «У него на лице такое выражение, какое могло быть у Линкольна в те минуты, когда он произносил Gettysburg Address», — весело подумал старик.

Багаж Яценко попал во вторую залу. Когда осмотр кончился, Виктор Николаевич отправился разыскивать своих спутников и вдруг с изумлением увидел Тони. Он не сразу ее и узнал: так она изменилась. «На лице совершенная *torpeur*! Что с ней?»

— Какими судьбами? — спросил он по-русски. — Так вы тоже путешествовали на этом пароходе?

— Да, я тоже путешествовала на этом пароходе.

— Я и не знал, что вы собираетесь в Америку. — «Какой у нее теперь Аффективный Мотор?» — хотел спросить он. — Но как же мы не встретились?

— Вы путешествовали в первом классе, а я во втором, поэтому встретились только теперь... А помните, я говорила вам, что мы будем встречаться, что наши жизни перекрещены. Говорила я это?

— Говорили, — сказал он с внезапным очень неприятным чувством.

— То-то. Предчувствия меня никогда не обманывают. Вы меня никогда не забудете. Вспомните на смертном одре, будете вспоминать и дальше.

«Совсем сошла с ума!» — тревожно подумал он. Вдруг насмешливость, давно ее оставившая, засветилась в ее глазах. Она опять, как прежде, откинула голову налево и назад, но Яценко теперь смотрел на нее только с жалостью. — Надеюсь, вы в Америке откроете отделение «Афины»?

— И рад бы, да не могу. Я не умею з в о н и т ь, — саркастически ответил он. Тони засмеялась.

— Здесь не нашли, так можно искать в другом месте. Либо в стремя ногой, либо в пень головой, — медленно с расстановкой ответила она. У конца низкого стола, на котором лежали ее чемоданы, появился таможенный инспектор. Она засуетилась и отошла к столу. Яценко с недоумением смотрел ей вслед.

Кто-то его окликнул. Норфольк подошел к нему, поглядывая на него с любопытством.

— Вы знаете эту даму? Я тоже. Она русская... Даже очень русская.

— Да, я ее знаю, — сухо ответил Виктор Николаевич. «Ничего она не русская! Надя гораздо более русская, чем эта изломанная неврастеничка».

Старик наклонился к нему и сказал с выражением одновременно загадочным и фамильярным:

— Вот что, этой женщины вы ни в каком произведении не выводите. Она вам не удастся, это будет самый худший ваш образ. Тони вся четвертого измерения, правда довольно плоского, есть ведь и такое: человек может быть пошл и в своем четвертом измерении.

— Я ее не выводил и не собираюсь вывести, как вообще живых людей не пишу. Если у кого что подмечаю, то это еще не значит, что я его «вывожу», — сердито сказал Яценко. — Но где же все наши? Вы их не видели?

— Не знаю, я был занят своим багажом. Да вот они.

— Норфольк? Где же вы пропадаете? — окрикнул старика Делавар, появившийся на пороге с Надей и Пемброком. Имя без «мистер» резнуло Норфолька.

— Вот он, наконец-то... Я тебя ищу уже полчаса! — взволнованно говорила Надя. — У меня все прошло

совершенно благополучно: я не заплатила ни одной копейки! И они были очень любезны!

— Look, sugar plum, почему же им быть не любезными? — спросил Пемброк. — Это цивилизованные люди и они видят, что имеют дело не с жуликами... А вы, сэр Уолтер, что-нибудь заплатили?

— Ничего.

— И виконт тоже ничего. Ну, едем... Я забыл, сэр Уолтер, где вы живете?

— На 84-й улице Вэст.

— Мы вас подвезем, хотя это и не по дороге в Уолдорф Астория. Едем, господа, вещи уже отправлены.

— Прощайте, миссис Надя, — сказал Делавар с видом спасшегося бегством императора.

В денежной честности Тони был пробел. Она ни за что не попользовалась бы чужой копеей, но платить таможенные пошлины не считала себя обязанной. Иногда в прежние времена даже с некоторой гордостью рассказывала знакомым, что провезла из Швейцарии или из Бельгии какие-то вещи, ничего на таможне не заплатив. Три бриллианта свалились ей на пароходе совершенно неожиданно; за них на границе надо было бы заплатить большие деньги, которых у нее и не было. Она спрятала камни в корсаж.

Это, вероятно, сошло бы благополучно, если бы в чемодане у нее не оказалась спринцовка. Утром этого дня у Тони оставалась только одна доза морфия. Она хотела было выбросить ее за борт, но подумала, что именно в первый день в чужом городе ей будет особенно тоскливо. «Ну, что ж, ведь пустяк, осталась такая малость», — решила она и спрятала морфий на дно сундука.

Опытный чиновник, найдя спринцовку, внимательно посмотрел на Тони, очень тщательно проверил весь ее багаж и нашел скляночку, показавшуюся ему

странной. Он позвал другого чиновника, пошептался с ним, позвали еще кого-то, врача или аптекаря. Тони что-то путанно объясняла. Инспектор слушал ее с каменным лицом, затем вызвал какую-то даму и пригласил Тони в отдельную комнату для личного осмотра.

Вечером она была доставлена на Эллис-Айленд.

IX.

Для Норфолька тоже была снята комната в Уолдорф-Астории. В другое время он очень оценил бы ее роскошь и комфорт — после тех условий, в каких жил в Лондоне, на Ривьере и в других местах. Но ему было не до гостиницы. У него не выходил из головы последний разговор с Тони.

Он просто ничего не понимал. Теперь ему было почти ясно, что перед ним женщина, не вполне нормальная умственно, хотя и со светлыми промежутками. Она говорила о морфии, о видениях, о десяти своих воображаемых жизнях. Начала, впрочем, с какого-то звонка Кут-Хуми. Он слушал с изумлением и даже, вопреки своему обычаю, не шутил.

— Не волнуйтесь, — иронически сказала она. — Звонок был делом Гранда, я к нему не имела отношения... Просто мне нравилось, что люди так глупы.

— Меня трудно удивить глупостью людей, — сердито сказал Норфольк. — Но это не резон, чтобы пользоваться их глупостью для уголовных или полууголовных действий.

Тони смотрела на него с пьяной насмешливой улыбкой.

— На словах вы отрицаете буржуазную мораль, а на деле...

— Я ее не отрицаю, и она не буржуазная: Моисей не был капиталистом, а в «Коммунистическом Манифесте» ничего о десяти заповедях не сказано.

— А на деле вы такой же буржуа, как они все. Вы и не понимаете, что может быть радость, освобож-

дение, счастье в полном, совершенном презрении ко всему этому. Не понимаете и не поймете!

— Что же тут непонятного? Так верно думают все люди, кончающие жизнь на электрическом стуле, — сказал он, с беспокойством взглянув на нее. — Надеюсь, у вас это чистая теория?

— Не надейтесь, — ответила она и, выпив залпом большую рюмку брэнди, заговорила о своей прабабке-колдунье и о том, что ей самой тоже пожал руку своей холодной рукой Князь Тьмы, принявший ее на службу в разведку международной организации. Норфольк слушал, вытаращив глаза.

— Послушайте, — сказал он холодно, изменившись в лице. — Все остальное, все звонки Кут-Хуми не имеют значения и не слишком меня интересуют. Но это!.. Это какая жизнь: настоящая или воображаемая?

— Не знаю... Никакой разницы нет, — ответила она, подумав довольно долго.

В эту минуту его вызвали к Делавару. Больше он Тони не видел.

«Сумасшедшая в полном смысле слова, — подумал Норфольк теперь, сидя в ванне своего номера. — Если это просто ей приснилось, то беды нет. Быть может, очнется и станет прежней милой барышней. Но, что если все это правда? Тогда ее скоро поймают, посадят в тюрьму, она скажет обо мне, и мое положение станет весьма неприятным!» Он поймал себя на том, что уже думает о своих будущих показаниях властям. — «Почему же вы, будучи американским гражданином, не донесли на женщину, отправленную в Соединенные Штаты с целью шпионажа?» — «Потому, что эта сумасшедшая была под двойным действием морфия и алкоголя, я просто мало понял в ее болтовне», — отвечал он следователю, пожимая плечами (заметил, что уже пожимает плечами, сидя в ванне). «Впрочем, едва ли она сообщит

властям, что все рассказала мне. Зачем ей это делать без всякой пользы для себя, когда я ей оказал громадную услугу? Разве только из «презрения к буржуазной морали»? Но дело не в моей юридической ответственности. Моя моральная обязанность была донести еще на пристани»...

Его отеческое чувство к Тони чрезвычайно ослабло после этого разговора с ней. Все же он себе представлял, как ее арестуют по его доносу, как будет устроена очная ставка, как она будет на него смотреть, — и чувствовал, что донести нелегко. Говорил себе также, что на очной ставке всплыло бы и многое другое. — «Как вы узнали, что она морфинистка?» — «Мне это сообщил Гранд». — «Кто это?» — Всплыл бы и этот господин, уголовное дело с бриллиантами, я в качестве шантажиста-Дон-Кихота. Этому они никогда не поверят, — думал он, вспоминая свою службу в полиции. — Затем всплыла бы и история с их идиотской «Афиной». Босс наверное в восторге от этого не будет. Во всех газетах были бы мои портреты в обществе жулика и шпионки (если она шпионка?). Я потерял бы место, а после такой рекламы найти службу в Америке было бы невозможно, я скоро очутился бы на улице», — говорил он себе, но чувствовал, что, как ни основательны все эти соображения, главное не в них, а в том, что донести вообще тяжело, а ему на молодую красивую и несчастную женщину в особенности.

«Разумеется, если б я твердо знал, что все это правда, что она коммунистическая агентка, я донес бы без малейшего колебания. Я американский гражданин, я обязан исполнить свою гражданскую обязанность и тотчас сообщить о ней властям, а то, как она на меня посмотрит на очной ставке, не имеет ни малейшего значения. Но что если все это пьяный бред? Тогда я без всякой необходимости поставлю себя в очень тяжелое, почти безвыходное положение. Нет,

надо сначала ее повидать еще раз и заставить ее сказать мне всю правду», — думал Норфольк, одеваясь.

На Бродвее было слишком много магазинов съестных припасов, слишком мало книжных магазинов, слишком много световых реклам, слишком мало нигде не торопящихся людей. Он купил газету, известную по перепечаткам всему миру, и нашел, что она слишком велика: «Не стоит терять столько времени». С газетой он вошел в большую «кафетерию». В свое время, приезжая из Бруклина в Манхеттэн по делам, изредка позволял себе здесь обедать, когда бывали деньги. В кафетерии было слишком много блюд. После Европы его раздражало, что надо поскорее съесть обед и освободить место для других. Выбрал себе столик в углу, где было окошечко в бар. Через окошечко получил виски, к концу обеда спросил еще брэнди, пошел к стойке за второй чашкой кофе. Когда он нес чашку назад к столику, его озарила мысль: надо сейчас же, сейчас поехать к Тони и предъявить ей ультиматум: либо она немедленно уедет назад во Францию и больше носа не покажет в Соединенные Штаты, либо он немедленно донесет на нее полиции!

«Превосходная мысль! Эта психопатка должна будет принять мой ультиматум! У нее другого выхода не окажется. Деньги? Я ей достал бриллианты, ей останется достаточно для того, чтобы начать честную жизнь. Если то и правда, ее милые заказчики оставят ее в покое, увидев, с кем имеют дело. Пусть она им вернет их аванс и они на нее плюнут. Ведь они ее наняли, не имея понятия о том, что она полоумная и морфинистка, как и я не имел понятия, пока мне этого не сообщил Гранд: в чужую душу не влезешь. Это самый лучший выход для всех. Просто замечательная мысль!» — думал радостно Норфольк. Он купил у выхода сигару и решил поехать на автомобиле. Хотя

разговор, очевидно, должен был быть тяжелым, он по дороге подумывал о нем не без удовольствия. Думал, что его жизненная философия — то самое, что он говорил Яценко — верна: «Все люди очень слабы, всем надо в меру сил помогать, чтобы они не стали совершенными прохвостами, потому что может им стать и очень хороший человек. Для этого вовсе и не надо любить людей, надо только, как это иногда ни трудно, преодолевать отвращение», — думал он.

Старый управляющий гостиницы тотчас его узнал и встретил довольно приветливо. Сказал, что он мало изменился, разве только еще поседел. — А вы даже не поседели, — ответил Норфольк любезностью на любезность. Они поговорили о Европе, о возможности новой войны, о погоде в Нью-Йорке, выразили надежду, что войны не будет, а жара скоро спадет. Норфольк вскользь упомянул, что остановился в Уолдорф Астория. Это произвело на управляющего впечатление, и он стал еще любезнее.

— А у вас здесь остановилась моя племянница, я рекомендовал ей вашу гостиницу, — небрежно сказал Норфольк, преодолевая легкое смущенье, и назвал фамилию Тони.

— Нет, такой у нас нет.

— Как нет? Она сегодня приехала. У вас, должно быть, еще ее не записали?

Управляющий ответил, что в гостинице все комнаты заняты и что в последние дни никто не приезжал. По требованию встревожившегося Норфолька, он навел справку у швейцара; тот подтвердил, что комнат сегодня и не спрашивали.

— Она не могла не приехать! Может быть, ей у вас сказали, что все занято, и рекомендовали другую гостиницу? Я знаю, что она прямо с пристани должна была поехать к вам.

Навели еще справку у мальчика: нет, никто не

приезжал. Норфольк растерянно смотрел то на управляющего, то на швейцара.

— Да ведь вашей племяннице известно, что вы остановились в Уолдорф Астория? — со скрытой насмешкой спросил управляющий, хорошо его знавший.

— Кажется... Да, известно.

— Так чего же вам беспокоиться? Верно она к вам уже позвонила или позвонит вечером. А если нет, то поезжайте на пристань и справьтесь, — посоветовал управляющий и дал ему имя своего друга, чиновника на пристани.

В Уолдорф Астория никто не звонил. Норфольк отправился на пристань. Знакомый управляющего оказался любезным человеком и согласился навести справку. Однако, вернувшись, он стал менее любезен, сообщил сведения очень холодно и поглядывал на старика подозрительно. Записал даже его адрес. Его не смягчили и слова: «Уолдорф Астория».

— ...Она скрыла на таможне бриллианты. Кроме того у ней найдены наркотики. Больше ничего не могу вам сказать. Вероятно, ее отправят назад во Францию. Вы меня извините, я очень занят.

Только за брэнди можно было немного разобраться в том, что произошло. Макс Норфольк зашел в бар.

После первой рюмки он подумал, что дело сложилось не так дурно. «Если даже эту сумасшедшую посадят в тюрьму, то, значит, не по обвинению в шпионаже. Кажется, такие дела кончаются конфискацией и штрафом. Штрафа она из своего жалованья заплатить никак не может. И, разумеется, ее почтенные работодатели тоже за нее денег не внесут: увидят, какое сокровище приобрели, им морфинистки, да еще попадающиеся через час после приезда, не нужны. А так как она морфинистка, то наши власти просто отберут камни и вышлют ее назад. Там работо-

датели ее на порог не пустят: «Чорт с тобой, ты держи язык за зубами и мы будем молчать». Все же ему было досадно. Ему хотелось приходить к Тони по вечерам, пить и болтать.

После второй рюмки он стал думать о забавной стороне дела. «Без моего отеческого участия она не получила бы трех бриллиантов. Я думал, что ее осчастливил. На самом деле она из-за них провалилась. Таков был результат моего вмешательства в события. Правда, я ее все-таки осчастливил именно тем, что она провалилась, но она этого не знает и теперь, может быть, проклиняет меня. Быть может, она шпионка, но задержали ее за то, что она провезла беспошлинно товар, а это безнаказанно делают в том или другом масштабе пять дам из десяти. Гранда, которому и по духу, и по букве законов давно место на каторге, беспрепятственно пропустили в Америку, а сотни тысяч честных людей визы не получают потому, что родились не там, где следовало. Их содержат в лагерях Германии на средства американского налогоплательщика, тогда как они могли бы зарабатывать хлеб полезным трудом, если б получили бумажку с печатями, называемую визой. Почтенные работодатели прогонят Тони, но выживший из ума антибольшевистский старец Дюммлер примет ее назад в свое идиотское общество. Все же самое интересное в этой истории то, что эти болгарские или другие коммунисты ее к себе не звали: она сама их нашла и к ним явилась, они даже не подозревали об ее существовании. Да, Тони отчасти права: не только они виноваты в том, что существующий строй порождает такое количество людей, которые его ненавидят, которым он надоел, которым просто скучно, которые почему-либо попали в безвыходное положение. И тогда не коммунисты приходят, а к коммунистам приходят. Обычно это происходит постепенно, сначала дают им пальчик, потом ручку, потом становятся рабами. Морфий

только частный случай, быть может, и не интересный. У них наверное служит множество подмоченных людей и всякого рода неудачников. Чаше же всего деньги. И даже тогда, когда как будто они ни при чем, поискать хорошо — окажутся все-таки деньги. Можно было бы даже учредить такое общество: страховка людей против самих себя, — чтобы не бросались в воду, чтобы не прибегали к наркотикам, чтобы не становились шпионами... Надо, надо чинить существующий строй: тот, что придет ему на смену, будет неизмеримо скучнее, но и этот достаточно скучен и тяжел»...

После третьей рюмки он вышел на Бродвэй уже скорее в добром настроении духа. Световые рекламы его больше не раздражали, и он больше не находил, что гастрономических магазинов слишком много. «Люди совершенно правы, что веселятся, не думая ни о каких катастрофах: все равно никому лучше не стало бы, если б они об этих катастрофах болтали ерунду». Норфольк был рад, что вернулся в Соединенные Штаты, и теперь испытывал почти такое же чувство, как профессор Фергюсон в своем городке. «Есть немалая доля правды в этой голливудской олеографии: «иммигранты плачут от радости при виде Статуи Свободы, думал он. — Конечно, ни одна страна в мире не дает такого впечатления крепости, прочности, вечности, как эта. В политике хорошо, и н о г д а хорошо, только то, что возможно. В нашем зигзагообразном прогрессе надо в сущности лишь немного способствовать преодолению обезьяны в человеке, больше ничему. И если в этой благословенной стране магазины ломаются от товаров, то это тоже в конечном счете способствует преодолению обезьяны. Разумеется, жаль, что Тони так же внезапно выключится из моей жизни, как внезапно в нее включилась. Но все равно она м о е й быть не могла бы и никто больше м о е й не будет... Да и вообще ничего больше м о е г о нет...

Вот разве только это: "My beer is Rheingold, the dry beer".

Норфольку вдруг пришло в голову: что, если Тони сознается американским властям и в шпионаже! «От нее всего можно ожидать! Впрочем, ей тогда верно предложат стать двойной агенткой. Значит, опять все в порядке: и в Америке останется, и будет получать жалованье с двух сторон, и я буду к ней заезжать!» — Эта мысль очень его утешила. Он сел в автобус и поехал назад в гостиницу.

Х.

Пемброк еще на пароходе пригласил Надю и Яценко пообедать с ним в Waldorf Astoria, добавив, что виконта не позвал: — «Ну, его!» Но они, не сговариваясь, отказались: оба чувствовали, что этот первый вечер в Нью-Йорке должны провести вдвоем.

Надя все время ахала по пути от пристани. «Ах, какое движение! И какие огромные автомобили! Европейские по сравнению с ними кажутся игрушечными!.. Бродвэй! Неужели это Бродвэй? Наконец-то увидела: я столько лет мечтала увидеть Бродвэй!» — говорила она. Еще больше ее поразила своим великолепием самая знаменитая в мире гостиница. Ей была отведена довольно скромная комната. Она сделала gaffe: спросила у вносившего чемодан слуги, есть ли в номере своя ванная. Слуга ответил, что у них нет комнат без ванн, — потом Надя, вспоминая, краснела. Долго обдумывала, какое платье надеть. «Самое ньюлукистое у меня это лиловое, но, может быть, оно слишком ярко? Это зависит от того, куда меня нынче повезет Виктор»...

Яценко отправился с пристани на свою квартиру. Он ее не любил и все собирался переехать. Дома все оказалось в порядке: иными словами, выяснилось, что если часов шесть или восемь позаняться уборкой, разбором вещей, книг, бумаг, то потом можно будет жить и работать. Вода в ванне шла еле теплая, желтоватая, телефон был выключен, окна были темносерые от грязи, почтовый ящик был забит какими-то лист-

ками, объявлениями, просьбами о пожертвованиях. Новый незнакомый супер-интендант никакой уборщицы не знал. «Все-таки преимущества американского комфорта перед европейским немного преувеличены, — думал Яценко, купаясь. — Здесь я все и решу... 84-ая улица не Avenue de l'Observatoire, и у меня очень мало общего с Николаем Юрьевичем, но и моя жизнь может стать похожей на мудрую жизнь Дюммлера. В борьбе «мойра» и «тюхе» и я добился кое-каких успехов. В сущности, личная жизнь кончена. Взято было от всего не очень много, но и не так мало. У многих других верно было меньше. Что ж, начну школу старости. И личных врагов не надо. Политических противников в «общественном служении», конечно, нельзя не иметь: ровно столько, сколько необходимо, не больше. Да, на свете счастья нет, а есть покой и воля... А я вдобавок из тех людей, которым хочется повесить афишу, все равно какую, — на том заборе, где написано “Défense d'afficher”... О с в о б о ж д е н и е будет. Мой путь шел через советский холодильник, через ОН, через «Афишу», через кинематограф. Разумеется, это частный случай: м о й случай. Путь других иной, но цель и задача та же».

Как было условлено, он заехал за Надей в шесть часов вечера. Она встретила его восторженно. Все в Америке было изумительно. Они отправились осматривать Нью-Йорк.

— Вот видишь, я, значит, не похожа на твою Лину, хоть ты меня в ней будто бы «активизировал»: мне здесь все нравится, решительно все! Ах, какая страна, и какой город! Кто это у Бальзака смотрит на Париж и думает о том, как он его завоеует?

— Растиньяк.

— Да, и я как Растиньяк! Вот увидишь, этот первый в мире город меня узнает!

Она из автомобиля восхищалась вышиной Эмпайр Стэйт Билдинг, шириной Гудзона, узостью Уолл

стрит, живописностью китайского города, и даже на Бауери сказала что-то о «потрясающих социальных контрастах». Больше всего ей понравилась Fifth Avenue, Надя объявила, что будет жить именно здесь.

— Park Avenue считается еще лучшим адресом, — сказал Яценко.

— Я не снобка! Буду жить здесь не потому, что это модная улица, а потому, что это лучшая улица в мире.

— Лучше Avenue Foch?

— Иок! На твоей Avenue Foch нет ни одного магазина и ни одной гостиницы!.. Как ты думаешь, мне продлят визу?

— Продлят. Даю тебе слово Пемброка.

— Если не продлят, я утоплюсь в Гудзоне. После этого городка ни в каком другом жить нельзя... И не смейся над Альфредом Исаевичем, я тебе это запрещаю! Он очаровательный человек и наш большой друг.

— Он очаровательный человек и наш большой друг, но он общественный отравитель.

— Почему общественный отравитель? Что за вздор! — обиделась Надя. — Он, напротив, занимается просветительной работой.

— Да, как мадам Лафарж занималась химией, а Джек-Потрошитель — хирургией.

— Какой вздор! Как тебе не стыдно! — возмущенно сказала Надя.

— А что почтеннейший виконт де Лавар? — спросил Яценко.

— Я только что ему отдалась. — Ей было забавно и приятно, что Виктор ее ревнует. — Свадьба завтра!.. — Она расхохоталась. — Постой, я забыла тебе рассказать: Альфред Исаевич показал мне две вечерние газеты. Его интервью есть в обеих, строк двадцать-тридцать в каждой, в одной даже с портретом, а о Делаваре в одной ни слова, а в другой пять

строк. Он, конечно, в бешенстве. Альфред Исаевич делает вид, будто сожалеет, а на самом деле он в восторге. Сознайся, что и ты в восторге!

— Вот уж мне все равно.

— Ври больше! Точно я тебя не знаю! А теперь вот что, на первый день достопримечательностей довольно... Не пугайся: я не требую, чтобы ты ездил со мной по городу и завтра. Но я голодна как зверь. Куда ты везешь меня обедать?

Он назвал несколько французских ресторанов; она потребовала, чтобы он повез ее в американский. Они поехали в известный ресторан на Бродвее. Надя слышать не хотела ни о каких европейских напитках. Заказала сначала *Scotch and soda*, потом *Rye and soda*, восторгалась ими, старалась запомнить разницу во вкусе. Выбрала по карте *Roast lamb with brown gravy, Cole slaw, spiced peach and cottage cheese*, ела с аппетитом и восхищалась.

— Ах, как хорошо!.. Ах, как вкусно! Я в жизни так хорошо не ела! У них новые идеи, вместо наших вечных *escalope de veau, côte de porc, épaule de mouton*!..

Яценко, дразня ее, говорил, что Вателя или Эскоффье от такого блюда разбил бы удар.

— Все вздор! Все вздор! И почему уж французы такие бесспорные законодатели в еде? А порции! Смотри, какой бифштекс подали этому господину! Он больше трех европейских!

Немного испугали ее только цены: «Что правда, то правда: в Париже дешевле». Когда подали счет, Надя вынула американские деньги. Еще плохо в них разбиралась, но они уже были разложены у нее по отделениям кошелька в сумке.

— Вот моя половина.

— Ты что? Совсем помешалась на радостях?

— С нынешнего дня я за все плачу половину, —

решительно заявила Надя. — Свободная ассоциация, так свободная ассоциация! И за автомобиль тебе полагается не менее трех долларов, вот они. Не беспокойся, сегодня я, конечно, выйду из бюджета, но в общем моих суточных вполне хватит. И увидишь, я скоро буду получать у Альфреда Исаевича жалованье! Ты ведь знаешь, у меня мертвая хватка.

Он вспомнил, как тридцать лет тому назад, после своего первого бегства из Петербурга, обедал в Финляндии с Мусей Кременецкой. «Да, тогда было другое! Тогда мне было достаточно ночью вспомнить, что существует Муся, и все озарялось светом... А что, если все в моем нынешнем состоянии объясняется очень легко: я просто потерял любовь к жизни? О, не в такой мере, чтобы покончить с собой. Нет, я только ничем больше очень не дорожу: ни успехами, ни творчеством, ни даже Надей... Она уйдет от меня, потому что слишком будет скучно живой женщине с таким человеком, каким я понемногу становлюсь... Ну, что ж, «общественное служение» будет».

После обеда он, по желанию Нади, повез ее в Радио-Сити. Там ее восхищению не было пределов. Здание было изумительно, и еще изумительнее был новый фильм.

— Уж это, извини меня, я понимаю лучше, чем ты! — говорила она. — Конечно, и в Холливуде ставятся плохие фильмы, но в общем и английским, и французским, и итальянским фильмам очень далеко до лучших американских.

В ночном клубе, куда они поехали из Radio City, она тотчас, заглянув в карту вин, объявила, что слышать не хочет о шампанском. Виктор Николаевич понял, что дело не в ее новом американском патриотизме, а в ценах. Он заказал что-то американское. Надя слышала, что в этом клубе собираются «все знаменитости». Яценко ни одной знаменитости не видел, да если б они тут и были, то он все равно их не знал.

Но ему не хотелось разочаровывать Надю, и он стал сочинять:

— Видишь того старого джентльмена в углу? Это бывший президент Хувер. А вот тот брюнет — знаменитый физик Роберт Оппенгеймер, тот, что изобрел атомную бомбу.

— Где? Какой? — спрашивала Надя так взволнованно, что ему стало совестно. Впрочем, ей интересны были преимущественно знаменитости кинематографические; тут он врать не мог: Надя их видела на экране сто раз.

— Это знаменитый ночной клуб, правда? Самый знаменитый во всем мире?

— Самый знаменитый во всем мире, — подтверждал он.

Когда Надя выпила еще несколько рюмок, она снова заговорила о «свободной ассоциации»:

— ...Но ты согласен со мной, правда? — спрашивала она. — Как часто ты будешь приезжать ко мне?

— Каждые полчаса.

— Ты глуп! Мы могли бы каждый день вместе завтракать. Хотя нет, по утрам ты будешь работать. Ты что будешь писать? Твой «Путь счастья»?

— Мой «Путь к Счастью». Или я назову: «Путь к освобождению».

— Тогда завтрак только помешал бы тебе работать. Нет, ты приходи каждый день в пять часов. Ты будешь у меня пить чай. А затем мы наверное раза три-четыре в неделю будем вместе обедать.

— То есть, в те дни, когда Пемброк и Делавар не будут звать тебя на обеды с кинематографическими людьми? В эти дни на затычку пригожусь и я?

— Ах, как ты поглупел! Я тебя обожаю, но ты очень, очень поглупел! Во всяком случае, мы будем встречаться каждый день!

— И каждую ночь? — спросил он и сам немного

удивился: такие слова не очень соответствовали его новому душевному настроению.

Она смеялась.

— Иок! Вдобавок, ты стал еще хвастуном! Мы будем устраиваться, как полагается во всех французских романах. У нас будет адюльтер!

— В американских гостиницах заниматься адюльтером неудобно: дамы не могут принимать мужчин, или, по крайней мере, двери номера должны быть отворены. Это нас немного стеснило бы.

— Тогда я буду приезжать к тебе. В твою гарсоньерку! Ведь, правда, у тебя гарсоньерка? Чудно! У тебя будут, тоже как во французских романах, портвейн и бисквиты... Это очень стыдно, что я спросила, есть ли в комнате ванна?

— Очень стыдно.

— Так стыдно, что надо удавиться?

— Лучше было бы удавиться, но все-таки поживи еще.

— Я поживу. Но я недолго останусь в этой гостинице. Я завтра же начну искать себе квартиру, а из первого заработка ее обставлю. Увидишь, как я хорошо ее обставлю! И без помощи декораторов! У меня есть свои идеи. Если б только я знала, что меня через пять месяцев не турнут из Соединенных Штатов! Что ж тогда продавать за бесценок все, что я куплю?

— В пользу кого же продавать? Ведь ты утопишься в Гудзоне.

— Я и не думала, что ты так глуп!.. Смотри, президент Хувер уходит. Я думала, что ему окажут больше почета! Мэтр-д-отель и столика не отодвинул!

— Америка демократическая страна. Теперь Хувер такой же рядовой гражданин, как я.

— И как через пять лет буду я! Ты знаешь, я уже теперь могла бы выдержать экзамен на гражданство.

Я не то, что твоя Лина! Спроси у меня, сколько было президентов Соединенных Штатов! Тридцать три!

— Браво!

— Но мы говорим серьезно. Утром и днем мы оба работаем, а с пяти вечера вместе. Оба независимы, оба свободны... Я буду ездить к тебе на su⁷ way. Видишь, я уже говорю собвэй, а не метро! И ты знаешь, меня все в гостинице чудно понимают! И я тоже почти все понимаю, если только говорят не очень быстро... Подумай, как будет хорошо. Ты работаешь, я работаю, свободная ассоциация! Это твоя идея. Возьми на нее патент.

— Возьму патент, — ответил Яценко. Он твердо знал, что разойдется с Надей и, вероятно, очень скоро. «А все-таки я люблю ее, она прелестное существо, и я не знаю, что со мной было бы, если б она умерла. Для меня начинается старость, болезни, — лишь бы у нее все было хорошо».

— И, главное, помни одно: пока ты меня любишь, — где угодно, когда угодно. А когда ты меня разлюбишь, мы останемся навсегда друзьями. Навсегда! До конца наших дней!

Они с улыбкой смотрели друг на друга.

Конец

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.